

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

1

Начало века 1/2011



2011

НАЧАЛО ВЕКА 2011/1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН
БОРИС КЛИМЫЧЕВ
ВЕНИАМИН КОЛЫХАЛОВ
Валерий МАРКОВ
Валерий СЕРДЮК
ВАЛЕНТИН РЕШЕТЬКО
Александр ЦЫГАНКОВ
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:

634069, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369,
e-mail: skar50@yandex.ru

Электронная версия

журнала:

<http://www.lib.tomsk.ru>
(электронная библиотека)

При перепечатке материалов
ссылка на журнал «Начало века»
обязательна.

Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке:

Анатолий Шумилкин. Тают снега.
1978 г. Холст, масло

Журнал выходит
при поддержке
Администрации Томской
области

В НОМЕРЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

К 70-летию Тамары КАЛЁНОВОЙ..... 2
Тамара КАЛЁНОВА
Сибирское Поле Памяти..... 5

ПРОЗА

Тимофей АЛЕКСЕЕВ
Глазами дьявола и бога. Роман, ч. I
Шатун..... 26

НАШИ ДАТЫ

К 100-летию
Галины НИКОЛАЕВОЙ..... 97
К 100-летию
Георгия МАРКОВА.....109

ПАМЯТЬ

Владимир БЕЛЬЧИКОВ..... 114
Евгений ЗИМИН..... 119

ПОЭЗИЯ

Николай ИГНАТЕНКО.....122
Валерий ТИХОНОВ.....124
Александр ПАНОВ..... 127

ПРОЗА

Геннадий ИВАНОВ
Рассказы..... 130

ПОЭЗИЯ

Валерий СЕРДЮК..... 134
Никита ЗОНОВ..... 139
Ольга КОРТУСОВА..... 143

ПРОЗА

Светлана ВЬЮГИНА
Рассказы..... 148

ПОЭЗИЯ

Владимир МАКАРЕНКОВ..... 154
Юрий ТАТАРЕНКО.....158
Виктор ВАЙНШТЕЙН..... 162

ЗАПИСКИ СЕМЕЙНЫЕ

Георгий ТОРОЩИН..... 164
Иван БАНЩИКОВ 180

КРАЕВЕДЕНИЕ

Виктор ЛОЙША
Неожиданные сюжеты.....189

Авторы номера..... 201

К 70-летию Тамары Калёновой

ОТКЛИКАЯСЬ НА БОЛИ ЛЮДСКИЕ



Тамара Александровна КАЛЁНОВА 26 апреля отметит серьёзный юбилей – 70 лет. И поздравить её с равным основанием могут и коллеги-писатели, и воспитанники литературного объединения «Молодые голоса», и пенсионеры, с которыми она общалась, работая в службе социальной защиты населения.

В прошлом году, кстати, в биографии Тамары Александровны тоже была круглая дата – сорок лет в Союзе писателей. И эта дата не просто «выслуга лет». Результат работы – многочисленные книги от юношеской «Временной учительницы», зрелой «Университетской рощи» до пронзительной повести «Долгие сумерки». Сегодня она в числе писателей-ветеранов.

Напутствовал её в большую литературу замечательный писатель, мастер рассказа Сергей Антонов. Потом о творчестве Калёновой писали много и интересно. Ей посвятила свою работу и недавно ушедшая от нас Римма Ивановна Колесникова. Она сделала тонкие наблюдения и нашла точные слова. Мы хотим привести здесь фрагменты её очерка «Пальма в снегу».

...Родители назвали её Тамара (что в переводе значит «пальма»), не зная, конечно, что через два месяца начнётся война, что вырастет дочь на юге, куда уедет семья из Новосибирска ради спасения раненого отца, что после школы Тамара вернётся в Сибирь, станет филологом, писателем. И лучшей её книгой будет роман о сибирских ботаниках.

Мы знакомы почти полвека. И если б понадобилось определить сущность личности Тамары Александровны Калёновой, я бы тоже сказала: пальма! Сплошной увлекающий порыв к свету, упругая гордость, защита от зноя, способность создать около себя спасительный оазис для других: хоть в песчаной, хоть в ледяной пустыне.

Отсюда и всё остальное: её биография, темы произведений, характер работы над ними, лексическое обаяние книг. И ещё – высокая гражданственность и творческая честность. В дикие и подлые годы, названные «перестройкой», она не могла писать, молчала почти десять лет и старалась из последних сил спасти свою семью и тех, кому ещё хуже. (Объективно это можно бы назвать творческой паузой, но это было, скорее, испытание личности на излом).

По природе литературного дарования Тамара Калёнова не описатель, не автобиограф-публицист. Она – сочинитель-творец-демиург своих художественных миров, в которых у неё есть на всё свой взгляд, своя мера, своя свобода.(...)

Закончив школу с медалью, Тамара начала свой взрослый путь с подручной каменщика на строительстве Академгородка под Новосибирском. Там постигла несколько святых истин. Во-первых, «пришло убеждение, что люди-созидатели, сделавшие что-то во благо, а не в разрушение общества, только и остаются в генетической памяти человечества». И что «профессия строителя – самая замечательная на свете». И ещё, что «книжные знания и опыт жизни могут не совпадать». Ей хотелось рассказать о «добрых и сильных, трудолюбивых и верных долгу перед Отчиной, перед Сибирью»...Поэтому и появились её первые литературные произведения: «Окна розового дома», «Нет тишины»...

Потом был Томский университет. «Белокаменный, величавый и строгий, в моей жизни он был не просто учебным заведением, а неким высшим существом, личностью, с мыслями и поступками которого соотносилась вся моя жизнь и даже иногда её смысл». (...)

После университета Тамара преподавала классическую латынь там же, в ТГУ, и в пединституте. Но пришёл момент выбора: или диссертация, или роман. Писательство оказалось главным. Студенческая тема разрасталась, герои «взрослели», уходили вглубь сибирской истории. Тамара Александровна нашла сюжетный ключ, почувствовала угол зрения на историю Томска и сибирской культуры. «Общество особенно хорошо видно в университете, как в зеркале и в перспективе. Университет есть лучший барометр общества». Это говорил когда-то легендарный хирург, член-корр. Петербургской Академии наук Н. И. Пирогов, но словно говорил прямо о Томске.

Рождался роман «Университетская роща». В центре – образы учёных П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской, чьи дела и души и сейчас живут в Сибирском ботаническом саду, в уникальном гербарии, в роще университета. (...)

Её литературный наставник и мастер Сергей Антонов предвидел, что «как и всем настоящим писателям, Тамаре Калёновой предстоит нелёгкая дорога. Особенно трудно ей будет сохранить светлую радужную манеру письма». Пророк! Но и он не знал-не думал, что сменится общественный строй, что

обесценятся слово, профессия писателя и литература в целом, что хлынет поток окололитературной стихии – бульварной, детективной, дамской, эзотерической и пр., и пр. И что патристическую идеологию сменит ментальный наркотик – субкультура из европейского «сэконд-хэнда».

В этих обстоятельствах для писателя Калёновой «молчание стало предпочтительней. Что зря сорить словами?». Важнее стал поступок. И она пошла «служить в соцзащиту» – в некое новорождённое учреждение помощи погибающим. «Угнетало одно: создание служб социальной защиты – тоже западное изобретение. В нашей стране до недавнего времени их не было». Конечно, работать здесь не престижно, не хлебно, очень тяжело морально и физически. Но кто-то должен!

В итоге получилась повесть «Долгие сумерки». Она сама по себе встала в ряд произведений печальников горя народного, начиная от «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева, а за ним писателей-демократов 40-х, 60-х, 80–90-х годов 19-го века. А теперь вот, на рубеже 20–21-го веков, среди других произведений других писателей – эти вот «Долгие сумерки» (каждый поймёт по-своему – предрассветные или вечерние). По природе это почти документальный реализм, и вместе с тем в нём много изобразительно-выразительной символики. Прочтёшь – переживёшь...(...)

Тамара Калёнова умеет работать, она много сделала доброго для Томска, для людей. В своё время с её помощью, благодаря её хлопотам, писатели получали комнату, квартиру, путёвки в санатории, дома творчества, дома отдыха и пр. Есть её прямая заслуга и в том, что Томск получил статус исторического города, что в нём ещё кое-что сохранилось. Есть результаты её доброго участия в судьбах начинающих литераторов и в реабилитации «списанных историй» бывших писателей – «врагов народа»... Да мало ли ещё в чём!

Судьба писателя изменчива как никакая другая. А сущность личности – нет.

Р. Колесникова

***Редакция журнала «Начало века» горячо поздравляет
Тамару Александровну Калёнову с юбилеем
и желает ей оставаться такой же обаятельной, живой
и отзывчивой на боли и радости окружающих.***

Тамара Калёнова

СИБИРСКОЕ ПОЛЕ ПАМЯТИ

ОТРЯД

Первый в стране памятник воинам-сибирякам, погибшим в сражениях под Москвой, поставлен в 1983 году в селе Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области. Построен он руками томских студентов и привезён из Сибири. «Сибиряки все годы войны с фашистской Германией сражались «как под Москвой». Каждый город для них был – Москва». Так считал старший научный сотрудник Томского политехнического института (ныне университета) Игорь Трофимович Лозовский (1920–2004). По его сведениям, около семисот студентов и преподавателей ТПИ ушли на фронт, сто двадцать два пали смертью храбрых, более двухсот пропали без вести. А еще он установил, что в составе сформированной в Томске стрелковой дивизии №166, которую долгое время считали «неизвестной», «пропавшей», «выпавшей из военной истории», потому что она почти полностью полегла под Москвой, находилось более ста сотрудников и студентов Томского политехнического. И стал «копать». А затем предложил отправить группу студентов-следопытов по местам боевых действий «пропавшей» дивизии. В 1977 году такая группа – студентки Светлана Колмогорова, Татьяна Каменева, Надежда Чистякова, Надежда Бондарева и сам Лозовский – совершила поход на Смоленщину. Увидев поросшие высокой травой братские могилы, останки покорёженной техники, солдатские каски («наших больше, чем немецких»), сердцем поняв величие и печаль смоленской земли, девушки задумали создать свой, томский, памятник воинам-сибирякам. Лозовский их поддержал.

Этот высокий, малоразговорчивый, чуточку нескладный пожилой человек буквально примагничивал к себе молодежь. Он не был преподавателем, не читал лекций, не принимал зачётов и экзаменов, но его знали все. Ходячая энциклопедия, живой и доступный справочник, он интересовался всем, что хоть каким-то образом относилось к ТПИ (ТПУ), к Томску, и это всё было таким огромным и интересным, что не вовлечься в зону действия его интересов было невозможно. Менделеев и министр финансов царской России Витте, геолог Усов, создатели вертолетов Миль и Камов, архитектор-строитель нового комплекса МГУ и Останкинской телебашни Никитин, первооткрыватель Норильского рудного месторождения Урванцев, искатель сибирской нефти Коровин... Голова шла кругом от имен знаменитостей, ученых и просто замечательных людей, о которых знал Лозовский. Со многими он был лично знаком, встречался с потомками идеолога анархизма князя Кропоткина, географа и геолога, отбывавшего ссылку в Сибири, с сыновьями и внуками Обручева, состоял в переписке с выдающимися выпускниками ТПИ, писал о них в газетах, извлекая замечательные судьбы и деяния из курганов забвения.

В самой биографии Лозовского было тоже немало интересного и даже таинственного. Родился на Украине, а всю жизнь прожил в Сибири. Его отец был врачом и лечил прикованного к постели писателя Николая Островского. Много лет Игорь Трофимович проработал директором детских домов под Киевом, в Иркутской об-

ласти и Новосибирске. Педагогом, однако, не стал и трудился в транспортном отделе ТПИ. И всё же именно он был тем необходимым воспитателем студентов, о котором, как в свое время о Макаренке, слагали легенды.

Во многом стараниями Лозовского и возник в институте отряд «Поиск». Местом его пребывания на Смоленщине стало село Верховье. Каждое лето, начиная с 1979 года, стали приезжать туда студенты-политехники и готовить площадку для мемориального комплекса. А в Томске создавался сам памятник. По собственному проекту: шестнадцатиметровый исполин – пять серебристых, увенчанных звездой штыков-пилонов из нержавеющей стали. Строили его всем миром, на общественных началах, из сэкономленных материалов и на средства безвозмездного труда студентов и сотрудников ТПИ. Особенно помогал Томский электромеханический завод. А в это время в селе Верховье трудился отряд «Поиск». Своими руками студенты соорудили насыпной искусственный Курган Славы для памятника, благоустроили площадку, построили партизанские землянки – часть комплекса, помогали совхозу, позже переименованному в «Томский» – в честь воинов 166-й стрелковой дивизии. Их работа была замечена. Отряд был награжден почетным знаком и дипломом ЦК ВЛКСМ, а также премией Ленинского комсомола. Интересный факт: о премии было сказано отдельной строкой – таких работ в молодежном движении в стране еще не было, пришлось учреждать её впервые. Диплом и знак студенты привезли в родной институт, а премию перечислили в Фонд мира.

Памятник воинам-сибирякам в селе Верховье был открыт в сентябре 1983 года – торжественно, при большом стечении народа. Тогда казалось: на века.

Но случилось иное. Начавшееся в конце 60-х годов XX века мощное движение среди молодежи: пешим ходом, на лыжах, на мотоциклах – по городам-героям и местам боевой славы – споткнулось о «перестроечное» затмение; под ударами «демократов первой волны» оказался комсомол и его славное детище – поисковые и студенческие строительные отряды. Строить, создавать, помогать бескорыстно стало «немодно». Рационализм, считавшийся ранее неприемлемым и даже позорным для молодого человека, намеренно поднимался в средствах массовой коммуникации на щит. Томские политехники и в те годы не забывали о своей недавней гордости – памятнике на Смоленщине, но ездить туда перестали. Со временем «Часовой в Вадинских лесах» обветшал.

В 2008 году – после долгого перерыва – на Смоленщину вновь отправился студенческий строительный отряд ТПУ. Теперь он назывался «Память», но о «Поиске» в отряде, конечно же, знали и решили продолжить его дело. Студентов набралось всего шестеро. Но это был именно отряд – со своей дисциплиной, целями и задачами, в пошитой по этому случаю новенькой стройотрядовской форме, с горячим желанием справиться с важной задачей: отремонтировать мемориальный комплекс воинам-сибирякам, павшим в боях за Москву в июле – октябре 1941 года. Игорь Трофимович Лозовский ушёл уже из жизни. Его заменили Виктория Беккер, сотрудница ТПУ, и Оксана Сергеевна Еремина, заведующая музеем Боевой славы 166-й стрелковой дивизии в томской средней школе № 51.

Стройотрядовцы в то лето работали от души. Заделывали трещины, приклеивали отвалившуюся плитку, очищали ото мха ступени, вырубали кустарники на подворьях ветеранов села... Скосили траву, выправили и покрасили ограждение на братской могиле в селе Татьяна, где погребено много воинов, в их числе то-

мич-политехник Василий Иннокентьевич Васильев, командир партизанского отряда «Смерть фашизму».

– Селяне встретили нас... радушно – сказать мало, – делились впечатлениями ребята по возвращении в Томск. – Поселили в бывшем сельсовете, кормили в школьной столовой необыкновенно вкусно и сытно, в нашем распоряжении была даже баня.

Селяне соскучились по сибирякам, жаждали. Воспрянули духом. Ведь еще в 2005-м на двух фурах прибыла из далекого Томска деревянная часовня Архистратига Михаила, особо почитаемого в народе святого, покровителя воинов. «Значит, помнят о нас, – говорили в селе. – Не забывают о *своих* могилах»...

Могилки и правда – свои. Здесь, на древнем, «трагически-избранном» семихолмье, в междуречье Западной Двины и Днепра, запирающем путь на Москву, всё пропитано героизмом. Здесь даже лес – ветеран боевых действий, а болото – укрепрайон. Рубежная русская земля. Поляки Сигизмунда, французы Наполеона, немцы Гитлера – все «ввязли в смоленской земле». Все! И во всех сражениях во все времена стойкостью и мужеством отличались сибиряки.

Памятник, о котором идет речь, и музей-мемориал, и часовня Архистратига Михаила в Холм-Жирковском районе Смоленской области – дань памяти героизму воинов 166-й стрелковой дивизии, а в их лице – всем защитникам Москвы.

ПОДВИГ

Когда началась война, дивизия находилась в летних лагерях в Юрге. Но уже 24 июня со станции Томск-2 на запад уходил первый военный эшелон. Получив приказ «На колёса!», полк за полком отправлялся на фронт. 30 июня погрузился и отбыл штаб дивизии. Это было дисциплинированное, хорошо обученное воинское соединение. Командир дивизии полковник Алексей Назарович Холзинев, бригадный комиссар Иван Иванович Русанов, начальник политотдела Федор Михайлович Напалков, замкомдива по тылу Петр Васильевич Балабушевич, дивизионный интендант Владимир Александрович Заррин, начальник штаба майор Александр Леонидович Стафеев, начальник артиллерии Василий Иванович Лукин, командир 735-го полка Самуил Трофимович Койда, командир 499-го гаубичного артиллерийского полка Александр Иосифович Тамм... Все были опытными командирами, в числе лучших по Сибирскому военному округу. В составе дивизии находились подразделения, имевшие боевой опыт в войне с белофиннами, у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Весь предвоенный год дивизия усиленно тренировалась. Чего стоили многокилометровые лыжные марши зимой, в 35-градусные морозы, с полной боевой выкладкой, по двухметровым сугробам, с ночевками «зарывшись в снег» – и ни одного обмороженного, отставшего, раненого! Еще успевали (в основном командный состав, при настойчивом внимании И.И. Русанова) посещать лекции по политэкономии в Томском государственном университете или в Доме Красной Армии Томского гарнизона. В дивизии много занимались с бойцами. Повышали материально-техническую оснащенность. Осваивали автоматическое оружие, минометы, новые гаубицы. Любили свою «дивизионку» – газету «Боевой путь» во главе со старшим политруком Анатолием Михайловичем Кочетковым, сутками не покидавшим солдатские казармы.

На фронт отправились в полном соответствии с мобпланом (план по мобилизационной готовности), горя желанием поскорее разгромить врага. По штатному расписанию в состав дивизии вошли: 499-й и 359-й артиллерийские полки; стрел-

ковые – 423, 517, 735; подразделения саперного, разведывательного батальонов; батальоны – связи, 106-й отдельный автотранспортный, медико-санитарный и химзащиты; 177-й отдельный зенитный дивизион ДАРМ; полевой автохлебозавод и полевая касса Госбанка. Всего численностью 14483.

В состав действующей армии 166-я стрелковая дивизия вошла 15 июля 1941 года. Это была 24-я армия под началом генерал-лейтенанта С.А. Калинина, бывшего командующего СибВО. Эшелоны разгрузились в районе Вязьмы, и войска двинулись своим ходом к городу Белому. Недалеко от поселка Холм-Жирковский произошло первое боестолкновение с фашистскими десантниками. Их было немного, и всё же это была первая встреча с неприятелем.

Выйдя в указанный район, бойцы с ходу включились в строительство оборонительных рубежей. Вместе с 4-й Московской дивизией народного ополчения рыли окопы, эскарпировали¹ берега Днепра (он там неширокий), устраивали завалы в лесу. Нужно заметить, что народная память быстро восстановила значение древнерусских сооружений: валов, рвов, надолб, завалов в лесу; в обороне всё годилось, всё шло в дело. Вскоре безоружных, плохо одетых-обутых ополченцев с этих рубежей отвели. Остались только военные.

18 июля сибиряки получили приказ: подавить в районе озера Щучье, южнее райцентра Холм-Жирковского, танковое соединение противника. Мотоотряд под командованием С.Т. Койды² выступил рано утром, в четыре часа. В половине второго, днем, началось сражение. «У разъезда Ломоносово на дровяных складах встретились лицом к лицу с немцами, – вспоминал командир роты 1-го батальона 735-го стрелкового полка Иван Прокопьевич Чахлов. – Мы потеснили их к деревне Шихово. В деревне стояли закопанные, готовые к обороне танки. Они вели меткий огонь по нашей колонне. Раздумывать было некогда. Командир 1-го батальона Д.И. Кобер поднялся и с криком «ура!» повел бойцов на деревню. Я побежал рядом с ним. Разорвавшийся поблизости снаряд ранил Давида Ивановича. Политрук Одегов бросился к нему, хотел перевязать рану, но второй снаряд принес смерть Коберу и ранил Одегова...». Бой был жестокий. Противник не выдержал и начал медленно отступать в западном направлении. В это же время остальные части дивизии вели тяжелые бои с противником южнее города Белого.

Командующий Западным фронтом Семен Константинович Тимошенко (1895–1970) поблагодарил личный состав 166-й стрелковой дивизии за смелость – «сибиряки не подвели».

Не подводили они и дальше. 27 июля 166-ю передали в состав 19-й армии Западного фронта, которой командовал Иван Степанович Конев (1897–1973), и дивизия продолжила наступление в направлении Духовщины. Этому старинному русскому поселению на Смоленщине, известному с 1777 года, придавалось большое значение в стратегических планах командования. Сибиряки, конечно же, не знали о них, но они уже научились «пятить врага», и это придавало силы в изматывающих боях. А они шли беспрерывно. В течение всей короткой фронтовой биографии дивизии: с 15 июля по 27 декабря 1941 года (день ее официального расформирования) 166-я не выходила из боёв. Появились первые потери личного состава. С каждым днем их становилось всё больше.

¹ – эскарп – противотанковый высокий срез берега, обращенный в сторону неприятеля

² – погиб в 1943 году уже в другом подразделении

Особая страница в этой биографии – помощь в выходе из окружения «группе Болдина» (так о ней говорилось в военных сводках). Группа генерал-лейтенанта Ивана Васильевича Болдина (1892–1965) попала в окружение еще в первые дни войны и около двух месяцев с боями пробивалась к своим. Решено было прорвать вражеский фронт одновременным наступлением 166-й и 162-й стрелковых дивизий и самой группы Болдина с другой стороны, из вражеского тыла. Это произошло 11 августа. Танковый батальон 166-й дивизии в составе 12 танков ворвался в хутор Приглово и соединился с выходившими из окружения бойцами. Под прикрытием танков и 517-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии (командир Тимофей Илларионович Рыбаков) начался вывод группы Болдина в наш тыл. Радость была искренняя, святая. Вышло: людей – 1664 человека (из них 103 раненых), лошадей – 292, повозок – 37, санитарных двуколки – 13, кухонь – 5. По-настоящему всю важность этого события сибиряки познали потом, когда сами оказались в окружении, в трагически известном «Вяземском котле».

Но пока что 166-я наступала. В дивизионной газете «Боевой путь» появилась даже своя песня:

И грянули битвы под городом Белый.
Мы в схватке смертельной столкнулись с врагом.
С сибирской отвагой, упрямо и смело,
Как чудо-герои, пошли напролом.

О сибирской дивизии узнала страна. В открытой прессе не упоминались номера воинских подразделений – только имена их командиров. О сражении под городом Белый сообщала «Комсомольская правда» (1941, 20 августа): «... часть под командованием Т.И. Рыбакова атаковала и уничтожила немцев, засевших на высоте 219,5... на поле боя фашисты оставили много убитых и раненых». Газета «Правда» от 20 августа 1941 года написала о подвиге капитана Иосифа Ананьевича Войцеховского, командира 3-го батальона, вызвавшего «огонь на себя» в бою за деревню Фрол, когда его командный пункт, находившийся в церкви, окружили восемь немецких танков. Тяжелораненый, он скончался в медсанбате.

В дивизии побывали артисты из Москвы, писатели Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Евгений Петров.

12 августа полковник А.Н. Холзинев¹ получил приказ командующего 19-й армией И.С. Конева принять 162-ю стрелковую дивизию и отбыл к месту нового назначения. 166-ю возглавил полковник М.Я. Додонов.

Специальный военный корреспондент газеты «Правда» Александр Фадеев писал в августе 1941 г. о «подразделении Додонова»: «...Мы попадаем на передовые позиции в тот момент, когда идет артиллерийская подготовка к наступлению. Мы знаем уже из опроса пленных и по отзывам наших бойцов об исключительно высоком уровне нашей артиллерии. Добираемся до артиллерийского подразделения, которым командует лейтенант Глуховский. [...] Бойцы-артиллеристы работают споро, ловко и весело. Это все молодые ребята с крепкими руками, ясноглазые, с ослепительными в улыбке зубами на загорелых, задымленных лицах. Они посылают врагу непростые снаряды. Обняв снаряд, как родное дитя, боец надписывает: «За Родину, за Сталина!» – и снаряд, со звоном рассекая воздух, несётся на врага. «За разрушенные города и села!», «За замученных женщин и детей!» – и

¹ – Полковник Алексей Назарович Холзинев погиб весной 1942 года возле деревни Нелидово. Перезахоронен в 1955 г. в селе Боголюбово Холм-Жирковского района Смоленской области, среди 1200 воинов Красной Армии

снова несутся, звеня, снаряды. [...] Стрелка на часах подходит к назначенному сроку. Орудия смолкают. От них, как от уставших работников, подымается легкий парок, и в это время впереди, в не видной нам низине, возникает стремительный цокот пулеметов и автоматов и ружейная стрельба. Это ведёт наступление великая владычица полей – пехота, красноармейская пехота. Она придёт с победой. Она не может не победить».

Даже делая скидку на писательский восторг при виде воинов-додоновцев, скажем, что в этой заметке есть великая правда. Были они и ясноглазые, и с крепкими руками, и снаряды надписывали, и красноармейская пехота не могла не прийти к Победе.

Бои продолжались. Разведка у противника была поставлена профессионально. Немцы имели представление о том, кто с ними так упорно воюет, знали даже многие фамилии из командного состава. По признанию пленных (в штабе был свой переводчик Эрнст Пробст, из поволжских немцев), 166-ю они называли «дикой сибирской», а её солдат – «дикими лесными бородатыми людьми». «А у нас и бородатых-то не было, – вспоминал позже сержант этой дивизии, за три года войны дошедший до Кенигсберга в звании капитана, Николай Александрович Лебедев. – Были здоровые, крепкие, красивые люди... В рукопашной, бывало, поддевали врага штыком, как соломенный сноп, по-сибирски».

Дивизия продолжала наступать. Практически без перерыва. Позже, в 1972 году, в беседе с маршалом Коневым Лебедев спросит, почему без единого дня отдыха, без отвода на формирование и пополнение дивизию бросали с одного участка на другой? И маршал скажет то, о чем теперь знает история и мы: в то время на Западном фронте наступала лишь 19-я армия; все остальные вели тяжелые оборонительные бои; 166-я дивизия не только отражала атаки гитлеровцев, но и наступала.

Под Вязьмой, во время мощного «Тайфуна» (план гитлеровского командования наступления на Москву), в течение 13 дней несколько армий, в их числе и 19-я, которой командовал уже вместо И.С. Конева генерал Михаил Федорович Лукин, сдерживали натиск противника. Это дало возможность Ставке организовать оборону на Московском рубеже. Но потом «Вяземский котел» замкнулся, и многие соединения попали в окружение.

«Выход из окружения один – прорыв, – напишет позже Н.А. Лебедев. – Пройти по трупам врага или погибнуть самому. Отступить нельзя. Позади тоже враг. Нет фронта, нет окопов и траншей. Нет врачей и медсестер. Рядом раненые товарищи, и ты не в силах помочь им, а патронов – только на крайний случай. Окружение – это когда солдаты умирают, и не обо всех из них родные узнают, где и как сложили они свою голову, защищая родную землю. Многим домой придет страшная весть: пропал без вести. И никто не скажет, как именно: героически пал в бою, взят в плен в тяжелом бреду... Окружение – это когда о героях не пишут очерков в газете и не дают им медали и ордена за подвиг... Мои воспоминания были напечатаны в томской газете «Красное знамя» 17 февраля 1970 г.»

Из окружения выходили тоже с боями, частями, разрозненными группами. Комдив М.Я. Додонов 15 ноября пробился через линию фронта в районе Серпухова. В форме, с оружием и документами; раненый. Выведено людей вместе с группой Александрова: красноармейцев 400, начсостава – 117, всего 517 человек, в полном вооружении. Знамя дивизии вынес капитан П.В. Семенец.

Тем не менее, 27 декабря 1941 года 166-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске, приказом Народного комиссариата обороны № 00131 была расформирована.

А её бойцы, не зная об этом и других приказах, продолжали сражаться. Теперь уже в тылу врага. Многие из них влились в партизанские отряды, действовавшие на Смоленщине: «Смерть фашизму» (командир В.И. Васильев, томич), «За Родину» (командир С.Н. Догаев, рабочий с Томского электромеханического завода), «Имени А.В. Суворова» (командир И.М. Срывков).

ВETERАНЫ

Впервые на послевоенное «построение» ветераны 166-й стрелковой дивизии собрались в июле 1967 года в Томском гарнизонном Доме офицеров. Их было немного. Встреча волнующая, но по-военному деловая. Избрали Совет ветеранов, приняли обращение ко всем бывшим воинам дивизии и их командирам, к семьям погибших. И принялись за работу.

Руководителем стал Петр Васильевич Балабушевич, бывший заместитель командира дивизии. Ему довелось тогда, осенью 1941-го, вывести из окружения часть бойцов, но в 1943 году он был ранен в одном из боев и попал в фашистский концлагерь Хамельсбург. Бежал. Снова воевал.

Верный воинскому братству и фронтовой памяти, Балабушевич сумел собрать вокруг себя единомышленников. Бывшие комбаты Иван Прокопьевич Чахлов, Александр Александрович Ведерников, Леонид Федорович Рожнев обошли, обзвонили ветеранов дивизии, семьи погибших. Обширную переписку повёл Михаил Ильич Кофтунов. За реставрацию старых снимков и изготовление фотокопий взялся Федор Поликарпович Бурый. Фронтовые газеты собирал Евсей Наумович Крымский, выпускающий и наборщик дивизионки «Боевой путь», автор песни о битве под городом Белый. В областной газете «Красное знамя» появились очерки о боевых подвигах 166-й дивизии. Стали приходить отклики, письма, воспоминания. Из Москвы – от бывшего начальника политотдела Ф.М. Напалкова, от Н.А. Лебедева, из других городов и сёл страны, где жили ветераны. Бывший фронтовик, директор школы № 51 Иван Яковлевич Чебанюк выделил лучшее помещение для музея Боевой славы 166-й стрелковой дивизии, и школьники вошли в её «личный состав». Им откликнулись школьники из московской школы № 357, пришли на помощь работники филиала Смоленского краеведческого музея в городе Вязьма... Шаг за шагом, общими усилиями восстанавливалась исторически верная картина памяти боевого пути «пропавшей дивизии».

Одним из первых, дорогих для ветеранов откликов, стало письмо, пришедшее в их адрес 16 января 1968 года:

«Томск. Председателю Совета ветеранов 166-й Сибирской дивизии П.В. Балабушевичу.

С гордостью и радостью свидетельствую о том, что части 166-й дивизии героически сражались с немецко-фашистскими полчищами в 1941 г. на подступах к Москве. Принимая на себя первые мощные удары врага, 166-я дивизия, как и другие соединения Западного фронта, летом и осенью 1941 г. во многом способствовала зимнему разгрому немцев под Москвой. Это было ясно в то время и стало неоспоримо теперь. *М. Шолохов*».

Шло время. Один за другим покидали строй постаревшие ветераны. И вот уже Совет возглавляет «самый молодой» среди них – Федор Поликарпович Бурый (1919–2001). Под его руководством Совет продолжил собирательскую работу, встречи с молодежью. На этих встречах Федор Поликарпович рассказывал о

дивизии, о подвигах своих товарищей, но и его судьба казалась слушателям необычной и героической. В боях на Смоленщине он получил ранение и потерял сознание. Очнулся в лагере в Орше. С горечью узнал, что его родная 166-я дивизия не вышла из окружения и почти вся полегла на поле боя. (Тогда он еще не знал, что небольшая её часть все-таки вырвалась из котла, а многие оставшиеся в тылу ушли в партизаны). Вместе с другими военнопленными он был посажен в товарный вагон, и поезд повёз «живой груз» через всю Европу к Ла-Маншу. Так Федор Поликарпович оказался на захваченном фашистами английском острове Джерси в концлагере.

На острове, превращённом в неприступную тюрьму, пленных ждала тяжелая работа: немцы задумали вырубить в скале подземный госпиталь. Особенно доставалось советским военнопленным. Помимо непосильного труда, они терпели еще издевательства и унижения. Но и лагерная жизнь, оказывается, способна сплачивать людей. Пленные поддерживали друг друга, готовились к побегу. Группе военнопленных, в которой оказался Бурый, это удалось. Англичане достали необходимые документы, и Федор Поликарпович стал Биллом; английский язык освоил в общении, что помогало в подпольной работе.

После войны Билл-Бурый вернулся на родину. Учился, работал фотографом, заведовал фотолaborаторией в ТГАСУ (Томский государственный архитектурно-строительный университет), откуда и ушел на пенсию. Переписывался с друзьями-англичанами, звал к себе в гости, и они даже обещали приехать в Томск. «Ты бы сейчас не узнал старый Джерси, Билл, – писал ему Норманн ле Брок. – Тогда, в годы войны с фашизмом, враги заставили большинство людей объединиться для сопротивления. Мы прошли большую школу, помним эту закалку и будем верны ей».

В 1975 году в Москве на праздновании 30-летия Победы Ф.П. Бурый повстречался со своими английскими друзьями. А 50-летие Победы над фашистской Германией встретил в Англии, в гостях у джерсийцев.

В молодости Федор Поликарпович увлекался фотографией, был учеником известного и даже знаменитого в Сибири фотографа Пенькова, запечатлевшего события начала XX века, происходившие в губернском центре, деятелей сибирского областничества, свидетелей и участников Гражданской войны в Сибири. Бурый многое перенял у своего учителя, поэтому в его снимках всегда было больше содержания, чем следов любительского «щёлкканья затвором» (особенно хорош был его портрет старого сибирского академика Н.В. Вершинина). Он мечтал стать настоящим фотохудожником, человеком мирной профессии. А стал солдатом.

Незадолго до своей кончины генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин (1892–1970), бывший командующий 19-й армией (после И.С. Конева), писал Совету ветеранов 166-й стрелковой дивизии в Томск:

«Знаете ли вы, что главный удар немецких полчищ при наступлении в октябре 1941 года на Москву пришёлся на боевые порядки 166-й дивизии и соседнюю справа 30-ю армию? Дивизия приняла основной удар танковых и механизированных войск гитлеровцев и большого количества авиации, но не дрогнула. Вяземское сражение не описано, оно еще ждет своих историков, а оно было решающим в провале фашистского плана «Тайфун».

Архивные документы говорят, что даже во время «Тайфуна» 166-я пыталась наступать, отвоевывая у противника буквально считанные метры родной земли.

И невоенному человеку понятно, что в наступлении всегда гибнет больше солдат, чем в обороне. Вот почему *«полегла почти вся»*, когда мы слышим и говорим о Томской стрелковой дивизии № 166, стоявшей насмерть под Москвой...

ПАМЯТЬ

Широко простирается Сибирское Поле Памяти – не окинешь взором. От океана до океана пролегли дороги воинов-сибиряков. 1232 сибиряка стали Героями Советского Союза, 76 из них – томичи. Гитлеровцы покорили Данию за сутки, Голландию за 5 дней, Бельгию за 19, Францию за 44 дня. Четыре года воевали с Россией и потерпели поражение. И начало этого поражения – в «стоянии под Москвой».

В начале нового, XXI века, на сорок втором километре Волоколамского шоссе воздвигнут величественный Мемориал сибирякам, защищавшим Москву. А в Вадинских лесах продолжает нести свою вахту скромный, сооруженный по велению молодых сердец памятник воинам-томичам, для которых каждый поселок, который они защищали, был «как Москва».

Чем дальше от свечи, тем темнее. При увеличении расстояния вдвое сила освещения уменьшается вчетверо. Чистая физика. Нечто подобное происходит и с исторической памятью, считают некоторые современные историки, забывая, что к ней законы физики неприменимы. Уважение к минувшему, говорят ученые, имеет разнообразные формы: в рисунке, в камне, в книгах, в памятниках. В строгих линиях обелисков. Но главное всё же – это память сердца. Именно она обеспечивает доброкачественное развитие общества. На земле томской это понимают. Краеведы, писатели, журналисты, студенты и школьники, учителя, преподаватели вузов и лицеев, ветераны Великой Отечественной войны не устают рассказывать о воинском подвиге своих земляков, сформированных в Томске соединений – 19-й Гвардейской стрелковой дивизии, отличившейся под Ленинградом, 79-й Гвардейской стрелковой дивизии, оборонявшей Мамаев курган под Сталинградом, и, конечно же, о командирах и солдатах 166-й, сложивших свои головы, защищая Москву.

Новые названия поисковых студенческих отрядов, новые задачи и способы их решения, новые командиры и руководители... новое время. Но главное всё же в другом. В том, что поиск и память о воинских традициях сибиряков стали частью жизни не только молодых томичей, но и молодежи других городов, которые понимают, что сохранение Памяти – наше общее дело, а не кого-то свыше. Мы обращаемся к прошлому, чтобы понять настоящее и лучше увидеть будущее.

Литература:

Хроника обыкновенного подвига (История 166-й стрелковой дивизии). / Голиков В.И., Епонешикова Г.В., Мохова Р.Е. / Под общ. ред. Черевко А.Н. – М.: Изд-во ООО «Информ-Знание», 2010.

Лебедев Н.А. «Если встретимся после боя». *Воспоминания / рукопись / 1966–1971.*

Калёнова Т., Крамаренко И. Сибирское Поле Памяти. – М., Издательский дом «Техника – молодежи», 2010.

ЗЕМЛЯНОЙ СОЛДАТ

сказание

Повеяли над страной жгучие военные ветры. Мирная земля обагрилась безвинной кровью. Пепельные тучи заволокли синеву бескрайних небес. Но поднялись навстречу вероломному врагу сыны родины. С молоком матери впитали они силу и трудолюбие славных предков, их суровую уверенность: «Кто наступит на землю русскую – оступится». Вместе с отцами и братьями встал в солдатский строй и нарымский охотник Гюрата Меженинов.

Путь из Сибири на фронт неблизкий. И лежал он через старинный город Томск, бывать в котором прежде Гюрата не приходилось. Жаль, конечно. Ведь, по словам бывалых людей, у которых Гюрата сызмала житейского опыта набирался, этот город – отец земли томской и нарымской. Ну а коли так, то все томичи Гюрата как братья и сестры.

Но одно дело об этом слышать, другое – самому в этом убедиться. Томичи и впрямь по-братски себя повели. Приветливо встретили они Гюрата, город с лучшей стороны показали. А напоследок в Лагерный сад сопроводили. Много у Томска памятных мест, это для ополченцев, отбывающих эшелоном на фронт, – наипервейшее. Здесь в солдатских лагерях с давних пор воинское умение томичей ковалось. Тем умением в смертельных сражениях с иноземными завоевателями они себе славу не раз добывали. Вот и правда: солдата мать родит, отец растит, а бой учит.

Поклонился Гюрата памяти воинов-земляков, «томцев», воевавших Сигизмунда, Наполеона и на Бородинском поле стоявших, а себе зарок дал: не хуже их послужить. С тем и на фронт убыл.

Победа – не снег, сама на голову не падёт. Миллионы людей отдали за нее свои жизни. В их числе и Гюрата.

Прошуми, тайга, о нём в тихий полуночный час весны, когда ветки кедров шевелятся и, как человеческие руки, тянутся в мир, словно хотят обнять его! Нарымская тайга, зеленая и суровая сторона Крайнего Севера, Гюрата Меженинов, твой человек и сын, пал в бою.

Его старинное русское имя, взятое от имен сибирских землепроходцев, из дружины Ермака, знают отныне великие города нашей державы, знают донские степи и степи Таврии. Он их прошел.

Спит Гюрата Меженинов на Турецком валу. Высок и мрачен Турецкий вал – постель Гюраты. Сюда пришел он от Сталинграда, здесь и смерть принял.

Два моря бьют свою волну в узкую теснину Перекопа. Слышен Гюрата их мощный и древний голос. С Турецкого вала видна ему вся советская держава. Открывается отсюда Гюрата зубчатый гребень Нарымской тайги, точно каменная гряда.

В изголовье Гюраты на дощечке написано:

*Великий путь от Сталинграда,
им пройденный,
И честь его и душу озарял.
Увы!.. Он с нами не перешагнул
Турецкий вал –
Погиб, железом вражеским
сраженный...*

Солдаты препоручили небесным звездам охранять безмятежный сон Гюраты Меженинова – так же, как охраняли его окоп звезды войны – ракеты.

Солдаты написали у его изголовья обращение к нему: «Небо чистое-чистое юга, ты над прахом героя склонись!».

Гюрата Меженинов, северный человек, заслужил это. На поле священной войны он пережил день, ночь и рассвет битвы.

О поле боя!

В твоей Книге люди читают откровение о солдатах Великой Отечественной войны.

Сначала были дороги Смоленщины. Здесь начался страдный день солдата – длинный, жгучий, как раскаленная полоса железа. Течение времени не в силах измерить его. Немецкая тысячепудовая броня крушила древние леса Смоленщины. Била она и в грудь Гюраты Меженинова – он стоял.

Двадцать шесть суток непрерывно шел бой под Ельней – первый ратный день Гюраты. Черное воронье пило кровь на поле боя, как дождевую воду. Ветры не могли разогнать сонмища синих, словно из железа слепленных мух, что облепили окровавленную землю.

А солнце ликовало.

Жадно следил за ним Гюрата, боясь, что не выдержит оно и упадёт. Вместе с ним он полз: солнце вперед и выше, в зенит, Гюрата – вперед и выше, на высоту, сквозь огонь и смерть. Гюрата Меженинов харкал землю. И когда он ворвался в Ельню, то было в нём живого только сверкающие глаза и сверкающий штык.

Земляные солдаты!

Жители Ельни встречали их, выносили чистые рубашки. И тут же, на площади, переодевались солдаты.

Девушка с круглыми, еще детскими глазами, горячо поцеловала Гюрату в грудь.

Гюрата пошатнулся. Северный человек испытал теплый толчок в сердце. Он увидел, как велико было счастье. Которое он принёс людям. Тогда он забыл о смерти.

Не знал Гюрата, что смерть была бы самым легким, не знал: Ельня была сдана врагу снова.

До последнего держался Гюрата. Ходил в штыковую атаку, которую зовут «атакой в тумане», ползал под танки – его страдный день только начался. Гюрата отступал к Москве. И под Москвой он снова лёг в окоп. Зловеще металась над его окопом немецкие ракеты. Над миром лежала ночь, а над окопом Гюраты был день, всё тот же, запёкшийся в огне.

Имя дню было – бой.

В сиянии победы оставил Гюрата Меженинов обороненную Москву.

Путь его лежал теперь туда, где надо было забыть о жизни и не думать о смерти. Бытие между жизнью и смертью ждало Гюрату.

И он шагнул в него.

Дожди смывали кровь Гюраты Меженинова. Он шел по рубежам войны, и отмеренные версты оставляли на его теле мету за метой – рубцы от ран.

Между жизнью и смертью стоял он под Сталинградом. Город в крови и огне. Гюрата слышал, как дышит этот город, словно большой израненный человек. Гюрата дышал вместе с ним. В галерее подземно-минной атаки он чувствовал

биение сердца города. Там, под городом, в глубине земли, Гюрата Меженинов наступал. Медленно удлинялась галерея. Узкий ход её, как сверлом, прокладывал собственным телом Гюрата.

И крепость его тела была необыкновенной.

Восемнадцать суток он не видел света. Позеленели щеки Гюраты. Над всем миром стоял день, а у него была ночь, горел светляк, блестела саперная лопатка, цепенела тишина.

Имя той ночи было – бой.

В глухую тишину приходил гул сражающегося города. Там, под сердцем Сталинграда, Гюрата вспоминал Лагерный сад на высоком берегу Томи. С него открылись ему заречные и родные нарымские дали – и всё необъятное Отечество, парящее во времени так же, как парят в поднебесье сильные и любящие высоту птицы. Он слышал голоса тех, кто защищал страну прежде. А над ним горела многострадальная сталинградская земля. И тогда, обращаясь к врагу, Гюрата сказал: «Не хватайтесь за бороду, фрицы: сорвётесь – убьётесь!». Хотя бороды в ту пору у Гюраты уже не было: он сбрил её по солдатскому уставу...

Удар подземно-минной атаки был страшен. Ключевые позиции фашистов, сжимавшие волжскую переправу огненным спрутом, взлетели на воздух вместе с их гарнизоном.

Гюрата испытал теплый толчок в сердце. Гюрата вздрогнул. Гюрата улыбнулся и прижал руку к сердцу – там, на груди, ощутимо теплился поцелуй девушки. И кровь вернулась к его позеленевшим щекам.

Привычный к ночным теням танков и орудий, Гюрата Меженинов шел по степям Дона и Сала. Пожары, дороги, окопы... И новые раны. На содрогающейся земле Гюрата выращивал победу – плод огня и крови.

Не боялся врага Гюрата.

Он и враг испытали друг друга. Остаться в жизни рядом они не могли. Гюрата Меженинов приговорил врага к смерти – и не желал пощады себе. Не желал...

Душа Гюраты была чиста. Он трудился на ратном поле ради всех.

Как некогда в тайге, так и на рубежах войны, он встречал рассвет каждого дня бодрствующим.

Имя рассвета было – бой.

В белесом небе гасли ракеты, и свет солнца начинал пробиваться к Гюрате откуда-то из темного чужа. Глаза Гюраты искали врага в брезжущем рассвете. Медленно открывались перед ним очертания вражеского рубежа. Чудесные краски и тени рассвета скрывали Гюрату.

И он посылал врагу первую утреннюю пулю...

На рассвете начиналась атака.

Навстречу смерти выскакивал из окопа Гюрата. Окрашенный багрянцем зари, сверкал его верный штык. На острие штыка солдат нес первый луч света. И в душе Гюраты занимался рассвет, яркий, чистый, торжествующий.

Атака – мир солдата.

Твердо знал Гюрата Меженинов свое место в этом мире. Тишины он не искал в нем. Но встал преградой перед ним Турецкий вал.

Тесен Перекоп – два моря, а между ними вал и жерла пушек. Турецкий вал, как книга, мог рассказать о Крыме с древнейших веков. Гюрата должен был прочитать эту книгу.

Был рассвет, и был штурм – сотая атака Гюраты.

Тяжелый огнедышащий дот стоял перед наступавшими цепями. Он мог пожрать всех товарищей Гюрата. Он загораживал им путь. Он уже остановил их – цепи залегли.

В эту минуту Гюрата принял решение – его товарищи должны перешагнуть Турецкий вал. Гюрата полз к врагу. Всё ближе становился дот. Под амбразурой прилёг Гюрата. Там, в мыслях, прощался он с товарищами и посылал привет в далекую Нарымскую тайгу.

И вдруг теплый толчок в сердце вновь испытал Гюрата: ожил на груди заветный поцелуй...

Поднял Гюрата тяжелую связку гранат, сам поднялся. Как глыба. Он успел. Связка мелькнула в амбразуре. Успел и враг. Орудие из дота ударило в упор. Туда, где теплился заветный поцелуй, впилося железо – снаряд пробил Гюрата грудь и, не разорвавшись, со свистом полетел в море.

Упал Гюрата. В последнем движении рука схватила горсть сырой земли и крепко прижала к зияющей ране: любил родную землю и умирал с нею.

Дымился дот.

Товарищи Гюрата перешагнули Турецкий вал.

Друзья и братья по оружию! В час радости не забывайте о Гюрате Меженинове! В свете взошедшего солнца победы лучатся его простые чистые глаза. Не уставайте в бою!

Родные и близкие! Томичи, проводившие Гюрата на фронт! Трудитесь за себя и за всех, кто отдал свою жизнь, чтобы приблизить Великую Победу!

Моря, хранящие покой красноармейца Гюрата Меженинова! Пойте ему песню о вечности.

Вечен Гюрата.

В счастье людей, в их труде, в радостном смехе детей – вечен.

Благословен Великий солдат Отечественной войны!

Да не позабудет мир о нём.

**Боевой путь нарымского охотника. Записал В. Величко.
Литературная обработка С. Заплавного.**

Давид Лившиц (1911–1964),
участник Великой Отечественной войны, жил в Томске

На запад

(из фронтового дневника)

* * *

В вагоні чуть-чуть тесновато.

на краю...

Бойцы вспоминают: кто – хату,

Кто — мать,

КТО — НЕВЕСТУ СВОЮ.

Здесь каждый живет еще домом.

Работой,

друзьями,

семьёй, —

И встречным,

как будто знакомым,

Приветливо машет рукой.

А рядом —

мохнатые ели

Плывут,

КОЛЫХАЯСЬ СЛЕГКА.

Вот в первом вагоне запели

Про удаль и смерть Ермака.

И скоро весь поезд той песней

Гремел среди полей и лесов...

Нет в мире напева чудесней.

Нет песни грозней для врагов.

* * *

С шоссе свернули.

На просёлке

Встречаем раненых солдат.

Один — тяжелый —

на двуколке.

Суров и неподвижен взглед.

На лбу —

две слипшиеся прядки.

Глаза прозрачны и пусты.

Но напряжение

смертной схватки

Еще хранят его черты.

Передний край недалеко.
Скорее в бой,
скорее!

февраль 1942 г.

На подмосковных рубежах

Стоят они, напоминая
Суровый сорок первый год,
Для тех, кто знает и не знает
Ту осень тягостных невзгод.

И вот сюда, не в дань моменту,
Пришел, состарившись от ран,
Как дополнение к монументу,
Московской битвы ветеран.

А вместе с ним – не знаменитый
Мальчишка, видно, сын его,
И вот пред сталью и гранитом
Два поколения всего!

Стоят они в молчанье строгом,
Как будто пост передают,
А в окружении безмолвно
Березы реквием поют.

Монумент на 23-м км
Ленинградского
шоссе, 1963 г.

Марк Юдалевич

Медали

Долго девушка глядела –
у танкиста грудь горит.
– За какое ж это дело
награждали? – говорит.
Указав на две медали,
он сыскал ответ один:
– За Москву вот эту дали,
а вот эту за Берлин.
И немножечко поспешно,
Но солидно заключил:
– Остальные все, конечно,
по дороге получил.

Михаил Карбышев (1922–2007),
участник Великой Отечественной войны,
жил в городе атомщиков Северске (Томская область)

Смертью смерть поправ

Еще в полях ржавеют танки,
А рядом, душу леденя,
Лежат солдатские останки,
Молчанье вечное храня,
Уж много лет в рывке последнем,
В том героическом броске,
У сотен русских поселений,
Не дав врагам пройти к Москве.
И смертью смерть поправ, остались
Лежать поверх песков и глин.
И тут свою встречая старость,
На месте том, где полегли.
Не дай-то бог увидеть это,
Во Псковщине, в лугах живых,
В руке солдатского скелета
Букет ромашек полевых.

Иннокентий Луговской

Кедры над Леной

Над белой бездной,
В каменном краю,
Невозмутимы, кряжисты, усаты,
Стоят они, как старые солдаты,
В несокрушимом, сомкнутом строю.

Над ними выюга воет волчьей глоткой,
Их раздирает стужа,
Ослепляет муть.
И ветер бьет по ним прямой наводкой,
Стараясь в три погибели согнуть.

Их засыпает снегом метр за метром,
Их обжигает ледяной огонь,
А им не страшно:
Крякают под ветром
Да бьют ладонью хвойной о ладонь...

Ушла под лед от смертной стужи Лена.
Они ж стоят спокойны и крепки...

Так под Москвой в сугробах по колено
Стояли, смерть поправ, сибиряки!

Константин Седых

* * *

В вагонах русская гармошка,
Родной сибирский говорок.
Плывет в тумане за окошком
Звезды зелёный огонек.

Его заносит облаками,
Скрывает лесом каждый час.
А он всё гонится за нами,
Всё не насмотрится на нас.

Наш путь далёк – на поле боя...
Не будет звезд родных полей,
Но будет с нами там святое
Благословенье матерей.

Иван Молчанов-Сибирский

Разрешенье

Уходить мне на работу надо,
У дверей из стульев баррикада.
А за нею дочка, пальчиком грозя,
Говорит мне ласково:
– Нельзя.

Медленно идут переговоры,
Я иду, и смотрит дочь с укором.
Я иду, и слышно позади:
– Не ходи.

Солнце плыло в пелене тумана.
Уходить собрался нынче рано.
Бушевала ненависть во мне:
Я услышал вести о войне.

И спросил я:
– Доченька, отрада,
Я пойду на фронт?
Сказала:
– Надо.
Потеплело у меня в груди...
Помолчав, добавила:
– Иди...

Василий Казанцев

* * *

Окопы старые оплыли,
Травой высокой поросли.
Окопы старые забыли,
Что были рубежом земли.

Взошли пыреем темнолистым.
Осокой. Холодом речным.
Необозримым полем чистым.
... Высоким голосом над ним!

Андрей Румянцев

Станция прощания

В ту зиму долгими ночами
Здесь паровозы не кричали...
От этих мерзлых стен полночных
К Москве,
К Москве
Под вой пурги
На поездах немых и срочных
Везли сибирские полки.
И эта станция прощанья
Для наших близких
Той зимой
Могла быть только обещаьем
Беды и гибели самой.
Но как спокойно и сурово
Гудок короткий звал солдат!
Как тихо обочь, по сугробам,
Шагали женщины назад!
Здесь, в тыловой глуши таежной,
Я понял детскою душой,
Что на седой земле тревожной
Есть долг, как Родина, большой.
Защитник мой,
В снегах под Рузой
Зловещей пулей сбитый с ног,
Вернулся ль ты потом, безусый,
На станционный огонек?
Солдатка в темном полушалке,
Смогла ли ты опять прийти
Встречать бойца на полустанке
В конце жестокого пути?
Я так хотел бы верить свято,
Что всех, ушедших в темь пурги,
Опять встречал перрон дощатый –
Он помнит давние шаги!
Но сорок семь солдат взяла
Война из моего села!

Ростислав Филиппов

* * *

Да, сибиряк – душа живая –
хранит с суровым прошлым связь,
беду и радость принимая
с достоинством, не суетясь.

И как судьба ни распалялась,
как ни рубила, как ни жгла,
но крепость духа оставалась.
Она в традицию вошла.

С тех дней традиция хранится,
когда повдоль Аргунь-реки
беречь российские границы
образовались казаки.

Потом японское светило,
надменно излучая зло,
над нами было восходило...
Штыки сверкнули – и зашло.

И мне великая отрада,
что в дни, когда война была,
Сибирь Москве и Сталинграду
надежной силой помогла.

О том мне многие твердили,
и даже маршал боевой:
сибиряки опорой были.
Почище гвардии иной.

И в книге памяти народной
с особой пишутся строки –
побатальонно и поротно –
мои сибирские полки.

Историк, друг ты мой любезный!
К тебе давно уже идут
благословить твой труд полезный,
твой черный, но священный труд.

Идут с далекой и недальней,
с любой советской стороны,
идут, торжественно-печальны,
погибших воинов сыны.

Идут их матери и вдовы,
несут, светлея, письма их,
чтоб зазвучало снова слово
из «треугольников» простых.

А в них – бои, надежды с болью,
страна, родные имена,
и тот особый треугольник,
где он, она да к ним война...

Историк-друг, конец не близок
упорным розыскам твоим.
Ведь как он длинен – скорбный список
всех, кто ушел в огонь и дым.

Тот похоронен, тот без вести
пропал, и не узнать никак,
в каком лежит печальном месте
российский воин, мой земляк.

Ты, поколение молодое,
живи в цвету, но не забудь
всех, кто бывал на поле боя,
всех! – поименно помянуть.

Пишите в школьных сочиненьях –
мне их не раз читать пришлось –
слова «За нас ушли в сраженья!»
не для отметки. А всерьез.

И вместе с вами я ликую,
когда весеннею порой
идет на площадь городскую
Победы праздник дорогой.

И марши медные упруги.
И ветвь багульника красна.
И, словно кольца у кольчуги,
позвякивают ордена.

Вот, опаленные ветрами
пространств, походов и боев,
идут в колоннах ветераны.
Идти за ними я готов!

И я иду за ними следом.
Мы чувством спаяны одним.
И осеняет нас Победа
горячим знаменем своим...

Тимофей Алексеев**ГЛАЗАМИ ДЬЯВОЛА И БОГА**

роман

Часть I**ШАТУН****Глава 1**

Лесной пожар, остановленный по кромке мужиками из лесоохраны, не погас, хотя перестал трещать сухим валежником и душить запахом горевшей подстилки. Дым стал более чёрным, смолёвым и уже не стелился по земле, а поднимался в небо жаром, как в русской бане по-чёрному. В середине пожарища огромными свечами горели сухостойные, подвергшиеся шелкопряду кедры, освещая ночную тайгу, словно небольшой городок, и потом подгоревшие у основания деревья с глухим стоном падали на выжженную до песка землю, поднимая в тёмное августовское небо миллионы искр и оторванные куски пламени. Само пожарище, окольцованное минерализованной полосой, чадило только в низинах ядовитым запахом багульника, от которого кружилась и болела голова.

Две группы десантников-пожарных вывезли на другие, не остановленные пожары куда-то под Новый Васюган, а здесь, на старых шелкопрядниках, оставили группу из четырёх человек на окарауливание. Работа после трёх дней изматывающего труда сейчас казалась курортом. Ходи себе по неглубокой прокопанной полосе да присыпай песочком подобравшиеся островки огня.

Сколько здесь сидеть, Егор Гончар? Полагал, дней пять, не меньше. Пока вся кромка не отгорит... Вот если бы главный пожарник прилетел – дождь! Так нет – небо без единого облачка. Хотя задымление шло ещё от других пожаров так, что и облака не увидишь, но солнце просвечивало сквозь дым красным – значит, облачности нет. Егор это знал: как говорится, не первый год замужем. Во всех лесных районах России, почитай, побывал, редко выпадало дома тушить, в родной Сибири, как нынешним летом, – всё по командировкам, от Магадана до Архангельска. А нынче, конечно, лафа: и прыжки, и спуски есть, и через восемь дней в баню везут на родное отделение. А дома, конечно, всегда хорошо: после бани выпивка, да и на следующий день тоже. Да, считай, пока снова на пожар не увезут! Правда, лётнаб был уже немолодой и поэтому ушлый. Долго своих на отделении не держал: день на баню, день на опохмелку – и опять грузил мужиков в пропахшее керосином брюхо вертолёта. Рассуждал веско да, наверно, и правильно: хотите год за полтора – прыгайте, а не хотите – вольному воля. Заявление на стол – и на все четыре стороны! Оставлял в патрулирующую дежурную группу чужих, командировочных: те хоть ночью пили... Пока начальства нет.

Егор присел на край минполосы, прикуривая сигарету от горевшей рядом ветки. Скучно для него было сидеть на месте. За десять лет привык к перемещениям, и после трёх дней на одном пожаре душа просила новых мест, где еще не был, или даже был, но давно. Работа ему нравилась. Вот если бы ещё платили побольше!

Ему, как казалось, хватало, но жена была недовольна. Понимать её Егор понимал, но, сколько бы она ни просила его уволиться (заработок в сто двадцать рублей можно и в селе найти, и притом всегда дома), на её уговоры и иногда даже слёзы не шёл. На этой работе он был как рыба в воде. Тайга, рыбалка и охота, да ещё и деньги – хоть маленькие, а платят. Да и стаж к тому же лётный идёт! Правда, летом пахать приходится временами – никто не позавидует! Инструмент у лесного пожарника, в основном, один: лопата да топор... Много за эти годы он земли перекидал и, наверно, цистерну воды болотной от жара да жажды выпил, только и мысли уйти из лесоохраны никогда не было, даже по молодости. Ведь когда над тайгой летишь, которой конца и края нет!.. Разве может такую красоту что-то заменить?! Тёплая кочегарка или сторожка? Да нет... От одной картины раздолья и нетронутых мест душа поёт!

Раздумья Егора прервал хруст ветки в нетронутом молодом пихтаче за минполосой. Он привстал, взяв в руки лопату, прислушался: почти неслышный шорох травы и хруст мха удалялся от него. Кто же был рядом: зверь или человек? Идти следом не имело смысла: ружьё на таборе. Но всё же любопытство взяло верх. Прошёл в пихтачи и после недолгих поисков нашёл сломанную ветку и след примятого мха, кое-где содранные жёлтые иголки на нетронутой подстилке. Только удивился: след-то был не звериный: ни когтей, ни копыт. И как будто кто наблюдал за ним, стоя у ветвистой от самого основания пихты: на ветках нашёл смятые хвоинки в человеческий рост. Кто-то держался за них, наблюдал за ним. Вот и на земле оторванные зелёные иголки. Почему-то по спине пробежал озноб. Людей здесь, кроме своих, нет никого, а свои бы оставили след кирзачами.

– Кому надо следить? – проговорил вслух и оглянулся. Потом крикнул: – Ты какого хрена там прячешься?

Только в ответ тишина – хруст и шорохи пропали. Лопатой содрал кору на пихте, сделал отметину и направился дальше по минполосе. Вечером на таборе, когда все собрались у костра, гремя кружками и ложками, Егор внимательно осмотрел обувку товарищей.

– Кто сегодня в кроссовках ходил? – задал вопрос, хлебая жидкую, надоевшую за пожары лапшу.

– А ты что, инженер по технике безопасности? – вопросом на вопрос ответил инструктор группы Семён Кобылин. – Ну, я был в кроссовках, и что из этого?

– Ты не в счёт! Ты же даже под спальник мочишься, куда тебе ходить...

Задетый за живое Семен бросил обидчиво:

– А я тебе не Улукиткан – по тайге лазить, – но любопытство пересилило обиду: – А в чём всё же дело?

– Да мне показалось... Есть здесь кто-то! Может, и поджигатель...

– Нет, поджигатель здесь один – гроза. Дерево разбитое, наверно, сгорело, а вот щепы осталась, только метров на триста разбросало, за минполосой куски даже находил.

– Да знаю я, Семён... Только кто-то следил за мной... Завтра с утра пойду, может, и разыщу... А, может, и не было никого... Показалось...

– Не ходил бы ты, Егор... Кому надо – сам выйдет, – подал голос самый старый пожарник в группе Володя. – Может, зэк какой. Помнишь, на Урале, в Ивделе, сколько по лесам их тогда шарилось: и расконвойных, и беглых. А здесь тоже зона недалеко, в Мариинске.

– Так там женская колония...

Семён мечтательно закрыл глаза.

– Вот бы эту зэчку найти... Можно бы покувыркаться... Дома-то не успел, не до этого было.

– Да где уж нам дома: то пьяный, то... – хохотнул Гончар, – то некогда.

И, как всегда, разговор, с чего бы он ни начинался, какие бы проблемы ни поднимались, съезжал на баб. И начиналось... Глаза у мужиков блестели уже другим блеском! Вот уж воистину говорится: дома – о работе, на работе – о бабах.

Не участвовал в трёпе только Вовка Соловей. Он старался избегать таких разговоров. Жил долгое время один, сына вырастил, а где его мать, куда делась, никогда не говорил. Станный он был, чудаковатый. Верил всему! Верил, что в газетах пишут, что по телевизору показывают, что люди говорят. Сам-то за свою жизнь никогда, видимо, не врал и думал своей лысоватой головой, что и никто вокруг не врёт. Покупался часто на объявления в газетах, мечтал на экстрасенса выучиться, и даже раз ездил в город далёкий на Урал учиться. Только и там его обманули: деньги забрали, а на руки квитанцию выдали за учёбу на курсах. Сертификат, сказали, по почте придёт. И он уже пятый год ждёт его и верит.

Однажды во время тренировок перед пожароопасным сезоном на областной авиабазе Гончар Соловья подбил по пьянке, что тот и без сертификата лечить может.

– Просто у тебя никогда не было... – он с трудом выговорил заплетающимся языком, – ме-не-джера...

И, выпив ещё стакан водки, объявил ошеломлённому и не понимающему Володьке, что он будет его менеджером.

В комнату, где жили Соловей с Гончаром, повалил пьяный народ, Егор согнал его, объявив, что является представителем белого мага, и что только сегодня приём ведётся бесплатно. Ну, а если кто хочет уважить целителя, подношения принимаются в жидкой валюте. Кто кого потом лечил – неизвестно. Володька вёл приём в комнате, а Гончар по коридору, закатав рукава и растопырив пальцы, ходил с остекленевшими глазами и кричал, какой от рук у него исходит целебный жар, и лечил кому – ломаную спину, кому – хондроз, а с иных даже снимал сглаз, плюясь по сторонам.

И уже через год во всех авиабазах страны ходили анекдоты о томских десантниках-целителях, конечно, приукрашенных на славу. И когда они сами об этом слушали, диву давались. Умеют ведь сочинять у нас! Соловей, тот по своей стеснительности на расспросы о лечении смущённо говорил: «Врут! Слушаете их...». Егор же наоборот – не отрицал! Говорил серьёзно, что они владеют редким даром. Только вот беда: на трезвую лечить не получается – энергия не та! И нередко, будучи вывезенным с пожара, ходил часто на веселях. А в некоторых таёжных посёлках, услышав о целителях, даже потянулось местное население. Несли самогон, медовуху, а то и просто брагу. Улыбаясь себе в усы, Егор никому в лечении не отказывал.

Так прошло два года. Но вот, оказавшись как-то опять в таёжном Напасае, к нему подошла женщина, которая лечилась у него однажды и дала веру ему в себя, но и посеяла в душе сомнения. Сказала, что после его лечения навсегда забыла о своей болезни и больше не обращалась к врачу. Гончару обрадоваться бы, а на него снизошли тревога и чувство вины. Шутки его сразу кончились. На трезвую

голову подумал: «Что же он делает? Страждущим даёт надежду, в которую и сам-то не верит. Дурачились, а оно вон как вышло...». Часто, оставаясь один, рассматривал свои ладони с длинными, как у пианиста, пальцами, и закрадывалась мысль: «А вдруг... правда?». Только случай однажды развеял его неверие. Только тогда самому страшно стало. Разве так бывает? Ни образования медицинского... Да и, вообще, восемь классов кое-как закончил. Портфель, бывало, в сарае прячет, а сам в кочки да тальники – петли на зайцев ставить. А то на мотофлот убежит, на Чулым да Кию смотреть, когда весенний лёд пойдёт. Бывало, по пятнадцать дней ждал, пока отец однажды не выпорол ремнём. Только любовь разве ремнём выбьешь?.. А тут что же получается? Что он и впрямь целитель? От одних только мыслей и то озноб по спине.

Только случай с парашютистом глаза ему открыл. Тот после перелома позвоночника по всем врачам да бабкам ходил, только проку мало было. И сидеть бы ему вскоре в инвалидной коляске, если бы не Егор. Тот, как всегда изрядно принявший, предложил сам свои услуги, и в первый раз мужики на отделении заметили, что не улыбался Гончар в усы. Глаза, правда, были, как и всегда, стеклянные, только руки как бы знали своё дело, как бы двигались помимо воли самого Егора. Движения плавные в пяти миллиметрах от тела... Не давил, не мял и не касался, как врачи в больнице и бабки-костоправки. Но почему-то спина больного парашютиста стала пульсировать, мышцы заходили под кожей, и сам он весь покрылся потом. Потом не вытерпел, закричал, что горит всё у него, будто Егор его горячим утюгом гладит. А Егор сам после этого упал на койку дежурного радиста и как бы никого не слышал и не видел. Только произнёс, глядя в потолок, давно небеленый: «Про спину забудешь...». И что странно: все, кто рядом находился, не узнали голос его, будто незнакомый человек это говорил, а не Егор. А он пролежал до вечера и не проронил ни слова. Смотрел на всех остекленевшими глазами, голубыми, как то самое небо, которое он любил во время весеннего ледохода над мотофлотом.

Утром, закинув казённую одностволку за плечо и тощий рюкзак с провизией, попрощался с единственным, кто проснулся и вышел проводить, – Соловьём.

– К вечеру буду...

– Да, может, нет никого здесь, Егор?

– Есть. Я в тайге всё кожей чувствую, ты же знаешь.

– Знаю, вот потому-то и поостерегайся, – Соловей замолчал на секунду. – Я об этих местах ещё от отца покойного слышал. Только надо ли в дорогу говорить?

– А чем эти места плохи?

– Люди здесь, Егор, пропадали...

– Да когда это было, Соловей-соловушка?! Да и мало ли людей в тайге сгинуло? Вот два года назад помнишь? В Западно-Сибирской базе парашютист Вертопрахов с пожара прямо пропал. Только что из этого?

– Так вот как раз в аккурат в этих местах, Егор... Тут до Пихтовки рукой подать, а они там на пожаре сидели.

– Так там что-то неладно было... Мужики говорили: он под взрыв на минполе попал... А может, и повздорил с кем?

– А кто видел? Туда даже из ФСБ люди приезжали... Ничего не нашли. А это всё пьяный трёп был, что куски энцефалитки на деревьях висели и кишки на

кустах... Не верю я в это. И что с ума он сошёл, тоже не верю. Я Вертопраха ещё по Тюмени помню, пару недель вместе по пожарам мотались. Не скрою: темнила был! Только он сам кого хочешь с ума сведёт... Грамотный! Образование высшее...

– Грамотный – это не значит умный, Соловей! Вот и пойду этого Вертопраха поищу! Я что тебе, Кобылин, – спальник шоркать? – поглядел на светлевшую кромку леса. – А если не успею выйти до вертолёта, костры запалю... Найдёте.

От отмеченной пихты пошёл Егор в сторону предполагаемой реки. Когда ещё кружили над пожаром на Ми-8, Гончар заметил на вираже далеко блеснувшую излучину, а идти к ней он решил ещё сегодня ночью. Если какой и был человек вчера у минполосы, то жильё его однозначно будет у реки или озера. А может, это и вообще не человек – рысь, например. Шаг у неё мягкий, подойдёт – не услышать, да и увидеть тоже летом не увидишь. А зачем пошёл? Засмеялся: надоело на одном месте сидеть, опять же и рожи одни и те же кругом. За долгое лето все разговоры переговорили, на несколько раз, как через сито муку, перетрясли. Это в начале сезона хорошо. После долгой зимы встретишься, погуляешь, как водится, и воспоминания на всю ночь. И тут же взгрустнул. Нынче горестное воспоминание было по весне в группе. Дружок Петро Губарев, весельчак, балагур и горлопан, не дожил до нового сезона. Тихо по осени ушёл из жизни... Вечером погулял немного, а утром только и успел сказать жене: «Что-то плохо мне... Только ты, Валь, не горюй...». Самого главного не успел сказать. Кто-то не дал, видно, покаяться. А может, и не хотел каяться... Может, хотел прощения попросить. При жизни-то с женой грубоват был, только прощения никогда у неё не просил, считал всегда себя правым. Как мужик он правильный был! Работать так работать, чтобы энцефалитка солью от пота пропиталась, а гулять – так гулять, до песняка и пляски. Шумный всегда был, порой бесстыдный, где он – там хохот. А ушёл тихо, совестливо...

Егор от воспоминания присел на пень поваленной берёзы, закурил, пуская дым себе в усы.

– Старый, что ли, становлюсь? – проговорил вслух. – Воспоминания – словно паутина...

Растоптал оуток каблуком, вкрутив его в самую землю, поддёргнул рюкзак и зашагал по склону. Следов вчерашнего пребывания человека не было. Зверя было много до пожара, только дым, видно, выгнал из родимых мест. Муравейники, медведи разрытые, уже по новой почти отстроены.

К концу дня набрёл на небольшой ручей и пошёл по его течению. Стало темнеть, и Егор стал подумывать о ночлеге, когда впервые увидел следы пребывания здесь человека. Заросшие берега ручья были в иных местах в глубоких обвалившихся ямах. По виду ямы были давние, даже очень давние, на глубине только видно было землю без дернины, да и то потому, что весной в разлив в них долго стояла вода. В некоторых ямах видны были лиственничные столбы, почерневшие от воды и времени. Стало темно, и разбираться, кто и зачем это строил, Гончар не стал, потому как почувствовал, что река где-то совсем рядом. В прогал ручья тянуло свежим влажным ветерком. Где-то далеко кричал ворон, одиноко и хрипло. Тайга уже уснула и стала неприступной и пугающей. Запинаясь в темноте о корневищах и матерясь на ветки, бьющие по лицу, Егор чуть не свалился под обрыв берега. Осторожно спустился, держась за поваленное в половодье дерево, на не-

широкий песок. Над водою уже курился туман, и противоположного берега, как ни всматривался Гончар, не увидел. Собрал плавник у основания песка и запалил костёр, но и костёр не раздвинул горизонтов – наоборот, окутал всё темнотой, но у огня пропала влага. На время замолчавший ворон снова стал кричать, как бы привыкнув уже к присутствию человека и огня.

Утро Гончар встретил ознобом. Костёр давно прогорел, и утренняя речная влага пропитала энцефалитку и толстый свитер, надетый ночью. Собирая дрова, думал: «Зря фуфайку не взял – дело-то уже к осени!». Оглядывая песок, не обнаружил никаких следов. И в голову закралась мысль, что ошибся всё-таки в первый раз. Казалось, подвело его чутьё. Оглядевшись по сторонам, решил после завтрака, если так можно было назвать крепкий чай и три-четыре сигареты подряд, под которые почему-то хорошо всегда думается, что пойдёт к видневшемуся где-то в километре высокому яру с сосновым бором наверху.

Глотая маленькими глотками крепко настоявшийся чай, размышлял о найденных вчера вечером ямах. Похожи на осквернённые могилы или на раскопанные охотниками барсучьи норы. Только барсуки норы на сухих местах делают, да и кладбища тоже на взгорках. А тут все ямы в пойме! Чувствовал, что что-то не стыкуется, непонятно было ему... А когда непонятно, любопытство у него просыпалось. Значит, где-то деревня какая-то была или высел – кто-то ведь копал? Перед уходом с пожара ещё вечером детально изучил лесоустроительную квартальную карту. Но километров двадцать отмахал, а ни одной просеки не увидел. Скорее всего, лесоустроителей в этих местах лет сорок не было. По старым картам новая составлена да по первым аэрофотосъёмкам.

– Вот и верь после этого картам, – и сразу, как будто из ниоткуда, пришёл ответ, который засел у Гончара в голове. – В себя надо верить...

Он даже покрутил головой, как бы стараясь увидеть, откуда пришёл этот ответ. Потом выплеснул остатки чая на песок, собрал вещи и, поднявшись на крутой, цепляясь за то же поваленное дерево, по которому вчера спустился по темноте, двинулся берегом в сторону бора.

На краю сосняка, на чистом взгорке, огляделся вокруг, и дух перехватило. Река под поднявшимся утренним солнцем была голубой в обрамлении белых нетронутых людьми песков, и стояла такая звенящая тишина, что Егор непроизвольно схватился за уши.

– Красота... Мать её!.. – невольно вырвалось у него. – Вот бы где жить надо!

И уже про себя подумал:

– Только почему же здесь люди не строились? Интересно...

Часа полтора он шёл по краю бора, пока обрывистый материк постепенно не перешёл в низину, где сменился жёлтый исполинский сосняк на тёмный кедровый лес. И деревья стояли уже далеко друг от друга, огромные, в два обхвата толщиной, стояли молчаливо, не подвластные ветру, среди жёлтых полей. Еле заметная тропа уходила вглубь кедровника. Гончар, закулив, направился единственной тропой.

Чем дальше уходил вглубь, тем больше ощущал беспокойство. Лес становился гуще, а деревья тоньше, и среди молодого кедрового подроста уже еле-еле проглядывалась тропа. Стало сумрачно, солнце не прохватывало до земли сквозь зелёные густые кроны, а лишь изредка косыми лучами через ветви резало глаза,

отчего в темноте леса сразу терялась тропа. Но, наконец, будто вынырнул он из тёмного зелёного омута, – перед глазами открылась круглая поляна с тремя строениями.

Дома были небольшие, почерневшие от времени, с выступавшей янтарной смолой на углах. Тёмно-красная дранка на крышах местами стала чёрной, местами зелёновато-сахарной от растрескавшейся смолы. На первый взгляд строениям было лет сто, но ни один дом не покосился и не накренился. Егор, оставаясь на кромке леса, оглядел высел и не заметил присутствия людей. В самой дальней избе, стоящей как бы на отшибе, он сразу узнал баню – по черноте брёвен над дверью, а жилую избу – по единственному окну на восток. Вот у жилой избы и присел на крыльцо, сбросив рюкзак и ружьё. Нутром почувствовал покой, а с ним редко такое бывало. К красоте сильно никогда не приглядывался: некогда было, многие годы азарт им охотничий правил. Бывало, по красивейшим местам ходил, капканы ли ставил или белковал. Только вот башку задрать да оглядеть те места – времени на это не хватало. Осенний день, он короткий – бежать надо, не то ночь застанет, под выворотнем ночевать придётся. А тут как будто первый раз всю красу воочию увидел и даже растрогался: нагретый тёплый крылец ладонью шершавой погладил.

В доме к его лирическому настроению примешалась тревога. Странно! Где бы он ни был, везде видел следы цивилизации: газеты, бутылки и сигаретные пачки. Здесь же наоборот. Увидел только то, что показывают в старых фильмах, да что у прабабки видел в раннем детстве. Крынку на столе, горшки глиняные на припечке да фонарь керосиновый на матице. Нары высокие для тепла, шкуры на них лосиные, мышами изъеденные. Давно, видно, люди отсюда ушли да и не бывали больше. А вроде и река рядом...

Походил по комнате, походил и вышел. Вроде как на улице легче, не так тревожно. По углу забрался на потолок дома и чуть было кубарем не скатился обратно. Пересилил страх перед домовиной лиственничной, открыл тяжёлую крышку, надеясь увидеть кости. Только домовина была пуста, за исключением кожаного мешка-сидора с лямками. Отбросил крышку, вытащил тот сидор на свет божий, и почему-то руки затряслись. Развязать сначала хотел, потом испугался. А вдруг там что-нибудь непотребное? Рассказывали мужики иногда страшные байки, одна запомнилась...

Случилось это в Якутии. Так же вот набрали пожарники на зимовьё в тайге да нашли какие-то вырезанные куклы из дерева, расшитые оленьим мехом да раскрашенные. Экзотика! Принесли на табор. Только вечером из соседней якутской группы инструктор заходил в гости и, увидев находку, сказал, что вернуть всё на место надо, так как живым нельзя это хранить. Не послушались... В эту же ночь их табор огонь обошёл. Сгорели. Вот и не верь после этого. Не сгорел тот, кому эта кукла не досталась – повару. Один из группы остался.

Но любопытство взяло верх. Разрезал тесёмку кожаную и вытащил на свет божий несколько книг толстых амбарных да большой крест, блеснул он золотом в полутьме чердачной.

– Мать частная! Неужто настоящее золото?

И вновь голос как бы из ниоткуда:

– Это не золото... Это крест.

Заозирался Гончар, выглянул в слуховое окно. Тишина на поляне, никого нет.

Только голос ведь явственно слышал! И снова озноб по спине. Сел, привалившись спиной к домовине. Мысли почему-то в голову пришли нехорошие. Вспомнил: или читал где, или кто-то рассказывал, что чужой крест поднимать нельзя, судьбу чужую поднимешь. Но тут же за другую мысль, как за палочку-выручалочку, ухватился: так крест же не нательный... И уже вслух:

– Да сказки всё это! – повертел крест перед глазами. – Да и кустарно отлит... И опять мысли поползли «левые»: «Сколько же он стоит?».

И снова голос из ниоткуда:

– Узнаешь... Деньгами не измеришь...

Отбросил крест в сторону, раскрыл книги амбарные. Письмо старое, читать трудно, чуть не в каждом слове на конце твёрдый знак. Отдельные слова можно было разобрать, почерк тонкий, витиеватый. Чернила почти выцвели, но если при хорошем освещении – прочесть можно. Подумал: «Возьму с собой! На пожаре делать сейчас нечего, может, интересное что написано...». Только вновь страх в груди шевельнулся: «А можно ли?». Страх не за то, что без спроса взял не им в домовину спрятанное. Хозяина этих вещей в живых нет. Был бы – такое добро не оставил. А страх, что вещи могут быть и с заклятием... Только крест весом в килограмм опять у Гончара в руках – это тебе не какой-нибудь цветмет. Тут и машина, и квартира... И вдруг почувствовал: как бы не своими мыслями думает.

– Да к чему мне квартира? У меня же дом свой! Да и машина без надобности... Только и оставлять такое богатство кому?

И опять будто чужой голос, словно сверло, мозг сверлит.

– Да никому ты не оставишь! Это против сущности человеческой, а разве против природы пойдёшь! Захочешь продать – не продашь! Потому как цену не знаешь, продешевить побоишься! Твой это крест! Нашёл, в руки взял – вся теперь беда от этого... Даже если не возьмёшь, обратно в домовину бросишь и уйдёшь, так покой потеряешь... Ночами спать перестанешь, злоба в тебя вселится и на себя, и на людей. А потом всё – одно придёшь! Бегом прибежишь, да ещё вдобавок страх нахлынет – друг, найдёт кто? Возьмёшь...

– Да неужели здесь оставлю! – чуть не во весь голос крикнул Гончар, чтобы освободиться от сверливших его мыслей. – Оставлю – первый дурак на деревне буду!

Засунул обратно амбарные книги в сидорок и скинул с чердака. На крыльце всё аккуратно сложил, крест в чистые тряпки завернул, вскинул рюкзак на плечо и пошёл обратно, даже не обернулся. Сам не понимал, отчего так тяжело было в груди. Вроде и радость – богатство привалило! А нет! Что-то тяготило: то ли тревога какая, то ли что чужое впервые в руках оказалось.

«Да ничё ведь это, – подумал. – Ну, не я, так другой бы взял...».

И чтобы окончательно отпустили тяжёлые мысли, заорал песню на всю тайгу. Свою любимую, которую пели, наверно, все пьяные пожарники:

Под крылом самолёта о чём-то поёт,
Зелёное море тайги!

Шёл скорым шагом, насколько можно было идти по тайге. Спешил хотя бы к началу ночи вернуться на табор. Шёл и пел, порой просто орал, пугая за версту зверей и птиц, пока не охрип. Грудь распирало от чего-то непонятного, а то наоборот – холодком её обдавало, словно и не лето на дворе. Не заметил, как отмахал обратный путь. Да и не зря поговорка есть – дорога домой, она короче. Только

начало смеркаться, как уже услышал стук топора о сухую лесину. Звук этот в лесу особый, гулкий, который переплетается с тонким звоном остро оточенного жала. Но только услышать этот звон можно, когда ты не рядом со стучавшим, а далеко. Эхо этот звон поднесёт тебе, как звон поющего хрусталя. А рядом слышен только гул сухой лесины...

Крикнул в сторону звука, чтобы кто-нибудь не спутал его со зверем да не шмальнул со страха в сумерках. Всяко бывает... В ответ стих стук топора, и через несколько секунд долетел до него крик Володьки Соловья:

– Егор!

Эхо подхватило голос, понесло по темнеющей тайге, и, будто футбольный мяч, бился крик о высокие вершины кедров и пихт, удаляясь и меняя глас:

– Егор... вор... ор...

От такого откровения эха мурашки поползли у Егора по спине.

Вышел к табору Гончар, ощерился в улыбке:

– Заждались!

– Да ещё бы ходил, нам только в радость, – зевнул выползший из своего полога Кобылин. – Чё ходил-то? Тут Соловей без тебя только заскучал, не поёт, не ест-не пьёт.

– А не заткнулся бы ты, Семён! – Егор прищурил брови. – И что ты за скотина такая? Ни встретить, ни приветить, только спать да пить в промежутке.

– Это в каком промежутке? – не понимая Гончара, удивился Кобылин.

– А это ты дома у бабы спроси про промежуток, – заржал конём Гончар.

– Да пошёл ты! – непонимающе. – Всегда подсидеть меня хочешь...

– Так тебя не подсидеть, – уже тряся тощим животом Егор, – тебя подлежать надо, а я другой ориентации.

– Что, бессонница, что ли? – Семен спросонья тупо уставился на Гончара.

Гончар уже смеялся, широко раскрыв рот, и вместе с ним смеялись все, кроме инструктора Кобылина. Даваясь смехом, с покрасневшим лицом, еле выдавил:

– Я с мужиками, Сеня, не сплю.

– Ну, как всегда, умного от тебя не дождёшься. Ориентации он другой... – и вдруг понял, приподнялся и сел. – А я что, по-твоему, пидор?

– Да ладно, Сеня, шутки не понимаешь, – миролюбиво протянул Егор. – Двое суток почти ни с кем не разговаривал, вот и понесло меня.

– Лучше бы пронесло, – ворчал Семён. – Сплю много... Так это оттого у меня сон хороший, что совесть моя чиста.

Семен встал и направился к костру, не прекращая ворчать:

– Меня ведь где оставишь, там и возьмёшь!.. Не то что некоторые!.. Шастают где ни попадя!.. Потом ищи их по тайге...

– А ты прям кого-то искал, – Соловей недовольно посмотрел на Семёна. – Ты ведь больше начальство привык искать. Командир, мать твою!..

Семен хотел было осердиться и даже повернулся к Соловью, но раздумал. Такие перепалки под конец сезона не впервой. И что зря плотку драть? Налил себе в литровую кружку чая и, отвернувшись от Соловья, стал пить. Вообще, скандалов он не любил, был беззлобный, но вместе с тем бесполезный, и, сам это понимая, вовремя останавливался. Работягой, как Соловей и Гончар, он себя тоже не считал. А попреки, что с лётнабами он часто хороводится на авиаотделениях, отколовшись от своих... Считал их незаслуженными и даже унижительными! Он,

может, из-за своей десантной группы здоровьем жертвует. Пить с начальством приходится во время дождей дня по три – это какое здоровье надо?! И потом глядишь: лишнее задание на какой-нибудь давно потухший пожар. Опять чем плохо, если и тушить ничего не надо. Прилетел – и сиди... Он, можно сказать, им отдых устраивает, а погляди – недовольны. И уже вслух произнёс, отдавшись своим мыслям:

– Нам хлеба не надо! Работу давай!

– Семён, ты чего это? Задремал? – опять ощерился в язвительной усмешке Егор. – Ты лучше скажи, когда вывезут. Пора бы и в баню...

– А тебе что, не терпится? – и уже миролюбиво, ему тоже до чёртиков надоело сидеть на комарах и мошкаре да и ругаться даже было лень: – Завтра борт, мужики, сегодня с облёта Батяйкин передал. И материл, кстати сказать...

– За что материл? – наперебой удивлённо заговорили десантники.

– Да я сказал, что все на пожаре... А он сапоги с самолёта все посчитал, что у палаток стоят! Сколько раз говорил, чтобы сапоги убирали во время облёта. Так вы же все грамотные! А я на этом уже зубы съел, нынче ведь уже на пенсию... Ох, лишит он нас когда-нибудь премиальных! И так ни черта платить не хотят!..

Почти половину ночи Егору не спалось. Только, кажется, начинает окутывать дрема, как перед глазами становится поляна с тремя домами. И сначала начинал вроде думать. Кто же жил в этих трёх домах? Сходить в два дома он так и не успел, из-за этой чёртовой домовины с крестом. Хватил оттуда, словно головёшку ему под хвост сунули. Ладно бы от страха перед домовиной – что он, гробов никогда не видал или покойников? А тут другой страх подкрался: вдруг кто явится? Может, кто про крест тот знает, да и не берёт по каким-то соображениям. А вот он, Егор, не утерпел, польстился... И сам непроизвольно прощупывал под головой спального рюкзака с крестом и книгами, при этом ощущая в груди странный жар. И начинал вдруг ловить себя на мысли, что он почему-то перестаёт доверять Соловью. А если он прознает или увидит? А ещё хуже – украдёт! И тут же осекал себя и еле слышно плевался и матерился от своих мыслей.

Потом, уже днём, в вертолёте, под монотонный свист турбин и шлёпанье винта, уронил голову на свой рюкзак и заснул в лихорадочном сне. Снились ему почему-то большие черные птицы. Сначала он подумал, что это вороны поднялись с окровавленной лосиной туши. Но чем выше они поднимались, тем больше становились, пока их черные блестящие крылья не закрыли весь небосвод. А он стоял, тяжело дыша от бега, ошеломлённый, над убитым им сохатым, который со смертельной раной пробежал почти километр. И не успел: перед ним торчали белые со следами крови рёбра, да всюду по белому ягелю виднелись, словно кровавые верёвки, растасканные птицами кишки. А небо шумело крыльями, и стоял ранее неведомый ему гомон огромных птиц. И когда, проснувшись, увидел яркие солнечные лучи в иллюминаторе, ему на какое-то мгновение показалось, что он ослеп. Лучи солнца вдруг стали менять цвет: становились то ярко-красными, то кроваво-багровыми, пока не стали черными, заполнив брюхо вертолёта тьмой. Егор подумал, что это ещё остатки кровавого сна, и провёл ладонью по глазам. В лицо ударил ветер из открытого иллюминатора, а по обшивке весело бегали солнечные зайчики.

– Ты не заболел? – крикнул Егору в ухо Соловей. – Что-то вид у тебя не очень...

– Вид, говоришь... Ты прости меня, Володька... Я как бы не в себе этой ночью был, плохо о тебе подумал, прости... Будто и не я это. Сейчас вспомню – на душе муторно.

Соловей укоризненно взглянул на Гончара:

– А я тебе говорил, что места там гиблые...

– Да места там красивые! А всё, что ночью думалось, так это, может, и от усталости. В баню надо, Соловей! Я сегодня даже пить не стану! Может, пивка только...

– Зарекалась свинья в грязь не ложиться, – пробурчал сидевший рядом Кобылин. – Только прилетим, радиста пошлю в магазин. Погуляем! Хотя он мог бы и сам догадаться, припасти...

– Это ты про себя, Сеня? – Соловей ждал ответа.

– Да про всех! Один ты у нас тихоня, экстрасенс вымученный! Поди, сам на сам гуляешь? А впрочем, тебе же хуже, на белой горячке женишься...

Соловей отвернулся от инструктора и стал смотреть в иллюминатор. В голове билась одна мысль: неужели Егор нашёл что-то? Отчего разоткровенничался, прощения просил? Мало ли кто и как про себя думает о других. Только ведь молчат! А Егор не смолчал...

Глава 2

Заскрипели ранним утром кованые ворота пересылки, и распахнул Маринский централ своё пропахшее гнильём нутро, и, словно объевшийся волк, отрыгнул из себя серую арестантскую массу. А потом, словно в зевоте, скрипуче и протяжно закрыл свою ненасытную тюремную пасть. Промёрзший скрип вновь оборотил на себя серый взгляд исторгнутых, в котором уже не было ни страха, ни радости. Во взгляде была лишь отрешённость и обречённость. Они не чувствовали свежести морозного утра, не чувствовали холода металла на щиколотках и запястьях – в голове ещё стоял спёртый дурман барачков, который парализовал их мысли и чувства. Радость была лишь у тех, которые впервые шли по этапу: они ещё не свыклись с неволей и вонью барачной. Молодым, оно всё по колено, а если велено будет Господом Богом смерть принять, сдохнуть лучше уж в чистом поле.

У пропахшей барачной массы не было лиц, вернее, у неё было одно лицо: одетые в одинаковые серые арестантские шинели, в серые тюремные скуфейки, с одинаковыми по длине и весу цепями. Шарканье и звон заполнили Иркутский тракт, поднялся шум над вершинами сосен, полетел навстречу поднимающемуся солнцу. А под звон, словно убитые горем молодухи, плакали позади обозные телеги. И в шарканье лаптей и опорок вплетались звуки крепких каблуков конвоя да зычный голос: «По-спе-ша-й!». А лязг оружия вплетался в звон кандалов, потому как одно без другого – это только на войне, а в мирное время – почти всегда рядом.

Заря, поднимающаяся над трактом, заставляла прищуривать глаза, резала песком глазные яблоки, вызывая темноту и красные пульсирующие круги. Кто-то прикрывался грязной ладонью, а кто-то вообще не обращал на это внимания. Почувствовавшим слепоту после тёмного барака, им свежий белый снег казался чёрным, а заря – кровавой. И шагали они по чёрному снегу, смотрели невидяще на

зарю, бестолку вращая кровавыми воспалёнными белками, лишь изредка, почти по привычке, выбирали рукой слабинку цепей.

Но вот, словно ветер в листопадную пору, зашуршала песня каторжан, такая же грустная и безысходная, как поздняя осень. Она кидала в обросшие лица холодным и жёстким крошевом слов, от которых сильнее сутулилась спина и исчезала последняя надежда. А ветер-песня усиливалась, набирала силу и мощь и уже не казалась печальным шуршанием листвы – она была грозно-ужасающей, как само священное море, о котором они пели. А звон цепей – будто звон битого стекла, но не осыпающийся к ногам, к рваным разбитым опоркам, а поднятый суровым ветром слов – поднимался и крутил над головами серой, одноликой бредущей толпы. Звон резал слух, проникал под серые шинели и затихал, коснувшись души арестантской. А та уже смирилась со своей участью каторжника, смирилась со своим большим сроком неволи, а порой и бессрочной каторгой, остыла и уже не противилась своей страшной доле. Она свернулась в клубок замерзающим путником, сохраняющим последнее тепло, боящимся шевельнуться, чтобы не выпустить в окружающий холодный мир последнее, что у неё осталось.

В разбитой Ларькиной голове хруст снега отдавался болезненно, заставляя прикрывать воспалённые глаза. Погони не было, да и не могло быть: конвоиры не бросят арестантов. Сначала гремели холодными щелчками винтовочные выстрелы, но не прицельно, а так – наугад, в белый свет. Молодой, чуть повыше человеческого роста, пихтач и ельник схоронили от пуль Ларьку Вертопрахова. Но болела голова, разбитая о камни, пульсировала, словно там орудовали кузнецы, заковавшие его пару месяцев назад в ржавые цепи. До сегодняшнего дня кандалы напоминали Ларьке своим звоном деревенского бугая с огромным берёзовым бастрыком. Бык тот в его деревне отличался злобным норовом, порол бока задремавшим кобылам, за что был закован, словно каторжник. И давно бы пустили его под нож, да потомство давал он хорошее, крепкое – вот и надели ему бастрык на железной цепи. А вот Ларька ещё не успел дать потомство: родственники только собирались на Покров сватов заслать к красавице Катерине. А ему пусть не берёзовую оглоблю повесили, но поковали по рукам и ногам, и тоже за его буйный нрав. Но со временем цепи вышаркались до блеска о нары да о суконную арестантскую шинель, и звон стал другим, более звонким и мелодичным. Иногда на этапе, бредя в полудрёме с прикрытыми глазами, он улетал в мыслях в родную деревню, и тогда звон цепей ему казался звоном бубенцов под дугой, куда уже воспалённый разум вплетал и звуки балалайки, и сухие чёткие щелчки деревянных ложек. И на обросшем лице появлялось подобие улыбки, будто он не на этапе, а на ярмарке, куда ездил продавать пушнину и лосиное мясо. И даже в голову входил кураж, как от выпитого вина, делая тело его лёгким, почти воздушным. Только голос конвоира выводил его из этого помешательства, загоняя снова в реальность, с которой, как всегда, приходила злоба, и глаза становились колючими и дерзкими, а витавшая минуту назад улыбка, делавшая лицо Ларьки добрым, уже не предвещала ничего хорошего. И шедшие по бокам арестанты отодвигались от него, не зная, что на уме у неразговорчивого, медведеподобного сокамерника. В первый месяц пребывания в тюрьме, когда Ларька не мог спать и смириться с неволей, бродил по ночной камере и бил огромными кулачищами в кирпичные стены, издавая при этом звериный рык, дали ему прозвище – Шатун.

Весной, на святой праздник, сошлись с урядником на кулаках, так как после Ларьки он самый здоровый был в деревне. Красная крепкая шея бычья, грудь – не

одна баба уляжется, глаза татарские, острые, рысьи. Сошлись честь по чести, как и отцы и деды их сходились. Сначала раззадорили себя лёгкими оплеухами, от которых в ушах загудело, да злость в темечке пульсировать начала, словно живая. Потом уже били по-мужски, кто на что способен. Ларька – неторопливо, с оттяжкой, вкладывая в удар не только свою силу, но и внутреннее удовольствие, которое вылетало не то всхлипом, не то утробным всхрапом: «Хек!». Урядник же наоборот: бил коротко и монотонно, словно рубил мёрзлое дерево. Удары достигали цели, но щепы пока настоящей не было, хотя от четырёх-пяти ударов голова Ларьки наполнилась каким-то монотонным звоном, и стали проплывать временами красочные круги. Помнит, как сейчас, лицо урядника Ларька: глаза превратились в щелочки, из которых проскакивали молнии. Где-то в глубине промелькнула мысль: «Добром это не кончится!». Так оно и вышло. Со всей звериной мощью ударил он соперника в грудь, напротив сердца, и увидел, как надломился царёв человек, открылись, может быть, впервые широко и удивленно его рысьи глаза. Только вместо зрачков – бельма... Мёртвый уже на землю падал, не мучился...

Опешил вначале: как легко можно человека жизни лишить! Наклонился над павшим, стараясь уловить дыханье. Только грудь урядника в праздничной атласной рубашке замёрзла на вздохе, как и рот его оскаленный, и вместо дыханья струйка чёрной крови, запекаясь, окрасила малиновый ворот, превращая его в чёрный. И тогда, пробивая себе кулаками дорогу среди толпившихся кулачников, побежал Ларька к своему дому и спиной тишину почувствовал. Окончился праздник... А в темени уже не злость билась родничком младенческим, а страх, смешанный с жалостью к убиенному. И покуда в «холодную» у старосты не закрыли – убёг в тайгу, благо рядом, за своим огородом. Прихватил соль с котелком, каравай хлеба да шомполку с провиантом.

Привалился Ларька отдышаться спиной к осине горькой, покрытой зелёной коростой лишайной, а во рту и на душе тоже горечь осиновая, словно кору глодал от бескормицы. Выстрелы стихли, но ещё ветер доносил с тракта звон цепей, а может, просто уже чудился он Ларьке. Последние два месяца со звоном ложился и с ним же и просыпался. На какое-то время перестал дышать, прислушался. И вдруг понял: звон не от тракта доносится, а в голове у него – видно, от падения. Руками ощупал голову – вдруг в горячке не заметил? Может, пулей его... того, а не о камне. Но крови нигде нет, только висок опух и саднит. Подумал: «Сейчас бы к бабке Алексане, она бы поправила...».

После неудачной драки многие деревенские мужики к ней голову править ходили. А бабка лечила просто: деревянное сито заставит в зубы взять, чтобы деревянный круг над головой был, да как вдарит двумя руками по ситу! Из глаз искры, боль нестерпимая, а глядишь – к вечеру боль головная и уляжется. Знала, что делала!

Ларька закрыл глаза, стараясь отдохнуть – может, боль и отпустит. А в уме опять те роковые дни для него, и тоже болью отдаются, только в груди под рёбрами.

Только всего два дня побродил он тогда в лесу, на комарах да духмяной жаре, и на третью ночь в деревню заявился. Не мог так просто уйти, не попрощавшись с зазной Катериной. Страх быть пойманным слабее оказался: глаза карие Катерины манили, как бы звали через кусты зелёные за деревенской поскотиной. Только ведь староста деревенский не дурак, да и жандармы с волости уже жда-

ли... Только на сеновал пробрался, как повалили в остатки прошлогоднего затхлого сена да вязать стали вожжами... Слышал, как заголосила Катерина на заднем дворе, кровь в голову ударила, словно хмель. Смел с себя пару человек и ушёл бы, только вожжа петлёй на шее заплелась, задавила, как жеребца строптивного в табуне. Язык почерневший во рту не помещался, силы кончились, и упал, задохнувшись, снова в сено, так и не поднявшись полностью на ноги. Потом, как уже выводили, увидел тонкую фигуру Катерины. Простоволосая, с платочком светлым у рта, а глаза из карих превратились в чёрные...

Ларька, отвалившись от осины, встал на колени и уткнул горевшее лицо в снег, стараясь унять головную боль.

– Так и не дойду... – прохрипел сухими растрескавшимися губами, взглянул на садящееся в тучу на горизонте солнце. – Не дойду... Зря послушал Анисима...

А ещё было у него время, чтобы уйти, – целая ночь впереди. Пока этап дойдёт до следующей станции, а оттуда на поиски беглого служивых отправят только утром. И, шатаясь, поднялся, побрёл по неглубокому снегу подальше от ненавистного тракта, вглубь тайги. Тайга, она укроет! Не пугали Ларьку ни лес, ни зазимье – знал он эти места, благо недалеко от родных краёв. Главное для него – на речку выйти, а там и зимовья есть, да и села небольшие. Всю ночь брел, спотыкаясь о спрятавшиеся под снегом корневища, падал и лежал, ощущая моменты блаженства неподвижности, но приходили мысли о предстоящей погоне и заставляли его подниматься и идти. С восходом солнца начнётся на него охота, и тогда уже ничто его не спасёт. Рассказывали ему бывалые каторжане в пересыльной тюрьме о том, как ловят и как стреляют. Если далеко от тракта догонят, никто его уже не поведёт обратно. В тайге и оставят без могилы и без креста – птицы да звери похоронят.

Уже солнце поднималось из-за просветлевшей горы, когда излучину реки увидел, сверкнувшую в сосновом прогале леса. Залез под валежину почти на самом берегу и провалился в лихорадочный болезненный сон.

Помочь распрощаться с кандалами помог Лариону сосед по нарам – чахоточно харкающий кровью, с белым, без единой кровинки лицом, лишь иногда вспыхивающим неестественным румянцем, Анисим. Лицо его было когда-то давно изувечено ножом, но не выглядело отталкивающим. Седой и почему-то всегда опрятный, несмотря на скотские условия в бараке, он вызывал интерес у арестантов. «Горожанин», – при первой встрече почему-то подумал Ларька. Даже здесь больной и старый Анисим выглядел франтом.

Дружба поначалу не ладилась. А с чего ей ладиться, коли Ларька в душу-то никого к себе не пускал, тем более незнакомых. Бессонные его ночи почти прошли, свyksя, но так же, как и прежде, молчал да лицом темнел от времени. Видел, правда, что сосед по нарам иногда пристально приглядывается к нему, но заговорить не спешил. А потом вдруг тихо так ночью:

– Ты бы, Ларион, не молчал, поговорил. Разговор, он из души тоску уносит.

– А я думал: ты немтырь... – удивлённо вскинул Ларька брови на больного. – Тоска лесному человеку неведома, разве что забота...

– Так и с заботой не доживёшь до воли: свалит она, как болезнь.

– А я всё одно уйду, дядька! Вольной птице в клетки не дело. – Задумался, положив голову на свои огромные кулаки. – Ты вот волю-то забыл... По виду-то давно по каторгам.

– Это ты-то птица? – Анисим хрипло засмеялся. – Повеселил!

Ларька приподнялся на нарах, глаза сделались колючими, кулаки сжались:

– Я!

– Не сердчай... Воля, милай, – птица! А ты – кукша желторотая!

– И что ж мне тут?... Ждать, когда крылья отрастут?

– Будешь ждать – не отрастут... Ими махать надо, чтобы сильными были. Тогда только над землёй поднимут. Не у всех, Ларион, получается. Кого пуля свалит, кого – болезнь...

Погрустнел Анисим, глаза подёрнулись мутной поволокой. Сморгнул, кряхтя.

– Я за свою жизнь полетал... Только поистрепал крылья до последнего перышка, а теперь и взлетел бы – так силушки нет. Помру скоро, Ларя...

И вдруг ласково, но сквозившим завистью шёпотом:

– А ты молодой, тебе летать и летать...

Ларька задумался над словами Анисима. И без его слов знал, что надо уходить как-то. Только как? Побег из деревни после убийства разве побег? Да и никто за ним тогда не гнался, не до него было. И если бы не вызванные жандармы, свои и вязать бы не стали. А здесь уйти непросто, одними кулаками дорогу себе не прошибёшь. А как поймают? Как жеребцу тавро поставят... Все будут знать, чья скотинка! Царёва! Произнёс, на старика не глядя:

– Пока лоб коленным железом не прижгут, так, что ли?

– Если правильно советом моим распорядишься, можно и с клеймом жить...

– Что же ты такой добренький, дяденька? Али выгоду свою видишь? Что же сам блох барачных кормишь?

– Чахотка силы съела, золото – разум... А выгода... Знамо, есть...

Закашлялся Анисим, закрывая лицо серой тряпичей и отворачивая голову от Ларьки, потом хрипло начал:

– Последний этап не вытяну, а ты ещё свежий, уйдёшь. Много думал последнее время... Конец свой вижу. Богат я, Ларя... Только не впрок всё было. Душегуб я... Оттого, видно, один, семьи не нажил, и что болезнь приключилась, тоже оттого. А вот теперь чувствую, что не один уже – смертушка меня под венец ведёт.

– Что же от меня хочешь?

– А ты беги, Ларя, пока сила в тебе, и тайну мою унесёшь, и душе моей поможешь.

– Так не поп я грехи отпускать... А убивец, как и ты.

– Ты-то убивец? В честной кулачной драке – это не убивец. То судьба у твоего урядника такая была. А куда против судьбы? Никуда! Перед дорогой, когда ковать начнут, кузнецу на тебя укажу, он дело знает...

– А вдруг он не станет, дядька? Кузнеца и самого ведь могут заковать?

– Станет. Кто от золота отказывался... Золото, оно власть! И над людьми, и над самим хозяином...

– Золото? А у тебя оно откуда? На старателя вроде не похож...

– Да Сибирь, она вся на золоте стоит, только нагнуться да поднять.

– А что за тайна?

– Всё узнаешь, не торопись. Богатеем будешь, коль душе моей поможешь. Боюсь я на том свете не прощённым остаться... Страшно. На святой земле храм поставишь, место укажут.

– Кто укажет, дядька Анисим?

– Лесной человек...

Сон Ларьке снился в холодном забытии – страшный! Будто идёт он зимой в мороз по родной деревне в новых белых катанках. На улице широкой никого: ни людей, ни собак. Тишина гнетущая стоит, даже скрипа снега не слышать под катанками. Удивился. Бывает ли так? Дым над трубами поднимается столбами, всё небо заволочло чёрными летающими хлопьями, и видит уже под ногами не снег, а тот самый летающий пепел, и он уже сам по колено в нём. Руками тот пепел загрёб, поднёс к лицу, а он холоднее льда. Потянул носом, а нет в нём запаха костра, такого знакомого Ларьке в таёжных ночёвках. А вдохнул он запах остывшего пепелища, и будто проник он в самую глубину его мозга и стоит в нём бабьим воем и закатывающимся плачем ребятишек. Испугался, стряхнул его с рук, чтобы отвязаться от страшного горя, только руки оказались по самый локоть то ли в смоле, то ли в жирной маслянистой саже. Страшно и дивно! Пепел кругом, а что горело, не видно. Дома по улице жёлтыми срубами из-за серых таловых плетней глядят, будто все новые, в одно лето ставленные. Вот только окна у домов невесёлые, словно скорбящие... Ищет Ларька глазами дом родимый. У них ведь дом не новый, лет сто уже стоит. Крестовик листовняной ещё прадед Ларькин ставил, не гниёт и не вырастает в землю от старости, вот только почернел от времени да стал похожим на остывшее калёное железо и с солнечной стороны покрылся темно-красными разводами смолы, местами засахарившейся белыми потёками. Но сколько ни вглядывался Ларька – не увидел родимого дома. Словно растворился он! Одно пустое подворье, колья там и сям торчат, словно кресты на погосте. Может, это от родимого дома пепел по воле носит? Жерди заплота чёрные, обгорелые, и тревогу несёт родимое подворье... Почувствовал Ларька беду страшную, опустился на ослабевших ногах, коленями в чёрный пепел встал. Крестом хотел осенить себя и родимый двор, только рука стала непослушная, перст собрать не может, и будто лёд лежит на его ладони и не тает. Хлопнул в страхе в ладоши, но услышал только глухой звон льда, эхом раскатившийся в пустоте. И тогда закричал, только вместо крика мычание... И проснулся с биением лихорадочным в груди.

Увидел Ларька широко раскрытыми от страшного сна глазами, как взметнулись, гомоня, кедровки из тёмных крон, зашумели напуганно. Видно, взаправду во весь голос кричал и птиц поднял. Выбрался из-под валежины, словно медведь из временной берлоги, огляделся при свете: до реки рукой подать, но только богу известно, сколько ещё берегом идти. Анисим говорил: день-два, но так это больному Анисиму, а ему, Ларьке, поди, и дня хватит. Снег небольшой, а в пихтачах так и вообще по щиколотку. Но тут взяло его сомнение. А если Анисим обманул, и нет там никакого зимовья? Чай, не лето сейчас – пропадёт... Три-четыре дня выдержать можно: ягода какая-никакая есть, шиповник и калина с рябиной попадают! Только без огня ослабеешь... Переваливаясь через упавшие лесины на берегу, дошёл до крутояра и взглянул на уснувшую холодную воду.

Большие забереги реки кое-где уже спаялись с противоположным берегом, подставив остывающему небу замерзающие тёмные речные глаза. При виде чёрной, словно загустевшей воды, Ларька поёжился и, собравшись напиться, передумал. Захватил пригоршню снега, пожевал до ломоты в зубах, потом стряхнул остатки с растаявшими каплями и, не оборачиваясь больше на реку, двинулся кедровой гривой вниз по течению.

На исходе пятого дня небольшой ветерок донёс запах дыма. Остановился. В лесу, когда бывал Ларька один, у него обострялся и нюх, и слух, и тогда он чувствовал в себе что-то звероватое. Шаги становились пружинистыми, осторожными, и сам почти сливался с лесом, ни птицу не потревожит, ни сучка на земле ногой не сломит. От этого, наверное, и на охотничьем промысле удачлив был.

Запах дыма был смешан с конским потом – это тоже уловил Ларион. В голове пронеслось, что ждут, наверное, его, беглого... Кто больше здесь может быть на конях, кроме царёвых людей? Никого! Первая мысль была повернуть назад и уйти на другую сторону реки по узкому перешейку, но увидел, как даже небольшая рябь полыньи волновала недавно застывший лёд. А потом мысль – без хлеба и огня далеко не уйдёт, и в первый же настоящий мороз заснёт ночью ослабленный и не проснётся, – остановила Ларьку. Сел под выворотень и стал ждать темноты. Ночью, оно всегда уйти легче, а если жандармы, то те в ночь в лес и не сунутся – это они днём могут по десять часов гонять, не давая покоя. Сам он этого не знал – люди на пересылке говорили. А потом, когда догонят, если не застрелят, то забьют прикладами.

Когда стемнело, потихоньку подобрался по кедрочкам к поляне, увидел при лунном свете три добротных небольших избы и навес из жердей с тремя конями. Присел у крайней кедров, выжидать стал. Может, кто по нужде во двор выйдет. И увидел... Нет, не жандарма, – мужика в два метра ростом, заросшего чёрной, цыганской бородой, в рубаше навыпуск, пояском кожаным подпоясанного. И хоть в сумерках, а углядел за голенищем нож. Мужик тот не нужду на дворе справлял, а пошёл к лошадям, и те при виде его заржали тихо, по-доброму. Определил Ларька, что за конями тот ухаживает, только они могут относиться к человеку по-доброму, с пониманием. Это не то что коровы – за ними как ни ходи, а только не хозяину они радуются, а отрубям, что им вынесут. А кони, они человеку рады. Мужик гладил коням шеи, и слышал Егор странные звуки, словно перед ним был зверь во время весеннего гона, который незлобивым рыком и урканьем искал расположения противоположного пола. Потом дошло – немтырь!

Когда совсем стемнело, подобрался к единственному окну. При свете керосинового фонаря разглядел широкие нары и человека, лежащего под волчьей дохой. Немтырь же ходил по избе от стола к печи и готовил, видно, ужин. От одной мысли о еде у Ларьки засосало в желудке. Сегодня, кроме нескольких кистей рябины и сушёного гриба, оставленного белкой в расщепленной сосне, он ничего не ел. Глянул Ларька на висевшую на горизонте луну, большую и красную, словно хотел отыскать там Бога да попросить защиты, но не нашёл. Перекрестился и толкнул входную дверь.

– Здравия хозяевам, – нашёл глазами в переднем углу иконы, перекрестился. – Пустите, люди добрые, странника на ночлег...

Немтырь остановился посреди избы с огромной миской в руках, в которой дымилось отварное мясо, на нарах зашевелился спящий человек и, не откидывая доху, глухо произнёс:

– Скорый ты на ногу, Ларя!

Ларька отступил к дверям. Откуда имя его известно? Мало ли беглых по тайге последнее время скитается. И голос будто бы знакомый. Убежать? А далеко ли с пустым брюхом убежишь? Да без огня так и так погибель... Увидел, как цыганистый мужик уже засапожный нож в руках держит, ухватил Ларион лавку у дверей, опрокинув стылую воду на пол.

– Да неужто креста на вас нет, хозяева?.. Грех на душу возьмёте, бродяжку загубите...

– Ты, Ларя, остынь, – лежащий человек, откинув с головы доху, сел. – Не ведал, что свидимся?

– Дядька Анисим?!! Ты-то как здесь? По этапу же шёл...

У Лариона расширились глаза от изумления. Ждал жандармов или разбойный люд, – только Анисима увидеть не думал. Он ведь по бараку с трудом передвигался, всё больше лежал, а тут... Верить глазам своим или не верить?

– Так укуси себя за палец, раз в сомнениях.

– Ты же, дядька, помирать вроде собрался? И мне тайну свою поведал, а теперь мне как?

– Помереть всегда успею, – и тут же, обращаясь к верзиле: – Стол собери, Петруша, гость с дороги голоден.

Ларион покосился на заросшего мужика, который уже спрятал нож и хлопотал у стола. Видя, как тот при своей неуклюжести проворно и бесшумно, почти по-кошачьи, стал метаться от стола к печи, почувствовал страх. Непрост, видимо, немтырь! С таким в лесу лучше и не встречаться.

– Ты, Ларион, к столу проходи, а армяк свой на полати брось, там и спать будешь. Говоришь, как ты теперь? Не знаю... Может, как Петруша.

Анисим встал с нар в чёрной поповской рясе, и при виде церковного облачения у Ларьки глаза чуть не повылазили из глазниц.

– Не знал я, что ты батюшка... – помолчал, соображая в начинающей как-то странно путаться голове. – Как это, как Петруша?

– Я здесь и батюшка, и матушка... Бог и царь я вам здесь, Ларя! – ухмыльнулся. – Много людей знали о золоте, только нет уже их, а Петруша вот безголосый...

Разомлев от тепла и пищи, Ларион уже почти не слышал, что говорил Анисим. Перед глазами стояла заснеженная тайга с каменистыми осыпями. И с крутых склонов скатывались камни, наматывая на себя снег, и словно засыпали у ног Лариона уже большими головами снежных баб. Их становилось всё больше и больше. Иные улыбались ему снежными улыбками, у других же был злобный застывший оскал.

– Чудеса!!! – сквозь сон пролепетал заплетающимся языком. – Блазнится...

Потом все эти чудеса заплясали, запрыгали под шум поднявшейся метели и крутились, будто в колдовском танце, на уровне глаз Лариона. И он видел холодный, неживой взор снежных голов, и повсюду слышался рёв то ли ветра, то ли по-звериному ревели прыгающие снежные шары. А может, это ревел зверь за окном? И стало неметь его тело, и останавливалось сердце.

– А ты, чай, не болен?.. – услышал он в забытьи чей-то голос. – Уложи-ка болезного...

Подумал: «Кто болен? Я или Петруша?... Нет, ведь болен дядька Анисим! Чохотка у него...».

Однако разобраться Ларион уже не мог. Мысли путались и тоже прыгали снежными шарами. Последнее, что пришло на ум, было: «К чему Анисим говорил про Петрушу, что он безголосый?...».

Додумать не успел, метель ворвалась в избу и закружила Ларьку в своём снежном вихре. И только когда снег жёстким сухим песком стал резать его глаза, он понял, от кого исходил страшный и выхолаживающий душу рёв. Ревел

он сам, Ларька, поменявший вдруг не только свой голос, но и обличие. Он увидел себя матёрым медведем, поднятым из зимней берлоги, с вздыбарившейся на огромном загривке чёрной шерстью, разрывающим сильными лапами брюхо охотника, выворачивая оттуда кровавые внутренности и разбрасывая их по светящемуся лунному снегу чёрными сгустками.

«Неужто я правда шатун?..».

И вдруг другая, совсем далёкая мысль, даже как бы ненужная: «А как же Катерина? Она-то как?».

Но эта мысль только лёгкой тенью промелькнула в голове, потому как одинокая луна затмила всё, росла и ширилась в своих размерах. И ничего уже не было приятнее на сердце у Ларьки, кроме этого призрачного света и одиночества во вселенной. Он вновь набрал полные лёгкие жёсткого, с кристаллами измороси воздуха, и опять долгий и протяжный рёв наполнил заснеженное пространство под луной.

Анисим ходил по комнате, тихонько покашливая, изредка бросая взгляд на Лариона, укрытого мягкой лосиной шкурой на только что сооружённых нарах у печи.

– И что же нам с тобой, друг наш Ларя, делать? – говорил сам с собой Анисим. – Скрутило тебя не вовремя, а чтобы не в лесу?.. Я ведь думал: не дойдёшь ты...

– М-м- м, а-а-а-а-у... – подал голос Петруша, руками показывая, что надо сделать с бродягой. Жесты были настоль явственны, что не составляло особого труда понять их Анисиму. Немой проводил пальцем по своему заросшему горлу и, открыв рот, храпел.

– Зарезать, говоришь?

Немтырь радостно, что его понял хозяин, закивал в знак согласия головой.

– Богоотступник ты, Петруша. Разве можно?.. Болен он сейчас, помочь ему надо. А про золото знает... Так я ему сам сказал... Ты ведь тоже знаешь, а живёшь...

Немтырь стал угрюмым, исподлобья зыркнул на хозяина, продолжая цепко держать в поле зрения непрошеного гостя.

– Ты мне не сверкай глазищами, дьявол! Я всему тут голова!.. А ты боишься его, Петруша... Меня, как видно, уже за хозяина заимки не признаёшь... – И, сорвав на кандальной, отполированный до зеркального блеска, цепи огромный золотой крест, замахнулся на немтыря. – Может, и против меня тоже смерть замыслил? Я тоже хворый!

Немой Петруша, испугавшись, попятился к порогу, потом упал в ноги, хватая своими ручищами хромовые сапоги Анисима:

– М-м-м – а-а-а б-о-о-г...

– То-то же! Бог! Только вижу я в тебе, безъязыком, перемены! Вижу, смерти моей ждёшь! Что же ты меня тогда с каторги вызволял? Знаю, не от добра да сострадания. Пока меня в центре держали, ты искал тайник, а найти не мог, да и не найдёшь никогда. Для этого ты слишком глуп! А вот ответь мне, сердешный мой избавитель, для чего тебе золото? Ты же и продать его как следует не сможешь! Так и будешь возле него улюлюкать...

После побега Ларьки с этапа увидел Анисим Петрушу. Пролетел тот на горячей тройке коней, запряжённой в лёгкие санки, мимо колонны арестантов на тракте. Крутил своей цыганской головой, оглядывая серый строй, пока не уви-

дел Анисима, а когда увидел, заорал гортанно вороном и скрылся из глаз. Отметил тогда Анисим: тройка сильная, вывезет! Теплом по душе дума, словно птица крылом, прошлась: не бросил, вызволять приехал! Только как? Охраны много! С ходу, с набегу не получится. Да и настороже они: ведь только Ларька утёк... А на деле всё оказалось проще: конвоир ночью его сам вывел да и передал из рук в руки немтырю. Видно, немало заплатил охраннику. И вдруг мысль в его голову пришла новая только сейчас. А как же немой договорился? Мычит ведь только? И где золото взял? За выкуп немало надо! Очутившись на воле, сначала даже не подумал об этом. Где же золото взял немтырь? Странно... Анисим внимательно посмотрел в глаза Петруши. Только по глазам его разве можно было что понять – дурковатые...

– А может, ты мне всё врёшь, Петруша? Может, ты и говорить умеешь, да мне боишься открыться? Золото где взял на откуп?

Петруша вновь явственно показал, где он взял золото, проведя ножом у горла, показывая, как срывал кожаный кисет. Потом, сделав понимающие глаза, из-за пазухи достал тот самый кисет.

– Старателя, говоришь, зарезал...

Немой промычал, жестикулируя руками.

– Ради меня, говоришь?.. Так теперь я должен тебе в ноги кланяться? А Порфирий где? Только он знал, как меня выручать. Это он тебе рассказал? А ты его тоже, как того старателя?

Немтырь поник головой в сапоги Анисима. Потом выскочил в одной рубаше на улицу, через минуту явился с заступом и лопатой и начал мычать и показывать, как долбил и искал Порфирий золото.

Анисим почти сразу понял, что случилось здесь за время его отсутствия. Значит, не выручать решил Порфирий после получения его письма из арестантской – решил ещё более разбогатеть, зная, что не вернётся больше Анисим. Поведал всё Петруше, чтобы тот место указал ему хозяйское, а оно вот как вышло... А ведь не так глуп Петруша, как кажется, и оттого страх заполз ему под рубашу.

– Только ты не думай – не буду я тебе кланяться за это. Сдаётся мне, что и меня ты когда-нибудь вот так, как того старателя и Порфирия... А может, я не прав, Петруша? И ты чист и безгрешен, аки агнец Божий?.. Да нет, я-то уж знаю... А гость мой страх тебе несёт... Это ведь не я чахоточный! Оправится, и коня кулаком забить сможет – оттого страх в тебе...

Петруша вновь поднял непонимающие глаза на хозяина, как бы спрашивая: «Что же тогда делать с гостем?». Потом достал нож из-за голенища и опять показал, проведя остриём по горлу.

– Опять ты за своё! Неужто крови тебе мало? – перекрестился. – Не смей, пока я жив, трогать! И потом не смей! – И опять замахнулся на немтыря крестом. – Предам анафеме!

Петруша, испугавшись тяжёлого креста, втянув голову в плечи, задом стал отползать от Анисима, скуля по-собачьи.

– Знаю тебя! – помолчал. – Сонного задавишь, только момент углядишь! Как барсуков намедни...

От одного воспоминания о барсуках у Анисима в горле встал тошнотворный комок. Сел к столу, но на глаза попалась глиняная миска с остывшим барсучьим мясом, на котором толстый слой жира уже покрылся крупинками.

– Да убери ты его, наконец! Видеть больше не могу!

Петруша, несмотря на свою могучую фигуру, без шума, чёрной тенью, метнулся к столу, ловко, словно официант в питейной, ухватил миску и скрылся за печью.

Знал Анисим, что жир тот целебный, против его хвори, а пересилить себя не мог. Первый день ещё ел, только на второй уже день желудок стал дёргаться в спазмах, выворачиваясь наизнанку. А барсуков Петруша добыл сразу по приезду сюда. Ночь раскапывал на кедровой гриве у реки барсучью нору, мыча и причмокивая губами, словно уже ел труднодоступную дичину.

Не говорил ему Анисим про болезнь, всю дорогу скрыть старался. При приступах кашля отворачивал голову, кутаясь в волчью доху. Только углядел немтырь, что неладно с хозяином, и, как только приехали, взял заступ да лопату и скрылся в кедровом подросте. Под утро пришёл. Руки в засохшей крови, сразу зверей стал на дворе свежевать. Потом, срезав жир с одного, примостился, было, в доме жир тот топить, пока не выгнал его Анисим вместе с большим чугуном на улицу, надышавшись приторно-жирным, сладковатым запахом. И обиженно бубня себе под нос, дотапливал жир Петруша уже на костре. Вскоре забыл обиду, сидя на корточках, мешал в чугунке деревянной ложкой варево, вылавливал всплывшие выжарки и аппетитно чавкал.

– Право медведь, Господи помилуй... – перекрестился, не отводя от него взгляда. – Что жрать, что убивать – всё ему едино. – Задумался, погрузнев. – А был совсем другой – плясать любил и петь...

Знал он его давно. В приход его, правда, Петруша не ходил, и лба не перекрещивал. Только видел его по праздникам, как он в драках участвовал, а бывало – и в честных поединках. Да и гулять у него всегда, видно, деньги были, да и обновы на каждый праздник новые. Только девки деревенские от него шарахались, как черти от ладана – боялись, как бы он подарками их не совратил. А потом исчез, словно в воду канул, и никто не видел его. Здесь его Анисим нашёл после встречи со Смолокуром, только уже немтырём. Да и было, от чего речь потерять...

Мысли у Анисима были не о благодарности немтырю за то, что старается и болезнь хочет его отвести. Твёрдо знал: Петруша видит свою выгоду! А так, что бы он старался? Боится, ухорез! Вдруг помрёт хозяин внезапно и не покажет золото?

Мысль о золоте не подогрела душу старому попу, как ранее, – наоборот, даже остудила. Холодок ледяной протянул будто в груди, и заныла душа обмороженная. Иногда Анисим ловил себя на мысли, что вот здесь он видит и чувствует себя прежним, как в далёком детстве. И если бы он родился и жил здесь всегда, то и жизнь у него сложилась бы иная. Не такая, как выпала на его долю. Почернел разом лицом, только чахоточный румянец стал ярче, захрустел длинными, не крестьянскими пальцами. А потом обхватил, что есть силы сдавил седую голову, завыл тоненько с причитаниями, словно деревенская баба над покойником.

– Прост-и-и-и... Господ-и-и-и грехи тяжки-и-и-и...

Перед глазами плавали тёмные круги, и в голове шумело. Но сквозь этот шум пульсирующей крови в висках пробивался голос, незабываемый столько лет, постоянно в нём живущий, словно вечное напоминание.

– Батюшка, исповедуй! Отпусти грехи варнаку, душегубу... Всё золото отдам! Сам место покажу!

Лица он тогда отчетливо не видел. Полумрак был в сельском храме, да и накрыта голова была для исповедания. Помнит только: богатая борода была у варнака, и нос перебитый, словно растоптанный, да голос хриплый, словно железный. Долго тогда душегуб исповедовался, словно перед Богом стоял, а не перед ним, будто чувствовал кончину свою, – всё выложил. Жить больше не мог со смертным грехом, и крест ему золотой в три фунта на кандалной цепи под ноги бросил... Как бы не в себе был варнак... Причастил его тогда батюшка...

От страшного воспоминания закашлялся Анисим, перестал выть, схватившись рукою за грудь, и сплюнул на чистый пол сгусток крови. И, глядя слезившимися от напряжения и воя глазами на свою кровь, он увидел ту, чужую, исповедующегося лихоимца. Она тогда забрызгала пол в храме, рясу и его хромовые сапоги. И так же, как сейчас, рука сжимала крест, только не золотой, а медный, окровавленный... Золотой – тот, что варнак жертвовал ему, он долго не надевал, боялся... Впервые надел, когда заимку искать поехал.

Нашёл он тогда в чужой кошеве, богато обитой тяжёлым бархатом, мешок кожаный. Еле занёс в святой храм. Подивился на обрётённое богатство да хозяина вместо золота в кошеву утащил. За деревню коней вывел да полоснул по ним бичом, а остальное, видно, волки доделали, так как нашли кошеву только через неделю, да обглоданные кости при ней. Вот те кости и схоронили на церковном кладбище...

Сам Анисим пролежал тогда пару дней в горячке, матушке наказал на церквушку замок повесить, даже дяку ключей не разрешил давать. Мало ли... А вдруг что приметит да шептать начнёт, кому ни попадя. А сам слёг, и в бреду каялся да всё прощения просил. Матушка уже и ехать в уезд собралась: там жил монах при церкви Вознесения, тот мог бесов изгонять. Только прослышал про то Анисим и строго наказал, чтобы из дома ни ногой. Со временем горячка и страх прошли, молился денно и ночью дома перед образами, почти с колен не вставал. Не за свой смертный грех молился – за грехи убиенного. Рай ему вымаливал. И когда первую службу после своего душегубства в храме служил, видел убиенного. Отчётливо зрел бестелесного, словно он позёмка-круговерть, воспарил, вознёсся к сводам храма и с ударами благовеста стал таять, словно банный пар. И оборвался голос Анисима, в конце проповеди так и не смог пробасить: «Аллилуйя!». Видя, что варнак вознёсся, как ангел небесный, не стал дожидаться, когда поразит его кара Господня. Упал на колени, вознёс руки над собой, как бы прося о пощаде и милости уже не Всевышнего, а убиенного. Только безмолвствовал тающий варнак. Прихожане же, увидев, как искренне молится их батюшка, тоже пали на колени да стали отвешивать поклоны. А на клиросе певчие, не понимая, что происходит, закончили песнопение высоким голосом. Лоб тогда батюшки вновь покрыла испарина, будто и не проходила болезнь, но не от увиденного и необъяснимого, а от подозрительного взгляда дьякона.

Службы в церкви стали проходить только по большим праздникам. Анисим из дома почти не выходил, ссылаясь на болезнь, а вот с дьяконом стали происходить странности. Стал уезжать частенько в уезд по какой-то своей надобности. Потом неожиданно для всех, а также и для Анисима, купил кирпичный дом в уездном городе. Да ещё и кабак приобрёл у спившегося хозяина, и даже и не у самого кабатчика, а у жены его Ефросиньи, с которой, как начали судачить в волости, он ещё

до её венчания тешился. Только не стал дьякон, невесть откуда взявший деньги, тем заведением управлять, а посадил туда приказчика. Сам же, разодевшись во всё новое и мирское, явился как-то на заходе солнца к Анисиму.

Начал издалека, скромно и богобоязненно, потупив взор, теребя узловатыми пальцами новую шапку.

«Ишь ты! Вырядился как франт! Только руки куда крестьянские денешь? Да и рожу тоже – борода-то лопатой, да и не ухожена» – пронеслось, не задерживаясь, в голове у Анисима. Другое у него сейчас на уме было, словно гвоздь: «Откуда деньги у Порфишки? Да и немалые!.. И почему к нему именно пришёл? Уж не видел ли чего в ту ночь?».

Сначала всё про житие святых да великомучеников дьякон его расспрашивал, будто не знал о них ничего. О болезни его спрашивал, «Многая лета» чуть не запел. А сам всё крестом себя осеняет, заметил Анисим, что порой и без надобности. Может, покаяться явился? Нет, не за тем пришёл! Разве стал бы издалека начинать перед покаянием...

Велел матушке наливки принести да стерляди мороженой. Знал, что неспроста у него дьяк. Тужится, тужится, словно баба на сносях, а родить без времени не может. Помочь, видно, надо. После второго графинчика стал язычок у Порфиши развязываться, но, опять же, всё не прямо, а закоулками.

– В долю не войдёшь ли ко мне, батюшка?

– В долю, говоришь?.. Целовальником мне как-то не с руки в питейной твоей стоять – сан на мне... Да ты закусывай, да говори, как есть! Я тебе не твоя уездная краля, чтобы меня обхаживать.

– Слух, знать, прошёл обо мне... На паях с тобой шерстобитку хочу прикупить да пимокатную...

– Слышал, разбогател ты, Порфиша! А я-то с чего? Приход, сам знаешь, маленький. Даже малую деньгу не увидишь: кто мукой, кто маслом...

И остановился на полуслове, словно холодом январским по душе протянуло: «Знает или догадывается? Неспроста...».

Но дьякон, уже пьяно ухмыляясь в лицо Анисиму, произнёс:

– Да ты на бедность-то не жалуйся, батюшка! Ту кошеву, что подле церкви стояла, я сутки искал. Там и разбогател. Кисет песка был полнёхонек...

– А ты либо знал, что волки кошеву с седоком нагонят?

– Волки, говоришь?.. Волки череп кистенём не проламывают!.. Тут лихой человек...

– Окстись, Порфирий! Не суди и не судим будешь!

Но тут же взял себя в руки. И нравоучительно мягко:

– Если бы лихой человек лишил жизни путника, разве разбогател бы ты, Порфиша?

– Когда кошеву я нашёл, волки ещё коня доедали... Варнак тот целёхонький лежал... На груди тот кисет я нашёл...

Дьякона уже развезло, и он чуть не лез своей кудлатой бородой в лицо Анисиму, при этом свистяще шепча:

– Ты его, батюшка, прибрал!.. Коней от церкви в поводу ты вёл!.. Видел!.. Знать, тоже какой-никакой кисетишко мимо тебя не проплыл!..

Дьякон стал, икая, махать указательным пальцем и попу, и образам в переднем углу.

– Все вы одна шайка! Всё вам! И приход, и поклоны! Вы и рай только для себя приготовили, а нам только грехи и оставили...

Анисим сгрёб Порфишку за грудки, придавил к стене:

– Богохульствуешь! К исправнику захотел? Посидишь в холодной – опомнишься!

– Так с исправником тоже делиться придётся, батюшка, – прохрипел придавленный дякон. – Не уведёшь! Оба на каторгу пойдём...

Каторга... Болезненно засосало под ложечкой, сжала рука горло пьяного. Раздвоилось, стало серым лицо дякона, и поплыло куда-то вниз, словно подтопленный воск. Единственное, что напоминало в безликой растекающейся массе лицо, – белозубый оскал. Отпустил ставшую скользкой шею дяка, поймался за заболевшую в одночасье грудь. Произнёс сбившимся дыханьем, но не обращая ни к сползшему на пол дяку, ни к образам, занимающим половину переднего угла:

– Бог простит... Душегуб он был, Порфиша, а моими стараниями вознёсся: углядел его после смерти в храме... Даже ликом светел стал, освободился... А смертным, как тебе, например, неведомо, кому горше: мне ли, ему ли... И ты, Порфиша, молись, а не суди! Судить мы все горазды!.. А ты за душу его помолись! В молитве за ближнего вся сила! А за себя... Сколько ни проси!.. Сколь поклоны ни бей – не поможет! Потому как не искренни мы: всё чего-то для себя просим. А просить надо за других! Тогда Господь помогает... Может, и за нас кто когда помолится...

Дьяк снова влез на лавку и уже со страхом смотрел на Анисима. Помятый как дык болел, в горле першило, словно не наливку, а горячий песок пил. Осторожно сглатывая слюну, чтобы промочить больное горло, потянулся к гранённому высокому лафитнику, наполовину расплесканному после недолгой борьбы.

– А ты пей! Ешь-закусывай! – вдруг повеселел поп и, обернувшись к двери, соединяющей поповские покои с гостиной, позвал ласково: – Матушка, принеси нам ещё графинчик! Гость у нас заночует!

От такого решения подниматься, было, стал Порфирий, но крепкая рука попа через стол властно легла на темя дяка и толкнула на место. Сразу после ссоры почувствовал себя неуютно в большом поповском доме. Зря, видно, начал с кондачка... Непрост батюшка! Мягко всегда стелил, а спать рёбра болят... Хотя ещё полчаса назад было по-другому. Он почти чувствовал себя хозяином. Хмель, как тёплый воздух в открытую дверь, стал испаряться, заменяясь холодным воздухом страха. «А и убьёт! С него станется! – промелькнуло в голове. – Проломил же башку варнаку, прямо в церкви. Не убоялся!».

Анисим, увидев перемену в дьячке, криво улыбнулся в бороду.

– А ты не торопись, Порфиша! Куда поедешь, на ночь глядя? Да и волки в округе. Хотя и коней ты купил хороших, а вдруг не вынесут? Да и сам говоришь: лихие люди с кистенями бродят... И разговор твой не закончен про долю... А доля одна теперь у нас с тобой! Сам пожелал. Если бы не язык твой, жили бы каждый по себе, а теперь... Правду в народе говорят: молчанье – золото.

Порфирий замер, втянув голову в плечи. Мозг соображал лихорадочно, и почему-то ни одна мысль до конца не додумывалась, обрывалась, как гнилой шпагат. Точно так же было в тот вечер, когда увидел кошеву у церкви. Знать хозяина кошевы по прозвищу Смолокур не знал, но слухи о нём ходили разные. Будто бы самый богатый жиган в Мариинском уезде, весельчак и пьяница. Но вместе с тем

и жестокостью волчьей прослыл. За старателями-одиночками охотился, и редко, по тем слухам, кто уходил от него живым. Только совсем будто бы недавно дружок его, таких же, как и он сам, протропили да, дождавшись ночи, сожгли живьём. Кто тот грех на душу взял, не знал Порфирий, но поговаривали, будто бы сам Смолокур и спалил.

Вот когда увидел кошеву у церкви – ещё были страхи и сомнения. А когда понял, что один Смолокур приехал (видно, и впрямь люди правду говорили: один он остался), мысли перестали путаться и обрываться, а напротив, выстроились... Поначалу отгонял их от себя. Как можно человека со свету свести!.. Только внутренний голос одержал верх! Если всё, как задумал, получится, он богатство-то не прокутит, как некоторые!..

Ушёл домой огородами, чтобы никто и не видел его на улице. Зарядил берданку картечью, залёг в сугроб за заплотом, перед поскотиной. Знал: поедет! Где он жил и ночевал, никто не знал. Словно матёрый волк, гнездо своё Смолокур в тайне хоронил, как и баб, и детей своих. Когда же услышал скрип саней, приготовился. Руки перестали дрожать, но увидел, что что-то не так. Сам батюшка коней в поводу ведёт! И почему-то воровато оглядывается! Прячась в тени заплота от неясного лунного света, видел, как поп достал бич из кошевы и утянул им горячих породистых коней. Взметнулись кони да пропали, поднимая за собой снежную пыль.

Воротился домой дьякон, встал на лыжи и ушел в ночь, пока след не замело.

– Пьяный, видать, Смолокур! А раз так, то далеко не уедет: притомятся кони, а без хозяйской руки и встанут где-нибудь у стогов или гумна.

Но семь потов пролил и лишь к полудню нашёл. Кони только по им известной луговине свернули с верховой дороги и шли, видно, туда, где их ждали. Но, испугавшись чёрных скользящих теней, нагонявших кошеву по белому снегу, сорвалась в галоп и, споткнувшись, запуталась пристяжная в постромках, да и кореннику ноги подрезала. Там волчья стая и разделалась с ними.

Увидел Порфирий заметённую кошеву, вернее, прясло, засверкавшее на солнце медными начищенными узорами по тёмному бархату. Сердце забухало в радости и страхе.

– Здесь, поди, сам?.. Дело знают матёрые...

Присел, всматриваясь, только, кроме полудюжины серых, учуявших его и поднявшихся из снега, отяжелевших после тёплой конины волков, никого не увидел. И вновь затряслись руки, как вчера у церкви. Не от страха перед серыми, а от страха, что вдруг ушёл Смолокур, и мечту его унёс с собой... Свернул с горем пополам самокрутку, рассыпая мелкорубленный табак себе на штаны:

– Не должён! – сначала шепотом, потом заорал во весь голос, будто выгонял страх несбыточности. – Помогай мне, Господи!

Пальнул из берданки по стае.

– Пропустите-ка, мясоеды, православного!

После выстрела лениво отбежала сытая стая и легла, недовольно ворча, в ста метрах от загубленных, недоеденных коней. Взглянув на Смолокура с раскрытым теменем, понял дьяк, отчего Анисим под уздцы коней вёл. Волки с живыми сразу расправляются, а варнак до встречи с ними уже окоченел, потому и не тронут был.

«Ай да батюшка! – подумал злорадно, но с восхищением и страхом. – Не волчий ли ты пастырь?».

Но когда нашёл кисет на груди убиенного, опять невдомёк стало. «Почему не взял? Золото же! Не нашёл? Не верится... Тогда ради чего на смертоубийство пошёл?».

Мысль, что взял, и куда больше, чем он, пришла позже. Увидел, что не в себе стал батюшка. Правда, и раньше замечал за ним некие странности. Так тогда думал: набожности большой батюшка, раз уж с иконами в церкви разговаривает. А тут гляди: на смертоубийство пошёл! Значит, всё от человека зависит. Какой бы сан или чин у человека ни был, а только мысли жить богаче других и их посещают. Правда, берут они, как всегда, больше, чем простой человек. Вот он, простой дьякон, ему и кисет по чину... А сколько же батюшке досталось?

Пьяными глазами вновь уставился на отца Анисима:

– Много ли тебе перепало, коль на такое пошёл?

– Тебе бы сейчас не о золоте думать, а как живым остаться... Но грех сей на душу не возьму – живи! Не хочу больше крови, но и в долю к тебе не пойду. Только помни: ты сам выбрал свой путь, открыл тайну, не принадлежавшую тебе, и за это платить тебе иногда придётся. Не деньгами – делом. А каким?.. Придёт время – сам укажу. А теперь спать ложись! Матушка тебе постелила.

Порфирий, не веря, что вроде всё сходит с рук, пусть без доли, которую решил по глупости да жадности получить, осторожничал:

– Кони меня ждут! Домой поеду...

– Кони уже в конюшне распряжены. Отдыхай!.. Не бойся – убивать не стану, сказал же. Нужен мне будешь...

Глава 3

Хлопнула калитка. Егор оторвался от чтения и бросил взгляд в окно. Шла с работы жена, нагруженная двумя сумками. И сразу же услышал её ворчание. Ворчала на курей на тротуаре, ворчала на собаку, стянувшую с забора половик и сгрызшую его наполовину, отчего по всему двору валялись цветные лоскутки. Поставила сумки у сених, отобрала у собаки, что осталось от старого половика, и, горестно вздохнув, вошла в дом.

– А ты что, всё читаешь? – без радости и с каким-то отрешением задала вопрос Егору. Сама же, не слушая ответа, прошла на кухню. Оттуда послышался звон кастрюль и шипение вспыхнувшей газовой горелки.

Егор прошёл на кухню и уселся на табурет у русской печи. Закурил, молча пуская дым в чело.

– А что молчишь?

– А тебе, видно, полаяться хочется, – не глядя на жену, вновь в полные лёгкие затянулся Егор. – Вы, бабы, как от одной матери. Был сегодня у Кобылина – та же песня. Скукота!

– У Семёна? А чего тогда не пьяный? – удивилась. – Дома, поди, нет?

– Семёна-то? А где ему быть! Даже когда дома, он дальше сортира не ходит, – ухмыльнулся, – и то, наверное, терпит.

– Зато дома всегда! Не носится, как кот драный, по деревне да по лесу...

– Я вот тоже сейчас дома, а ты злая. Вот и пойми вас! Сеньку ругают, что лежит, меня – что не лежит. А мне кажется, что вам, бабам, без ругани скучно! Харизма ваша такая, вот и цепляетесь: лежит, бегает, пьёт! Будто поговорить вам не о чем.

– Сам-то понял, что сказал?

Егор засмеялся и совсем по-детски, дурачась:

– Не-а! Сегодня только услышал по телевизору, – и захохотал во весь голос. – Я-то, Настя, думал сначала, что харизма от слова «харя»! Да ладно Юрка заходил, объяснил. Только я всё равно так и не понял. Сама спроси.

Настя оторвалась от дел и внимательно посмотрела на Егора.

– Весёлый ты какой-то прилетел ноне... Не нашёл ли часом кого?

– Нашёл... Только теперь делать не знаю что с этим, – стал в одночасье серьёзным, на лбу пролегла глубокая складка.

Настя замерла, перестав протирать посуду, взглянула уже на другого Егора, задумчивого, видно решающего внутреннюю и далеко не простую проблему. Села, ослабев на ногах, и тут же взвилась, завизжав:

– Ах ты, кобель!!!

Гончар изумлённо посмотрел и вновь схватился за живот, надрываясь от хохота:

– У голодной куме одно на уме! – и тут же получил мокрым полотенцем по голове, выставил руки, хохоча и обороняясь. – Ну ты, мать, даёшь! Я же не о том! Когда это я тебе признавался?

И уже опять серьёзно:

– Я ведь не одни амбарные книги нашёл... Хочешь, машину купим, а хочешь – ещё чего... Золото!

Насте стало ещё тошнее.

– Ох, господи! Зачем оно нам? Золото ничейным не бывает. Хозяин найдётся – убьют!.. – замаялась. – А много ли, Егор?

– Не знаю, не вешал. Ну, с кило, наверное... А насчёт хозяина? – задумался на секунду. – Был, конечно, только умер, видно, давно, а может, поперерезали глотки друг дружке. Я тут книги сейчас читаю... Поп был хозяином, он и писал о своей жизни да о золоте. Только он там не один жил, ещё люди были... Но попов уж лет семьдесят нету... Значит, и хозяина нет. Только вот странно: неужели никто с тех времён там не был? И от людей всего километров семьдесят?.. Да и крест, можно сказать, на виду был.

– Какой ещё крест?

– Золотой, Настя!.. Тяжёлый!..

– А чужой крест – тяжкая ноша, так говорят...

Села напротив Егора, отгоняя мокрой ладошкой табачный дым.

– Непокойно мне, Егор, да и сон плохой видела перед твоим прилётом... Всё к одному.

– Раскаркалась...

Поднялся, туша окурок сигареты в банке из-под шпрот. Потоптался на месте, уставившись в окно:

– Сон не сон, а что делать-то будем, Настя? Золото ведь не так просто в деньги перевести. Спросят, где взял, таскать начнут...

– Так ты и скажи, что нашёл! Клады ведь находят...

– Я нашёл! А... Мне всего двадцать пять процентов полагается, а остальное кому? Почему обязан делиться с кем-то? Моё оно! Торопиться не будем, само всё сложится...

– Твои бы слова да Богу в уши, Егор. Только непокойно мне теперь... А что, Егор, в книгах-то пишут? Читаешь – не оторвать тебя.

И чтобы не нервировать лишний раз жену, промышчал неопределённо:

– А ерунду всякую! Одним словом, мемуары...

Настя поняла, что врёт он ей. Не стал бы он сидеть над ними! Только ведь знала, что не даст прочесть. Закрывал он эти книги в сейф свой ружейный, а ключи с собой всегда. Да и не полезла бы она в сейф: раз не даёт – значит, надо ему так. Только вот почувствовала она, что другой он прилетел, задумчивый. Может, оттого, что богатым вдруг стал? Нет! К деньгам он как-то прохладно относился, не гонялся за ними. Есть – хорошо, нет – тоже ему хорошо. Это она сама его пилила, всё в пример соседа-татарина приводила, оттого и ругань иногда в доме была. Когда разозлится, жить её к татарину отправлял. Тот, мол, много зарабатывает, а не заработает – так украдёт, потому что спать не будет. «Вот если тебе больше денег надо, то и иди к нему, если примет». Улыбнулась украдкой, вспомнила.

Татарин тот ещё до Егора клинья подбивал, раза два с ним и на танцах была. Только поняла: не её эта судьба, потому как и разговоры у него были только о деньгах. Сколько скалымил и что на эти деньги купит. При деньгах был, а подарков не дарил, ни ей, ни другим. Скучно и даже жалко татарина стало: ущербный какой-то внутри, а с лица да фигуры видный... И больше не пошла она с ним, хотя приходил и звал, и на танцы, и замуж.

А тут и Егор из армии вернулся. Белозубый! Бесшабашный! Какая копейка заведётся – толпа вокруг него, никого не спроваживал от себя. То у клуба, то у магазина пьют, смеются. Только вот лес и речку и тогда не забывал. Днём гуляет чуть не до утра на танцах, а светать начнёт – глядишь, с ружьём уже в лес побежал. Вот там они и познакомились. До этого как бы и не замечал он её, а может, и не время было.

Выпугал он её тогда в лесу, в малиннике. По-медвежьему заревел! Она и побежать не успела, только что и смогла – от страха присела, как он расхохотался, чем и выдал себя. А потом он помог ей ведро добрать, да до самого дома то ведро и нёс. И по недоразумению предложила ружьё его понести, видя, что тяжело ему. Рюкзак с рыбой да мокрыми сетями, а тут ещё её малина. А он повернулся да серьёзно ей так:

– Ружьё да жену не дам никому...

И замолчал. Но от слов его такой крепостью повеяло и силой, что забилося у Насти внутри что-то так сладостно и трепетно! И после этого так молча и дошли они до дома. Не могла она глаз поднять на него! Не то что стыдно или ещё что-то, а как-то внутри её, где сердце, незнакомо. И трепещет всё, и будто боль какая-то вошла, но такая сладостная... Знала, слышала про любовь, и сама думала, что любила, когда училась в техникуме, а вот такого никогда не было...

А на Новый год постучался вечером в стекло оконное. Собака захлёбывается, задыхается на цепи. Выглянула, а стоит у окна медведь, только не рычит, а смеётся Егоровым смехом. Откинул потом страшную личину и попросил впустить. Свадаться, мол, пришёл. А медведя сегодня, говорит, из берлоги только что поднял, а шкуру ей в подарок принёс, так как после медвежьего крика в малиннике в душу она ему запала.

Вот с тех пор, как впустила, так уже и не выпустила. А про любовь больше и не говорил, и сейчас не говорит никогда! Спросила как-то раз его – ухмыльнулся только. Что, мол, зря языком трепать, от слов без дела проку нет. Про это пусть люди песни поют.

А теперь видит: что-то не так с ним А в голову закралась мысль: «Может, подержал в руках настоящее богатство – возьмёт и изменится? Больше будет стараться в дом принести, а не ради души по лесу бродить». Вот возьми хоть Соловья. На озёрах всю осень живёт, ондатру давит и хорошо получает! Сына со снохой, можно сказать, содержит. А Егор не хуже... Добычливый! Но то ли не хочет, то ли... Бог его знает!.. Рыбы принесёт – не продаст, а по соседям раздаст. И уже зло подумала: «Когда загуляет, бывает, оттого все ему и подают». Может, сейчас не будет простофилей? Но что-то тревожное кольнуло в груди: и как татарин что-бы был, не хочется. Но отогнала тревожные мысли.

– А что, Соловей уже на промысел собирается?

– С чего взяла? Ещё закрытия сезона не было, погода ещё стоит! Кто его отпустит? Да и рано ещё, мех плохой.

– Ну, знать, готовится. Чай в магазине набирал, курево.

– Интересно. Что это он? А ничего не говорил?

– Да поздоровался только...

Егор улыбнулся в усы, знал Соловья давно и изучил все его выходки. Знал: может уйти, несмотря что ещё рано. Будет там полмесяца сидеть на одних карасях, но только, чтобы быть первым и на нетронутых озёрах капканы расставить! Поди, уже и у Батяйкина отпросился. Иногда его так называемая хитрость граничила с глупостью. Но только для себя Соловей знал, что обходить соперников надо сразу на старте.

Вспомнилось Егору, как заблудились немного, выходя на табор с пожара. Все решили идти в одну сторону, Соловей же был со всеми не согласен и пошёл по своему пути. Невозмутимый Кобылин даже присвистнул. Виданное ли дело – отбиваться в тайге от всей группы. Но Соловей, взяв свой топор, нырнул в ельник. Тогда Егор уже знал, что не пойдёт он по своему направлению, а отсидится немного и пойдёт следом метрах в ста в стороне. Натура такая, куда её денешь. Шепнул тихонько Кобылину: не тревожься, мол, следом за нами пойдёт. Так оно и вышло. Только Соловей увидел табор первый и почти бегом туда прибежал, испугав повара, потому что ломился, словно сохатый по бурелому. А уж на таборе свысока на всех смотрел, что пришёл быстрее остальных...

И сейчас что-то замыслил. Когда на свой участок поедет, зайдёт по ручью к нему, если ручей тот не пересохнет, – всегда так делал. Погуляет пару деньков с Соловьём, да в свою избушку. И опять вспомнилась хитрость, а может, и не хитрость товарища. Он и избушку себе так и не срубил за несколько лет. Под выворотнем огромной кедры углубил яму, накрыл сверху жердями и засыпал землёй. Встроил что-то наподобие печи из железного листа, так там и жил. Находиться стоя там было нельзя, только лёжа или сидя, но зато хвалился Соловей, что тепло там зимой, как на печке русской. А главное, что никто не найдёт его укромное зимовьё. Врал, конечно, насчёт тепла. Егор ночь как-то у него там пробыл. Глаза дым выел, у костра остаток ночи чай гонял. Ну, а действительно, найти – не найдёшь! Замаскировал! Ни пустой банки, ни газетного листика вокруг – ничего. От реки даже тропинку не набил: всякий раз разными путями заходил, воду для варева таскал из болота. Задал вопрос ему тогда: зачем в тайге ведёт себя так скрытно? Всё отмалчивался, но разоткровенничался вечером на озере за ухой под водочку, чем и ошарашил Егора:

– А я когда в тайге один, зверем себя чувствую, только шерсть не растёт... И всех скрадывать начинаю: и людей, и зверей.

У Егора мурашки пробежали между лопаток.

– А людей-то чего?

– А не знаю! Может, выяснить хочу, зачем по тайге ходят. Поначалу это просто любопытством сам себе объяснял, а теперь уж и не знаю. Тянет! Только редко сюда люди последнее время забредают. И показалось мне, они меня не видят, не чувствуют, и им это несёт страх.

– А непрост ты, Соловей! А я-то, как и другие, чудачком тебя считал. За мной тоже следил?

– Да было раз! Только ты лось здоровый, за тобой тихо не угнаться – бросил.

– А не боишься картечью когда-нибудь получить? В тайге шуток не любят.

– Так и стрелял один городской, промазал, – спокойно и обыденно объяснил.

– Ну ты больной!..

– Да это только в лесу, Егор, и когда один. А в деревне не тянет.

– А ты врачам на медкомиссии расскажи! Может, и посоветуют чего? Глядишь, авиабаза путёвкой бесплатной снабдит в санаторий.

– База вместе с врачами волчьим билетом сразу снабдит, только заикнись... И куда я потом? Два года до пенсии.

С доводами Соловья Егор был согласен. Только попади на заметку врачам – начнут всего простукивать и просматривать, и от работы отстранят, чтобы себя обезопасить. Это когда на инвалидность мужики оформляются, тогда наоборот ищут: не лукавишь ли ты. Вот тогда ты должен доказать, что больной. А на слово не поверят, в больнице належишься по самое не хочу...

– А ты когда в лес намыливаешься?

Настя оторвала Егора от раздумий. Тот непонимающе посмотрел на жену:

– О чём это ты?

– Это ты о чём? Я о тебе! Когда в лес, говорю, поедешь?

– Надоел, что ли? – Егор засмеялся. – Не знаю, Настя... Время покажет... Да ещё и сезон не закрыт.

Заворчала, загремела посудой:

– А для тебя сезон всегда до октября! Вон Соловей... – остановилась на полуслове. Снова вспомнила, как к татарину посылал. А теперь ещё и к Соловью пошлёт, осердится. А Егор не обиделся, посмотрел как бы мимо неё в окно:

– А я не хочу, как Соловей! У каждого своя тропка...

Гончар, не ночевавший дома по случаю закрытия пожароопасного сезона и уставший от бесполезной и какой-то монотонной пьянки, ушёл на озеро за аэропортом и сидел на старом берёзовом пне. Смотрел, как плавают шустрый выводок чирков, который совсем оборзел от того, что мало кто из охотников принимает эту малую птицу всерьёз и не стреляет. В последние годы даже на краю села, в вырытой котловине, они стали по весне селиться парами и плавали среди домашних уток и гусей. Люди их не трогали, но трогали коты, и Егор раза два гонял своего с утёнком в зубах. Но численность от этого диких уток не уменьшалась, а казалось, наоборот – увеличивалась. Уменьшались домашние. Ожиревшие к осени и ставшие ленивыми, домашние не успевали укрыться в спасительной воде от собак и от ночных искателей приключений, а то и просто бомжей. Гончар взял кусок засохшей глины и запустил в облаглевших орущих уток, от крика которых появились рвотные позывы. Домой идти не спешил: не

хотелось появляться пьяным и выслушивать нудное ворчание Насти. Он лёг на берегу в невысокую жёсткую траву и смотрел на рядом стоявшую берёзу. Сквозь потемневшую зелень листьев проглядывались уже жёлтые лоскутья, а сама берёза ему казалась постаревшей и уставшей. И ему вдруг показалось, что она чем-то напоминает его мать, когда она приходила с работы со спущенным на плечи платком, зелёным с жёлтыми мелкими листьями. Так же вот тихо шумела, словно листьями, на Егора с братом за то, что целый день пробегали, проносились, а дома как стояла картошка неполотая, так и стоит. Вздыхала тяжело, брала тяпку и шла в огород.

Выпившего Егора почему-то всегда брала жалость, иногда даже до слёз. Жалко было всех: отца, мать, брата, но не было никогда жалости к себе. Себя он всегда считал крепким и сильным, и счастливым. Брата жалел, что тот опять в тюрьме, а когда тот выходил на недолгое время на свободу, то Егор, глядя на измученную мать, снова жалел, что брат из тюрьмы вышел. Правда, на свободе тот долго не задерживался: пьяный не понимал, что делает и зачем. И если в руки попадёт ружьё, то выстрелить тот всегда найдёт в кого. И лишь отсидев не один десяток лет, пройдя от усиленного режима до особого, остепенился. Вот только поздно было. В живых никого не осталось: ни матери, ни отца. В первый день свободы набрал водки и пошёл горевать на могилках покойных родителей. Там и уснул к вечеру. А утром пришёл подавленный и притихший, не похожий на себя. Даже голос стал, будто не его. На вопрос Егора, не заболел ли часом, ответил:

– Не заболел... Умер! Только поздно умер, Егор, надо было при живых родителях. Видел я их сегодня и слышал... Жизнь прошла – не заметил. И кто вокруг меня – тоже не заметил... А теперь вот нет меня.

– Как это – нет?

– А так... Я – уже это и не я. У меня нет прошлого... У меня сегодня впервые жалость к родителям открылась. Дачки их с воли ждал, да ещё и ругал, что чай не тот, сигареты не те, сало не так посоленное.

– Но, может, ты только родился, брат? И теперь жить надо!

– А как?..

Тяжело пошёл к двери. Не потребовал по привычке выпить или денег. Молча сгорбился, словно больной, под тяжким, одному ему ведомым грузом. А вечером снова пришёл, принёс ключи от отцовского дома, попросил сетей и палатку да хлеба с солью на первое время. Сказал, что не может больше жить в отчем доме, да и среди людей тоже.

Поселился на старой курье. Выкопал сначала землянку, а потом построил небольшой домик и баню. Разработал несколько соток земли, посадил табак и картошку, а к зиме привёз себе хозяйку – вдову. И больше в деревне его никто не видел. Продажу рыбы и покупку необходимых продуктов – всё возложил на вдову. А при виде людей, приезжающих на курью рыбачить, закрывал тяжёлые ворота на засов и спускал собаку.

Но вот берёза, навевшая Егору щемящие воспоминания, стала куда-то уплывать, удаляться, и, наконец, пришёл сон только что вспоминавшимся детством, знойным покосом и огромными конскими паутами. Егор грёб хрустящее сено на заливных лугах, подпрыгивал на конных граблях по образовавшимся от весеннего половодья промоинам, держа одной рукой горячие вожжи, а другой –

ухватившись за железное покачивающееся сиденье. И, словно желая поскорее стать взрослым, кричал на коня матерно начинающим грубеть голосом, подражая отцу. А опалённую жгучим солнцем спину жгли ненасытные кровососы, и мелкая сенная труха, поднимаемая граблями, впивалась тысячью игл в мокрую от пота плоть, принося, как ни странно, в тридцатиградусную жару озноб.

Собрался в тайгу Егор за неделю. Всё подготовил, и даже спирта полтарашку под слани спрятал. А уехать не может! Будто держит кто сзади за штаны! Ходил по двору и как бы сам себя уговаривал, а может, успокаивал:

– Ну, не получилось сегодня – уеду завтра. Никто ведь не гонит...

Только сам понимал, что всё это неспроста. Раньше... Только в отпуск – так вечером уже мотор на реке опробует, до утра не спит, патроны да провиант ружейный по мешочкам целлофановым раскладывает. А самому радостно! А тут кручина взяла: уезжать из дома не хочется, словно предчувствие какое. Да ещё это золото мысли разъедает, словно ржа какая. Вроде и забудет о нём, в работу какую-никакую впряжется – сети чинит, капканы новые регулирует (на охоте-то некогда: там время дорого), а потом будто гвоздь опять в голове. Как поменять? Как деньги выручить? Да и обману боится. Нешуточно: килограмм! А цены настоящей на золото так и не узнал, хотя уже и месяц пролетел... А как узнаешь? Страшно. Да и у кого в деревне спросишь? Кто знает? Золото – не орехи или клюква. В городе спросить? Так городские, они шустрые, лохов любят, а особенно из деревни, потому как от них последствий можно не ждать.

Вот как такие мысли в голову придут, так и не замечает тогда уже времени Гончар. Очнётся, а глядишь, уже и Настя с работы идёт. А потом понял вдруг. Озарило! Это ведь золото его не отпускает... Держит. Недаром в книгах амбарных читал да диву давался и не верил! Бывает ли так? Оказывается, бывает, и силу имеет золото. Невидимую, неосязаемую, а крепче троса стального. А потом мысль пришла верная: да просто надо забрать крест с собой! Много места не займёт, не на себе нести. Да и поспокойнее ему будет! А то так до Нового года в тайге не просидишь – потянет домой. Да и за Настю спокойней. Баба, она и есть баба: возьмёт да подружкам растреплется, а через пару дней вся деревня будет знать. Вот потом и начнутся проблемы. И даже улыбнулся своей пришедшей идее:

– И овцы целы, и волки сыты... – крикнул в огород, куда ушла жена: – Иди сюда!

– Что стряслось?

– Ужин прощальный готовь! Уезжаю я.

– Сподобился! Люди уже давно на промысле, а у тебя всё через пень колоду...

– Люди на блюде! – глянул на жену с охапкой морковной ботвы. «Сварливой становится», – подумал, но вслух произнёс:

– Ты бы не лезла не в свои дела! Сам знаю, когда ехать...

Утром, когда солнце ещё только вставало, лодка Егора, разрезая дымящуюся воду, ушла вверх по реке. На крутояре стояла Настя в недоумении: «А куда это он поехал? Каждый год вроде вниз по реке уезжал... А может, я что-то попутала...». И, вздохнув и на прощанье махнув ему или поднимающемуся солнцу рукой, направилась к дому. Во дворе увидела вновь прошлогоднюю картину: со-

бака, обидевшаяся на хозяина, что не взял её с собой, залезла головой в будку, выставив из лаза свой тощий зад со свалывшимся хвостом, тихо скулила.

– Не взял – и правильно сделал! – погладила вытянутую заднюю лапу и пожалела: – Дом тебе, старому, надо охранять! Куда тебе в лес-то?.. Намаешься....

Собака перестала скулить и подёрнула под себя лапу.

– Вся в хозяина, обидчивая...

Отпустить собаку Егор сказал только через сутки, иначе пойдёт берегом и опять, как в прошлом году, недели на две потеряется, а то и вообще пропадёт...

В доме опять было пусто, тихо. И в сердце Насти вновь вселилась тревога. И она включила телевизор, чтобы как-то разогнать тишину, пусть чужим голосом диктора новостей, но только чтобы комариным звоном не стояло в ушах безмолвие. В открытое окно потянул ветерок, донося запах свежей пихты. Снова мысль резанула: «Как после покойника». И тут же начала чертыхаться и сплёвывать через левое плечо:

– Дура, что думаю! Мужик на воде да в лесу, а я что попало собираю. Правильно Егор говорит: «Дура баба».

Но не могла больше находиться в пустом доме и пошла во двор. С ней это было всегда в первую неделю после отъезда Егора на охоту или на пожар. Места себе не находила. Потом, погрузившись в каждодневную работу, отвлекалась, а по вечерам, чтобы не было тоскливо, уходила к сыну и снохе. Или к себе их звала. Потом проходило время – привыкала. И ждала...

Грудь Гончара распирала ширь реки и прибрежные просторы. Так далеко вниз по реке он не ходил на лодке! Новые места темными кедровыми гривами манили. Хотелось причалить и побродить по высоким гривам, посмотреть, обжитые ли они охотниками. Но отбрасывал от себя искушение и плыл дальше, на ходу перецеплял бензопровод с порожнего бака на полный. К концу дня причалил к невысокому берегу, решив остаться здесь на ночлег, и уже у костра по лесоустроительной карте стал определяться на месте. Только как ни крутил карту, привязывая её к реке, ничего не получилось. Нужно было идти из поймы на материк и там искать кварталный столб, и только тогда с точностью можно определиться на местности.

Сначала было решил сходить и даже поднялся от костра, но ноги от моторной вибрации за целый день дрожали, да и усталость чувствовалась во всём теле. И махнул Егор на привязку к местности. Берег, к которому он спешил, он помнил, и найти его – обязательно найдёт и без карты, потому как мимо не проедешь: истинно благодатные места! Да и ночевал там, взглядом всё охватил: и лес, и плёс, и даже ручей из небольшой курьи. Поймал тогда себя на мысли, как его весной запереть да ельца по лету спустить, растолстевшего в тёплой воде. И даже тогда рассмеялся: ведь не попадёт больше сюда, а мысли, видишь, всё равно работают. Уже совсем стемнело, уже и подрёмывать стал, как по воде донесся далёкий стук топора по лесине.

– И здесь люди! Тоже, видно, заночевали... А они-то что в глухомани ищут?

Сел, лениво закуривая. Потом встревожился. По его подсчётам, место уже должно быть недалеко, четыре бака горючки сжёг. И обидно будет: столько сюда тащился, а приедет – там люди. Но пришла успокоительная мысль: рыбаки в бор не попрут, а охотников здесь, видно, нет, не заходят далеко. Это при Союзе

их вертушками закидывали и вывозили, а теперь дорого, хотя и пушнина стала недешевая. От воды тянуло сыростью, и Егор подвинулся ближе к огню. Снова курил и смотрел в огонь. Мысли были разные, но чем ближе подъезжал к месту, приковавшему его внимание, тем тревожнее становилось на душе. Уже на закате, перед самой ночёвкой, мысли вообще стали противоречивые. Даже вираж с ходу заложил на реке, смалодушничал... Вернуться обратно думал. Потом взял себя в руки: ведь почти доехал! Ну, побудет день-два или до шуги. Может, здесь соболя нетронутого как грязи. Потом вернётся... А куда он денется?! А вот дело к ночи, и опять томить стало, словно как бы не по воле своей туда едет, будто тянет кто.

– Ладно! Утро вечера мудренее! Поживём – увидим...

Глава 4

Первое, что увидел, очнувшись, Ларион, – это солнечный луч, который резал ему глаза. Пошевелился с трудом, чтобы уклонить голову от яркого света. Тело болело, а глаза жгло, и язык его тоже был словно вывален в речном песке. Хотелось пить, но встать ещё не мог: ноги предательски дрожали и не слушались. Лежал, молча припоминая все события, произошедшие за последние сутки. Но вскоре дверь избы отворилась, и с клубом морозного воздуха в комнату вошёл бывший его сосед по нарам Анисим. Прислонив короткий кавалерийский карабин к стене у окна, подошёл к Ларьке.

– На поправу, вижу, идёшь... А я уж Петрушу заставил домовину тебе выдолбить: мало ли чего. Неделю почитай мёртвым был.

– Зачем я тебе, поп? Да какой ты поп?!.. На тебе ряса и то чужая... Отпусти ты меня, мил-человек! Катерина меня ждёт!

– Катерина, говоришь? – задумался, ухмыляясь, Анисим. – Она-то может и ждёт, только не одна, а с урядником. А что ряса, говоришь, с чужого плеча... Так и у тебя армяк казённый. И, стало быть, чужой! Потому как в бегах ты, а он тебе даден провинность отбывать. И что теперь на себя ни надень – всё будет чужое. Ведь чужую шкуру только раз нужно примерить – прирастёт...

Прошёл по комнате в мягких валенках, тихонько покашливая.

– Храм будешь строить, Ларя! – вот для чего ты здесь.

– А мне храм ни к чему! А ты, стало быть, покаяться захотел?.. Грехи искупить хочешь, дядька?! К Богу подмаслиться?! Только вот примет ли Бог.... Молиться в новом храме будешь? Или монастырь устроишь? Думаешь, Бог за подношения прощает?

– А храм, Ларя, это не только, где молятся. Храм – это где умиротворение души приходит.

– Домовину они мне выдолбили... Не рано ли? Уйду я от вас! Не удержите! Каторга не удержала...

– Али забыл, кто помог тебе?

– Не забыл! Только и без твоей помощи ушёл бы!

– Вольному воля – иди! Только далеко ли уйдёшь? Зима-матушка на дворе... Чем же тебе здесь не житьё? Тебя сейчас поймают, бессрочную дадут. И клеймо на лоб! Палки выдержишь – здоровый, а клеймо на всю жизнь – не скроешь. Да и не молиться я хочу, не свои грехи замаливать... Епитимью такую на себя нало-

жил за грех свой, когда впервые здесь побывал. Не душе помочь хочу убиенного мной варнака – тот после смерти вознесся, сам видел – место здесь святое! А на святой земле и храм должен стоять.

– Для чего же храм, коли людей здесь нету?

– Когда люди прознают про храм, придать станут.

– Чем же она святая, дядька Анисим? Тайга как везде – речка да болота.

– Чем? Из этих мест Смолокур к Богу пришёл! Здесь пришло к нему осознание греха! И ко мне тоже...

– Нет, поп! Другое у тебя на уме! Люди сюда пойдут, если грехи на этой земле будут отпускать! Они этого хотят, и тогда валом повалят! А чтобы прийти сюда? Чтобы раскаться? Признать грех? Нет! Врёшь! Они обходить это место твоё святое будут за триста вёрст! У каждого на уме, что он прав! Украл ли, убил ли – всё одно будет винить другого, потому как каждый человек считает себя праведником. И если изба сгорит или нищета в руки посох попрошайки вложит, всегда у человека ответ есть на эти горести: мол, за грехи родителей страдаем или ещё за чьи-то... И никто не признается, что он ленивый да растяпа и опять грешит! Вину на ближнего своего сваливает. Вот и ты, дядька Анисим, в рай хочешь, потому как чуешь смертушку.

– Может, ты и прав, Ларя... Только храм возведу! С тобой ли, без тебя ли, а стоять ему здесь!

Анисим сел у окна, опёршись бородой о подоконник. На улице Петруша откидывал снег от амбара и бани. Подумал: «Вот этот тихий, ни в чём не перечит, а зарежет – слюны не слотит... А этот – репей репём, только за спиной такого держать не страшно... А вот Петрушу опасаясь: страх у него передо мной, а человек в страхе ненадёжен... Сам, конечно, тоже хорош: зайцем Лариона сделал, чтобы внимание псов отвлечь от своего сиятельства...».

План в голове Анисима созрел ещё на пересыльной тюрьме, когда впервые увидел Лариона. Здоровье тот ещё не растерял, молод да здоров – лесной человек! Оторвётся от погони! А на станции день-два после его побега отдых будет: все силы поначалу на беглеца кинут, и ему, Анисиму, легче будет уйти. И уйти прямо от почтовой станции, так как его уже там ждать будет верный человек – Порфирий – с одеждой да конями.

Всё получилось, как задумал, только вот не учёл, что дойдёт Ларион. Он ведь и место ему объяснил верно, потому как не думал, что дойдёт. А оно вон как получилось! Повернулся к начинающему вставать беглецу:

– Ты уж меня строго не суди, Ларя... Мне ведь тоже уйти надо было с каторги. У тебя вот Катерина, а у меня – вот это место святое...

– Заладил ты, дядька: место, место... Что мне тебя судить! Помог – на том спасибо! С железом не дошёл бы. Так что поклон тебе за это... Только теперь я сам разберусь, куда мне идти и что делать. А твоё золото мне ни к чему: беда от него! Хоть возьми моего тятю-покойничка, царствие ему небесное! Сначала старателем был, а потом...

– Что, умер?

– Нет, не знаю... Сгинул.

– Так, может, жив он ещё, Ларя? А ты уже как о покойнике говоришь! Нельзя так! Грех это!..

– Был бы жив – воротился! А так... Нет его.

– Меня, Ларион, лет двадцать как к покойникам, наверное, причислили, а жив я. И теперь я уже и сам не знаю: я это или не я? Тот-то должен был на каторге дух испустить. Больной был. Чахоточный. С моей фамилией. А я с его фамилией и болезнь, видно, его перенял, Господь-то он видит...

– Не пойму я, дядька...

– А мало посидел! Не успел понять всего, как в бега ударился. Свадьбу мы сыграли с одним монахом. Поменялись судьбами. Он на каторге остался жить за меня, а я за него в монастырь направился.

– Можно ли так, дядька?

– Можно! Окрутить любого можно, коли при деньгах... Вот сменку и сделали. Ему оставалось на каторге немного: за бродяжничество в острог попал. Только вот в карты свою судьбу проиграл. Не мне – я не играю, «иванам» жизнь свою спустил. Я её купил уже у них. Им-то она зачем? А для меня – свобода!

– Ну, если так и что?.. Надзиратели ничего не заметили?

– А надзиратели тоже многие из нашего брата вышли. На поселении где работу найдёшь? Вот и идут обратно... Кто надзирателем, кто палачом. Только закон каторжный блюдут. А иначе и нельзя, Ларя, – смерть. А смерть, она одна, хоть на кобыле под розгами да палками, или на повале где, или в шахте – и она чины не видит, и на власть ей и деньги наплевать.

– Страшный ты человек, дядька, а с виду вроде немощный, соплёй перешибёшь...

– Чем же страшен тогда?

– Как змея изворотливый.

– Вот потому и живу!

Анисим всматривался в заснеженную тайгу. Всплыл тот день в памяти! Как воочию увидел, да уже и не день был – сумерки, когда привели в бараки этапные. Только лицо бывшего монаха сразу Анисиму в глаза бросилось: сходство поразило с собой. Даже мысль закралась: «Не тятя ли убиенный блудил?». Потом отбросил: тятя-то дальше России не выезжал. А тут – Сибирь-матушка. Подослал «храпов» исподтишка к монаху выяснить, кто он да за что... А когда первую весть принесли, что бродяжкой монах был и что доля его острожная кончается – ждёт обратного этапа в Самарскую губернию – возликовал! Заплатил двум «иванам» и майданщику. И началась свадьба! Майданщик не успевал ссуживать азартному, больному монаху деньги, подпевалы с двух сторон нашептывали: «Отыграешься! Фарт пойдёт, и карты лягут!». К полуночи свадьба закончилась... Майданщик долги вскорости запросил. Вот тут-то «иваны» и купили долг монаха у майданщика да перепродали Анисиму.

Ну, с полуночи до восхода сменка была. Рассказали всё о себе друг другу монах-бродяга и Анисим – бессрочный каторжник. А утром пошёл монах по этапу на восток, гремя кандалами, а Анисим – на запад за свободой. Только не дошёл до конечного этапа.

Увидел за Обью-рекой первый монастырь, и будто что-то случилось внутри Анисима. Задрожал всем телом и упал, будто в падучей. Бился на каменистой земле с пеной на почерневших вдруг губах, словно жеребец запаленный. Сбились каторжане кругом, подбежали надзиратели. Видят, что не притворствует, оттащили с дороги, а потом братьям из монастыря отдали – там у них лазарет был для убогих.

Что было с ним, Анисим сначала не понимал, думал: припадок. Духом пал. Лежал в пропахшем подвале приюта монастырского и ничего не хотел. Бежать уже никуда не надо: паспорт игумену власти отдали – вольный! Но и жить на белом свете тоже не хотелось. Будто пожар по душе прошёл. Ничего не волновало, не беспокоило. В пище тоже нужды не было. Только воду пил растрескавшимися губами, ощущая солоноватый вкус то ли воды, то ли своей крови. Словно умер, лежал, не вставал с нар, глядел, не моргая, в каменный сводчатый потолок и ни о чем не думал. И так бы, наверное, и отошёл, если бы не старец Никодим. Недельно приносил он пищу, садился напротив, смотрел из-под седых бровей на Анисима и ничего не говорил.

Однажды как-то под вечер пришёл, зажёл свечи, поставил в изголовье и тихо, как бы про себя, стал читать молитву. Редкие слова доносились до каторжника, и слух Анисима ловил их. Только не понимал он тех слов: какие-то обрывки, и ни с чем не связанные. Но к середине ночи почувствовал, что встать хочет и воздуха свежего вдохнуть, но только на маленьких окнах – толстые кованые решётки

– Распахни окно, батюшка... – попросил тихо. – Напоследок хочется запах почувствовать...

– Не гневи Бога, отрок! Рано задумался о смерти! Смерть была бы для тебя избавлением и искуплением грехов твоих, и отпущением души твоей в царствие небесное. Смерть... Её тоже вымолить надо, коли грешен! Жизнь тебе теперь в наказание, чтобы раскаялся. За что железо верижное носил?

– Так бродяга я... Сначала при монастыре жил, потом после пострига бес меня вселился: стены каменные стали душу мне разъедать... Ушёл.

Старец внимательно посмотрел на Анисима.

– Инок, говоришь, был? Расстригли?

– Не знаю... На каторгу попал. Паспорта не было, потерял.

– А правду ли ты мне глаголешь?

– Святую правду... – потупился на мгновение. – Домой сейчас шёл, только вот беда приключилась, отчего – не знаю. Как обитель увидел – пал.

– Видать, Господне наказание – молиться перестал, заповеди забыл. А душа у всех тянется к Богу. А в тебе сомнения были, коли монастырь оставил без благословения. Плоть твоя против души восстала! На погибель тебя вела!

– В страхе я... Жизнь теперь во мне, как одежда с чужого плеча. То жмёт, то просторна, всем ветрам доступна. Холодно...

– Страшно?... А отчего, не знаешь? – Посмотрел пронзительно на почерневшее лицо Анисима. – Смута в тебе, оттого и страшно. Оставайся в обители, в тишине да покое инакомыслие уйдёт. На праведный путь, помолившись, встанешь. Потом можно и домой возвратиться. А покуда нет примирения внутри, не дойти тебе до дома – пропадёшь или железо опять плоть твою рвать будет. Много вашего брата по тракту лежит, без исповеди и покаяния. И в тебе сейчас жар. То душа твоя противится жизни безбожной, грехи её твои жгут, а о душе надо думать... Душа не прах! Она вечна!

Подошёл и в изголовье зажёл потухшую свечу на обшарпанном тёмном столе.

– Сословия какого будешь?

– Из дворян...

– Из дворян, говоришь?.. Ну, так те больше по офицерской части... А ты почему монастырь выбрал? Вроде не болезный, и выправку даже каторга не сломала. А тот ли ты, за кого себя выдаёшь?

Пытливо посмотрел прямо в глаза Анисиму, потом вздохнул:

– Мне солжёшь – Господу не солжёшь! Так надо и жить по совести... А болезнь твоя отступит. Младость своё возьмёт... Молиться нужно: Бог, он все-милостив – простит.

Не сразу выздоровление пришло, только беседы со старцем на пользу пошли. Отрешение от всего отпустило, жить захотелось, но, поправившись, не ушёл Анисим, послушал старого монаха, остался в обители. Сначала думал – ненадолго: сил наберется и уйдёт, а затянуло, покой пришёл... И чувство вины, которое терзало его многие годы за свой смертный грех, стало тускнеть, пока не исчезло вовсе. И поверил, что, молясь, искупил грехи.

Грамоту имел, читал много, Евангелие научился толковать, и не только по Писанию, а своими доступными словами. И пяти лет не прошло, как рукоположили его священником в сельский храм. Женился, правда, детей не было: матушка слаба здоровьем была, и год за годом прижился Анисим в Сибири. Благо до начальства далеко, а до Бога высоко.

Только ощущение, что в нём два человека, не покидало его. Тот настоящий, что был до поповской рясы, время от времени бунтовал в нём. Сначала он закрывался в своём большом доме и уходил в пьянство. Пил до тряски в руках и во всём теле и мучился по утрам с похмелья. Не помогали ни сибирские снадобья, ни мороженая брусника с клюквой, ни знаменитый огуречный рассол. И ещё вдобавок ко всему словно выныривал тот, из ниоткуда, оставшийся с его фамилией там, на каторге. Корил его, и так, словно вбивал ему гвозди на распятии. Не проклинал! Нет! Просил только жалостливо, чтобы не поганил имя его, не осквернял то, что ему никогда не принадлежало, и тем самым душу Анисиму выматывал.

В деревне стали искоса поглядывать на батюшку, иногда со смешками. Да и понятно и самому было Анисиму. Ладно бы пил на святые праздники: в праздники сам Бог велел! А то у людей страда, а батюшка за церковным амбаром в траве, в тенёчке, наливочку пьёт. Да ещё и песни иногда каторжанские поёт. Тут ещё взял к себе в работники конюха и кучера в одном лице, разбитного весельчака. Да и не только весельчака, ухореза первостатейного! Тот его стал возить по таким местам, куда новоявленный поп всегда тайно даже от себя стремился. От святых проповедей и молитв опускался в самые злые места, где всё было пронизано грехом и богохульством. Но это не тяготило его – наоборот! Он стал ощущать контраст между падшими и вознесшимися.

И жизнь для него стала другой! Он почувствовал интерес от этого контраста и сильное желание жить. И он, Анисим, сначала стоял только на грани, на черте между двумя противоречиями, наблюдая и изучая, но потом стал срываться с этой грани и каждый раз в противоположную сторону. То молился неистово, то пускался в распутный загул с дешёвыми девками, в домах под шестом с соломой наверху. И снова после каждого срыва приходил к нему, как кошмар, тот, с кем поменялся своей судьбой и именем, – монах-бродяга. Снова корил, и за светлое, и за тёмное, и за прошлое, и настоящее... А иногда монах тихо беззвучно пла-

кал. Анисим даже в сонном кошмаре видел, как по русой бороде сбегали слёзы. И опять ничего не говорил, не причитал, о чём плакал. Только Анисим знал! О душе и имени своём проданном плакал... Не дьяволу, так Анисиму, и от этого монаху, видно, было нисколько не легче.

Наконец, отвлѣкшись от своих мыслей, поп повернулся снова к Лариону, хотел что-то сказать, но приступ надсадного кашля усадил его на лавку. Побагровел, вытер тѣмной тряпицей губы.

– До весны бы мне, Ларя, дотянуть... Показать тебе святое место... Ведь если ранее умру, не сведѣт тебя туда Петруша.

– Отчего же, дядька? Он же у тебя в услужении! Боится тебя!

– Боится, пока я жив. Умру, он тебя сонного задавит! Без сна-то долго ли продержишься? Неделю... А там смерть. Мы против него ангелы...

– Не пугаешь! Сам задавлю кого хочешь! И не сонного! – Ларион привстал со своей лежанки. – Ты-то, дядька, для чего меня им пугаешь? Чтобы я по твоим законам жил? Не будет этого!

– Все мы живѣм по чѣм-то законам – волчьим ли, христианским... И ты будешь так же жить!.. Это пока молод, думаешь по-иному, а потом и не заметишь, как над собой пастуха увидишь. Я не хочу, чтобы ты жил по моим законам, потому как я сам не знаю, по чѣм законам я живу. Наказал я себя сам!

– А на каторгу за что пошѣл?

– В первый или во второй раз?

– А расскажи всё! Или попы, как ты, только перед Господом исповедуются?

– Исповедь, Ларя, она ведь для всех перед Богом, а кто исповедь твою слушает, священник или простой человек, которому доверился, – значения уже не имеет. Ты с души своей исповедью тяжесть снимаешь, очищение ей делаешь. А исповедь, она до Бога дойдѣт! Лишь бы искренне раскаялся.

– Не пойму я тебя, дядька Анисим... То ты, как святой, проповеди читаешь, то на дорогу с кистенѣм выходишь? В оборотня, видно, превращаешься! Вот от чего ты ещё страх несѣшь!

– А мало кто не оборотень, Ларя! И ты им станешь! Придѣт срок...

Ларион вдруг вспомнил свой лихорадочный бред, когда пришѣл на эту зимку. Вспомнил, как его тело обрело звериную крепость, и как рвал он человеческую плоть. И жѣлтая луна, радость души при этом от одиночества. И чѣтко вспомнилось, как он задрал голову к призрачному небу и заревел.

– Проклятое тогда здесь место, дядька Анисим, а не святое...

– Святое и проклятое, Ларя! Здесь богатство и бедность, здесь воля и каторга, злоба и доброта – и всё это, Ларя, здесь в каждом человеке, всё вместе. Здесь это открывается, только открывается больше то, чего в человеке больше. Ты называешь человека оборотнем... А мы все такие... А если кто-то себя не считал таким, попадая сюда, начинает понимать, что это так. И ты узнаешь это. Придѣт время.

Замешкался на мгновение, словно собирался с мыслями.

– А первую каторгу я получил давно, ещё в молодости...

Воспылал любовью Анисим к молодой мачехе. Матушка его покойная рано ушла, смутно он её помнил. А батюшка мачеху привѣл, когда ему уже восемнадцать было... Да и ей столько же. Вот и спелись, пока батюшка на службе...

Только разве утаишь шило в мешке? Батюшка, когда прознал, как холопа велел на конюшне вожжами драть. И драл его конюх, а потом вожжи батюшка отобрал. Конюх как-то жалел его, недоумка, кожа целой была. А уж когда батюшка начал драть, кожа слетела со спины, что береста с берёзы. И остался он там, на конюшне, уйти не смог. А глубокой ночью прокралась мачеха, он её тоже не пожалел... Посмотрел он тогда ей в глаза, сердце кровью облилось – пустыми глаза стали, словно мёртвыми. Куда напыщенное благородство батюшкино делось? До простого мужика опустился, руки распустил.

Спросил:

– Зачем пришла? Ведь зверь в батюшке живёт – с отрочества знаю. Забьёт...

– А я, – говорит, – проститься с тобой пришла.

Поцеловала разбитыми губами меня в лоб и ушла.

Кричал ей вдогонку:

– Не уезжай! Оклемаюсь – вместе убежим из-под батюшки...

Анисим снова закашлялся, вытирал тряпкой только уже не окровавленные губы, а глаза, снова прошёл к окну и замер, замолчал, вглядываясь в заснеженный кедровый лес.

– Уехала, дядька Анисим? – спросил взволнованно Ларион, почувствовав вдруг в старом каторжнике неописуемую боль за прошлое.

– Повесилась, Ларя... Ну, а когда оклемался я, спалил поместье и батюшку тоже... Не простил. Да и сейчас не простил... Хотя сколько уже лет прошло, казалось бы, забыть должен или казнить себя перестать, а нет...

– Знамо дело, дядька Анисим, родного отца спалить, – как тут казнить себя не будешь? Да и не забудешь до смерти, видно! Грех такой на душу взял...

– Да не за него себя казню! За неё! Не уберёг...

– Вона как! А я-то думал – повинился ты...

Анисим посмотрел на Ларьку исподлобья, потом махнул рукой:

– А ты повинился, когда урядника прибрал? Хоть и в честном бою, но убил... И не ради живота своего – ради удали да развлечения! Гордыня в тебе! Поди, и лба за содеянное не перекрестил?

– Перекрестился топором, когда в лес ушёл.

– Ярый ты, я вижу... Что же на нарах молчал?

– Слушал, что бывалые говорят. Чего поперёк батьки...

– Значит, выживешь, и Петруша тебе будет не помеха. А ты, я вижу, не такой, как о тебе думал.

– Да и ты, батюшка, не тот, за кого выдавал себя. Святошей вот здесь стал, а на тебе, по твоим же словам, и клейма ставить негде.

Ларион откинулся на подушку и замолчал. Уходить сейчас резона не было – прав Анисим. Зимой не выживешь в лесу, в деревню тоже не зайдёшь... Лета ждать надо! Тогда и каждый куст дом! А там и Катерину навестит, а может, и схоронятся вместе. Время идёт смутное, народ на царя поднимается. Слышал на пересыльной тюрьме от людей, что особняком держались. Сначала и про Анисима тоже подумал, что он один из них: больно уж похож! А нет, на деле попом оказался. И ухмыльнулся. Да какой он поп, если шкуру меняет, как заяц, два раза в год! Что же за место здесь такое?.. Почему здесь человек по-другому себя узнаёт? Может, и правду говорит Анисим?..

Глава 5

Сруб часовни рубить начали по весне, как только сошёл снег, недалеко от заимки, в сосновой небольшой гриве. К весне и здоровье Анисима пошло на поправку: видимо, не зря старался Петруша, готовил котлеты и пельмени из барсучатины, подмешивая разные травы и корни, чтобы отбить запах дичины и вкус жира. Ларькина же болезнь была недолгой. Через пару недель после побега с каторги он уже не мог усидеть в зимовье и, расколов и просушив ёлку, выстрогал себе лыжи и начал изучать окрестности, ставя петли на зайцев и силки из конского волоса на рябков и куропадок. За зиму обошёл всю округу и однажды даже набрёл на одинокий санный след, который тянулся по бору, удаляясь в противоположную сторону от реки. Заметил место: знать, проезжал человек в деревню, откуда – неведомо, но след был прямой. Знать, человек ехал, знал – куда. Прошёл по следу. Вроде и места знакомые, только вспомнить не мог, как и хождения по реке ни к чему не привели. Знал, что река родная, только не бывал в этих местах. Пройти дальше не давал зимний короткий день, нужно было засветло вернуться на заимку.

Никто из обитателей заимки его не удерживал от выходов в тайгу, никто и не следил. Возможность была уйти, и желание было, только понимал, что схватят, выйди он на тракт или в деревню. Но места изучал – где можно спрятаться, а где и уйти от погони. Только знал, что рано ещё – зима.

А тут весна! И решил помочь он Анисиму. Срубят они сруб для часовни с Петрушей – отдаст как бы долг человеку, помогавшему ему уйти с каторги. С немтырём он вроде разобрался. Сошлись как-то с ним на улице, не уступили друг другу узкую тропинку. Около полудня бились на кулаках! Вроде бы равно, только потом нож немой вытащил и пожалел после этого. Поймал его Ларька за руку да и сломал её. После этого немтырь с неделю ещё зверем на него смотрел, но потом вроде смирился, злоба в глазах погасла. А может, притаился. Трудно в его глазах было что прочитать. А если притаился, значит, ещё хуже: исподтишка может жизни лишить. Ранее хоть в глазах его злоба огнём палила да суть внутреннюю выказывала, а теперь вроде как задремавший зверь, не весть когда проснётся... На вопрос: «А что бы на месте не рубить храм (как называл Анисим часовню)?» – получил отказ: нельзя там летом рубить, лесной человек не велит. Работа там на ум не идёт, а только мысли и блаженство. Здесь рубить будем. За лето работу сделаем, а зимой на конях перевезём да поставим, а весной освятим...

Хозяйское слово – закон. Рубили, благо лес рядом, даже подвозить не пришлось. Сам Анисим не рубил, но постоянно присутствовал. Ходил, смотрел, чтобы брёвна были добротные, даже ладонью гладил, а потом отходил в сторону и ладонь ту нюхал, чуть не пробовал на вкус. Удивлялся Ларион. Чудно! Какой можно запах унюхать от свежесваленной ошкуренной сосны? Спросил как-то, теряясь в догадках:

– Сдаётся мне, батюшка, что-то ищешь ты? Только в толк не пойму, что?

– А сам, Ларя, не знаю! А может, и совсем не знать лучше... Когда какая-то тайна открывается, стремление теряешь, жизнь скучной становится, тягостной.

Уже травы всюю поднялись, сруб высотный стал, маковку осталось-то всего лишь сподобить. Но ранним утром, проснувшись, не нашёл Ларион ни Ани-

сима, ни Петруши – как сгнули! Два дня не было. И рубить Ларька перестал, подумал: может, опять куда ушли. И двух коней не было верхами – видно, уехали. А ему для чего часовня? Молиться не собирался, да и здесь оставаться на долгое время тоже.

Стал, было, сам собираться, когда под вечер оставшийся конь в большом травянистом загоне в начале поймы голос подал, учуял приближение людей. С карабином притаился, ожидая: а вдруг жандармы? Стрелять бы не стал, так как убивцем себя не считал. Пусть жандармы или ещё кто. С карабином в тайге выживешь. Но на тропе показались знакомые фигуры Петруши и Анисима. Вышел из засады, только лица их не узнал: Петрушино перекошенное, словно от нестерпимой боли, а лицо Анисима, наоборот, просветлённое и какое-то блаженное. И не слышали они Ларьку! Каждый был как бы не в себе, только делали всё, как и надо было делать. Спешились у крыльца, Петруша коней взял под уздцы и в загон повёл, молча, не улюлюкая, как всегда, а Анисим в дом прошёл и на колени встал перед образами. И молился, только без слов, молча. Глаза молились, глаза просили о чём-то Господа, менялись они – видел это Ларион – взгляд менялся. Спрашивал Анисима, только молчал тот, не слышал, и отступился Ларька от него. Захочет – сам потом расскажет.

И ещё заметил Ларион: дух от них шёл странный, от одежды. Словно в каком подземелье были, тяжёлый, не выветрившийся. Так иногда пахли медведи весной, после берлоги. Пришлось с одним таким встретиться. Под себя он тогда Лариона подмял, ладно, нож под рукой тогда был, успел живот он ему вспороть да, как учили когда-то ясашные, между ног задних выскользнуть. Запаха он тогда натерпелся берложьего... И когда потом свеживал его, запах тот как бы в голове тогда засел. Бросил даже и свеживать. Костлявую тушу воронью на прокорм отдал, сам к мясу не притронулся. Как ни пытался руки отмыть – не помогало, ото всюду запах тот мерещился. Спустя время думал: «Может, это от страха было?». А страх он испытал! Когда рогатину медведь, словно тростинку, лапой сломал да обнял его, как дружка закадычного. А может, и они на медведя ходили? Хотя навряд ли... У медведя сейчас корма больше, чем у человека в лесу. Нет, не на охоте они были. Тогда где?

Утром снова все словно играли в молчанку. Делали все свои дела, но никто не обмолвился словом. Петруша пришёл с топором к часовне, рубил молча, с перекошенным лицом. До ухода с Анисимом при рубке сруба он даже пытался спорить с Ларькой, не соглашаясь с ним в каком-то плотницком деле. То с силой толкал бревно и фыркал, как медведь на муравьиной куче, давая тем самым понять Ларьке, что он делает не так, или не по его, или неправильно. А рубить срубы он умел! А тут Ларион намеренно заporол угол, вырубил на палец больше, а он как будто и не заметил. К обеду пришёл Анисим и только посмотрел на немтыря, как тот воткнул топор и пошёл следом за ним. Ларька тоже, воткнув топор, двинулся следом. На заимке был готов обед: приготовил сам Анисим. Дымились чашки с мясом и кашей. Не выдержал больше молчания Ларион, крикнул во весь свой бас:

– Да вы что, оглохли, православные?

И увидел, что даже никто не вздрогнул. Не услышали! Мерно стуча ложками, ели кашу и рвали зубами рёбра молодого лосёнка.

– А и в правду что-то с ними...

И показалось, что они привыкли к этому давно, что это им уже не в новинку и были довольные чем-то. Вот узнать бы – чем? Матюгнулся и метнулся снова к срубу. Лёг под кустом можжевельника, думу стал думать. Закончит маковку – вот и уйдёт домой. Непременно уйдёт! Будет жить где-нибудь поодаль в тайге да навещать Катерину иногда. Вспомнил о Катерине – и боль пришла: ведь сватать собирались! А теперь как? Жених – каторжник, да к тому же беглый. Ждёт ли? В аккурат год уже прошёл, может, кто и сосватал. И рука сжала топор.

– Зарублю обоих!

– Кого это ты рубить собрался, Ларя?

Вздрыгнул Ларион. В думах своих не слышал, как Анисим подошёл.

– А у тебя речь вернулась? Ухожу я от вас! Не могу больше! Вы и среди своих как звери... Страшные вы! То молчали сутки, как будто и нет меня, а теперь вот разговариваешь... Не по пути мне с вами! Опять, наверно, на большую дорогу ходили? Золота вам мало – ещё кого-то жизни лишили?

Анисим сел рядом, бросил карабин на траву. Лицо батюшки вновь приняло нормальное выражение. Глаза грустноватые, но вместе с тем живые.

– Нет, Ларя, на святую землю ходили...

– Поклоны, наверное, били, что оглохли оба? Докричаться не мог...

– Когда святые разговаривают, после священной земли люди глухи. А ты либо напугался?

– Мне что пугаться? Я сам по себе! Уйду вот Катерину проведывать...

– Может, и уйдёшь, только не сейчас... Лесной человек просил и тебя привести.

– Ой, дядька Анисим!.. Сдаётся мне, с чертовщиной ты связался, а не со святым местом. От вас же землёй пахло могильной! – Перекрестился. – В преисподней вы были... Да и сами той землёй вымазались, словно свиньи в жару.

– А я тебе уже говорил, Ларя: каждый здесь видит себя по-своему, по своему внутреннему подобию. Чего в человеке больше: зла или добродетели – тот то и видит. И разговаривают с ним, на какую сторону он больше склонился... Может, к кому-то святые приходят и ангелы, а к кому-то – бесы... Жизнь, она разная, Ларя, как и люди в ней. Осуждать разве можно?.. Можно, конечно, и на путь наставлять, как в Писании. Только я тут расхожусь с Писанием. Человек, он сам выбирает. – Помолчал. – А что, говоришь, землёй от нас пахло... Так это для тебя так чудится, потому как не был ты ещё на святой земле. Для побывавших там – благовонием...

Не стал перечить Ларион. Взял топор и в приготовленном бревне начал рубить паз, про себя думая: «Не всё в порядке у них с головой: и у того, и у этого! Чего с ними спорить? Лучше уж, если жандармы возьмут, так снова на каторгу, чем вот с ними». Но тут же в голову запад интерес. Не просто так они ходили! Может, были они сами у этого лесного человека? Может, этот человек не какой-нибудь лесной, а такой же лихоимец, как и они? Опоил чем-то за встречу – вот они и пришли на заимку не в себе да ничего о происшедшем не помнят. Вот им и блазнится дурь всякая. Вот и Петруша отошёл, идёт по тропинке к срубу, губами чмокает да улюлюкает. Может, и землёй от них пахло потому, что тот лесной человек, наверное, в норе живёт или берлоге. Тут сидеть будешь – не узнаешь. Надо в следующий раз их протропить. А может, самому найти это место? Много по лесу ходил, только вот святых мест не видел, да ещё таких, от которых ума

лишаются. И лесных людей не встречал. Беглых, кержаков или иноверцев северных приходилось. Вот только самому с ними идти не след... Опоят ещё. Только для чего им это надо? Ради рабочей силы, чтобы часовню поставить? Так ведь не отказался – сказал, что поможет. Непонятно...

Подошедший Петруша легко взлетел на сруб и стал зарубать матицу. Взглянув на немтыря, Ларион увидел, что и его лицо расправилось, снова приобрело немного глуповатый вид. От усердия тот лихо махал топором, не обращая внимания на отлетающую в лицо щепу.

Сруб к Ивану Купале был готов. С небольшой башенкой, только без креста. Крест стоял рядом, прислоненный к углу часовни. Анисим запретил ставить его здесь.

– Вот и дело спроворили ладное, богоугодное... – перекрестившись на храм, обойдя его вокруг, проговорил Анисим. – Осталось за малым: перевезти зимой да поставить. А уж утварь церковная у меня есть. Годами скапливал... Да и не я один: от Смолокура кое-что осталось. Видно, и ему мысль приходила такая же, как и мне. Только Бог-то не принял его подношения. Крови на нём было много... Дружков своих сжёг...

– А может, Смолокур не копил, а церкви грабил? Почему только старателей да артельщиков? В церквях ведь тоже много золота.

– Всё может... – посмотрел на Ларьку. – А ты собирайся в дорогу. Завтра поедем к купцу нашему. Запас на зиму везти надо. Все поедем... И не нам с тобой людей судить. Судить могут только там, – указал пальцем в небо, – и здесь, на святой земле...

– Да ты, батюшка, веры какой? Что-то не пойму я никак. На кержаков не похож, на иноверцев тоже. Суд Божий, он ведь один! Для всех!

– Здесь человек сам себя судит по Божьему суду! Здесь ему всё открывается, но и воздаётся за грехи его тоже здесь.

Выехали рано утром на лошадях верхом. Солнце начало только вставать, и в глубоких черных логах было прохладно. Впереди, качаясь в седле и что-то мурча наподобие песни, ехал Петруша. Дорогу он знал очень хорошо, так как коня направлял уверенно, без суеты, не напоровшись ни разу на заломы. Оглядывая тайгу, Ларион старался увидеть хоть какие-то признаки, что люди появлялись здесь – охотники или ещё кто. Но тайга была нетронутой: ни затёсов, ни натоптанных тропинок – одни звериные тропы. К концу дня вынырнули из тёмного кедрача в светло-жёлтый сосновый бор. И вот тут-то впервые Ларион углядел старое кострище.

«Были люди здесь – значит, не так и далеко до них», – подумал про себя, а вслух задал вопрос: – Деревня где-то рядом, батюшка?

– Рядом. Только там никто не живёт. Ушли отсюда люди...

– Почему?

– Не знаю... Сначала зверь пошёл прямо через деревню, потом вся божья тварь, что в лесах здешних водилась. Как от пожара бежали! Говорили: лисы вместе с зайцами в одной стае были, и никто никого не трогал. Последние ушли отсюда люди... – Помолчал. – Знаменье, говорили, здесь какое-то было. Небо огнём вспыхнуло и горело.

– А может, и впрямь тайга горела?

– А ты, Ларя, ехал – где видел старое пожарище? То-то и оно... Не было никакого пожара.

– А что же люди ушли? Не так-то просто с насиженного?

– Страх будто гнал их. А может, что промысла не стало, зверь ушёл... Не знаю. Но говорят: те, что последние отсюда ушли, те юродивыми стали, теперь будущее ходят предсказывают, по всем весям разносят. Ни кола, ни двора... – Перекрестился. – Господи, помоги им! Многих, наверное, и в живых уж нет.

– Давно ли было то знамение?

– В девятьсот восьмом, кажется... Зверь потом вернулся, только люди не пришли. Последний человек, как люди говорили, когда уходил, спалил деревню дотла. Нечисть будто в деревню вошла...

– А сам-то веришь ли в это, батюшка?

– Не знаю... Господь вряд ли бы допустил такое.

– Убивать же допускает...

– Ну, так все под Богом ходим – он решает: кому жить, а кому умереть.

– И убийство тоже?

– И убийство.

– А если так, то почему это людскими руками делает?

– Не богохульствуй!

– Себя обеляешь... Только вот сдаётся мне, что грех этот не обеляется...

Промолчал Анисим.

К концу второго дня въехали в небольшое село на берегу широкой реки, Петруша направил коня к большому крестовому дому, что был почти на самой окраине. Привязав коней, зашли в большой двор с амбарами и небольшими складами на толстых лиственничных сваях. Хозяин, приземистый мужик, одетый летним вечером в меховую безрукавку, велел завести коней на конный двор и проводил гостей в небольшой домик на краю двора, почти у самого леса. Там уже орудовал у самовара то ли приказчик, то ли работник. На столе появилась снедь и казённая водка. Сказав располагаться и отужинать, пригласил Анисима с собой. Ларион, отвыкший уже от простой деревенской еды, подтянул к себе чашку с молодой картошкой и малосольными огурцами. Выпив стакан водки, он посмотрел на рядом сидящего Петрушу. Тот пил, не закусывая, только изредка рыкал в рукав потрепанной рубахи. Пить много Ларион боялся. Шутка ли?! Впервые после побега вошёл в село да увидел людей! Петруша как бы понял, чего опасается Ларион, и ухмыльнулся в бороду. Потом взял его за плечо и потянул в другую комнату, и в нише у печи за занавеской показал ему другой выход, примыкавший к лесу.

Сели снова за стол. Выпили. Анисима всё не было.

– Куда он его увёл? – спросил Ларион у чавкающего немтыря, стараясь узнать хоть что-то по его жестам. Немтырь посмотрел на него хитро и не издал ни одного звука. Взял бутылку водки и наполнил до краёв стакан Лариона.

После выпитого изба поплыла куда-то вниз, то проваливаясь, как и все они, в преисподнюю, то взлетала ввысь, словно лодка на крутой волне. А Петруша сидел на лавке у печи и, растягивая гармонь, пел песню про ямщика. Последнее, что успел сказать, с трудом разлепляя глаза:

– Ты же немтырь, Петруша...

А под потолком билась песня немтыря, качая Лариона, как в колыбели:

*Ты, ямщик, не гони лошадей...
Мне некуда больше спешить...
Мне некого больше любить...
Ты, ямщик, не гони лошадей...*

Батюшки с купцом не было два дня. Отвыкший от людей, Ларька находился на подворье купца и не выходил за ворота. Слоняясь без дела, осматривая хозяйство, заводил разговоры с работником, стараясь узнать, куда тот уехал с батюшкой Анисимом. Разговорчивый работник рассказывал о селе, о городе, что в двадцати верстах, но только о купце да о батюшке не сболтнул ни слова. Кучер, мол, знает, куда уехал – его надо поспросить, а он человек маленький. Велел, мол, за вами ухаживать, да чтобы вы ни в чём нужды не знали.

Петруша день и ночь пил, не выходя из-за стола. Вспомнив о Петруше, Ларион даже усмехнулся: надо же спяну привидеться – немтырь запел. Правда, утром, увидев гармонь на печи, протянул её похмелившемуся немому со словами:

– А спой ещё про ямщика... – посмотрел выжидающе в глаза немтырю. – Вчера как ладно пел! До слезы.

Но в ответ услышал вновь только улюлюканье малого ребёнка да ничего не выражающий взгляд отрешенного ото всего человека.

– Привиделось...

Купец с батюшкой появились под вечер. Когда батюшка вошел в избу, Ларька вначале не узнал попа, одетого в темно-серую тройку с золотой цепью карманных часов на животе. И воздух избы наполнился тонким, почти забытым запахом женщины.

– А ты, батюшка, чувствую, разговелся...

– Да вам здесь тоже отказу ни в чём не было.

– Я о бабах, батюшка.

– Вот ты про что! А как узнал?

– Запах тела женского на тебе.

Посмотрел ему в глаза Анисим:

– Звериное, однако, в тебе чутьё, коли так тонко чуешь... Ну, так это для тебя хорошо... А я вот с новостями... Царя нашего батюшку скинули... Революция...

Опешил Ларион, да и Петруша уши топориком поставил и, как бы боясь спугнуть, тихо выдавил слова, словно выдохнул:

– Тогда, выходит, царская каторга не в счёт? – и привстал на лавке, ожидая ответа, но не мог ждать, пока ответит Анисим. – И мы теперь вольные?

– Да ты ведь уже давно вольный! Разве не заметил? Чай не в забое работал с кайлом! Рано не радуйся: революция, она в России, а здесь Сибирь-матушка. Пока докатится, не одни сапоги ещё сотрёшь. Только теперь, как я понимаю, искать тебя не будут, не до тебя им.

– Так может мне того... Домой можно? К Катерине...

– Не знаю пока... Как деревня твоя зовётся?

– Крутояров.

Анисим замешкался. Он уже слышал про это село, только вот не помнит, от кого и когда, но что-то с ним было связано.

– Кажется, Ларя, когда-то слышал про это село. То ли на каторге, то ли от ямщиков обозных, но на слуху оно было. Кузьма подскажет, что за село и как добраться. Много с обозами товара своего повозил, опять же пушнину скупал. Знает.

– А кто такой Кузьма?

– Купец, что нас привечает здесь.

Наутро завьючили лошадей необходимым продовольствием, присели перед дорогой.

– Не след тебе идти по дорогам до Крутоярова, – подал голос купец, обращаясь к Лариону. – Если уж есть охота в Крутояров попасть, спустись рекой на обласе, от заимки в аккурат приплывёшь. Хотя и на реке опасно. Но всё понадежней. Целым, может, останешься. На дорогах сейчас хуже, чем при царе... Да и в деревнях тоже. Как золото начали мыть в наших краях, не сеют ведь и не пашут. Кто-то моет, а кто-то доит. Все промыслом занимаются... Хотя уже и жилы золотые иссякли, да и пески не на раз перелопачены. А остановиться всё одно не могут. Скрадут тебя дорогой да и зарежут за пустую котомку. А ты, Анисим, знаешь, где меня искать, если что... Ну, а теперь, счастливый путь вам...

Всю обратную дорогу коней вели в поводу. Даже небольшие ручьи переходили вброд, жалели лошадей. И обратная дорога заняла на сутки больше времени. Окрылённый Ларька всю дорогу был в мечтах. То уже рубил облас, то представлял встречу с матерью и Катериной. Исподтишка Анисим наблюдал за ним, ухмыляясь. У купца перед дорогой он снова сменил дорожную франтоватую тройку на свою старую заношенную рясу, повесив вместо золотых часов снова на шею свой массивный золотой крест. Разговаривали мало, каждый был занят своим. Один только Петруша, кажется, ни о чём не думал, брел впереди, отводя ветки кустарников от своего лица. Анисим после своих бурных ночей с Кузьмой в распутном доме приводил свои мысли в порядок. Он опять побывал на той самой грани и скатился до самого дна, а теперь вновь на грани, и молитвой к Господу уже старается воспарить вверх, почувствовать, наконец, ту разницу, которую вот уже несколько лет старается найти и оценить, только не получается. Почему? Не даётся ему. Видно, Господь это решает. Оказываясь на самом дне греха, Анисим чувствует себя счастливым, как и тогда, когда в молитвах к Всевышнему он чувствует, что Бог где-то рядом, и опять чувствует счастье. Только не дано Его ему лицезреть. И приходит в голову мысль богохульная: «И в раю, и в аду одинаково хорошо – почему же люди боятся ада?...».

Сплюнул, перекрестившись, и, как бы с высоты помыслов о Боге, опустил ся снова на свою грань.

«Видно, грехи не пускают выше...».

И опять мысль богохульная: «А что есть грех? Вся ведь жизнь проходит в грехе...».

И вспомнился Смолокур после его убийства. Воспарил же к небу – сам видел! Не провалился в тартарары! Знать, не видел Бог в нем греха, а может, простил. И, может, и его, Анисима, простит. Вот построит он храм на святой земле... Не прощение себе вымолит, как говорит Ларион, а может, вознесётся так

высоко! И не со святыми, как всегда, там будет разговаривать, а с самим Богом! И от такой мысли снова как бы приподнялся Анисим над гранью своей.

На заимке свалил Ларион тополь-белолистку, разметил, отпилил колоду и, направив оселком тесло, приступил рубить. К часовне больше не возвращался, да и Анисим с Петрушей больше ходили вокруг часовни, чем делали. Последние работы будут зимой, когда возведут её на святой земле, а сейчас что? Так, где сучки подтешут, где проём дверей подровняют. Косяки делал Петруша из колотой кедры, и вечером, придя из поймы, Ларион увидел, что Петруша в плотницком деле любого за пояс заткнёт. А вот когда пришёл он к Ларьке, где тот уже наполовину выдолбил облас, подал ему тесло. Засмутился Петруша и руки отвёл, поведал, жестикулируя, что не мастак он в этих делах. Потом позвал за собой жёстами и повёл на одно из круглых озёр, и показал сгнивший наполовину облас.

– Знать, была у вас лодка... А кто же долбил?

Погрустнел Петруша, показал на горевший костёр Лариона и сунул в огонь руку:

– Уаррр бог...

– Бог долбил облас? – задал ему вспомогательный вопрос Ларион.

– Уаррр Бог...

И снова сунул в огонь руку так, что запахло палёной шерстью.

– Бог сжёт того, кто долбил облас?

В утверждение Немтырь закивал головой.

– Бог живёт там? – указал на небо Ларион.

Немтырь качал отрицательно головой, показывая рукой в сторону заимки.

– Бог...

– Интересные ты сказки рассказываешь, немтырь, мурашки по спине. И многих ли сжёт бог?

Немой показал пятерню и, отвернувшись, пошёл к заимке.

Ларион бросил долбить облас, сел, привалившись к нагретому борту спичной. Не хотел бы он ходить под таким богом... И молиться не хотел бы ему. Спросить нужно у Анисима, кто спалил людей, когда и где. Немой лукавить не будет: ему выгоды нет... А, впрочем, как знать... В последние месяцы между ним и немтырём страсти поутихли. Каждый жил, как ему вздумается. А может, совместная работа на часовне сгладила между ними углы. Но зверем уже Петруша на Лариона не смотрел. И что убьёт его немтырь, ждёт только случая, как говорил Анисим, – и это опасение не подтвердилось. А случай у немтыря был! Вот хотя бы недавно у купца... Пьяный, сонный – чем не жертва? И унёс бы в лес и закопал. Кто бы нашёл?... А нет, не тронул. Значит, не нужен он ему. А вот Анисима немтырь и вправду боится... Может, оттого, что золото у него? Боится, что не покажет, где хранит...

Странно как-то всё на заимке. Вроде теперь никто их не ищет, никому они не нужны, а нет, сидят здесь, как будто чего-то выжидают. Вроде у Анисима золото есть, как говорит, а что тогда здесь сидит? Только ли ради своего храма, который засел в его больной, кажется, голове. Что-то их здесь другое держит, а что – непонятно. Какой-то лесной человек приходит... Спрашивал, как выглядит, – объяснить толком не может. Сам, говорит, увидишь. Будто бестелесный он, как облако. Только ведь так не бывает... Может, дух какой? Говорил ведь дорогой

к купцу, что человек деревню сжёг, будто нечисть там поселилась. А может, и здесь тоже? Отчего пришли со своей святой земли, как бы «марафету» нанюхались? Видел он таких, когда в острог попал. Воры в камере особенно держались ото всех, всё у них было: и водка, и это... Ма-ра-фет... Нюхали этот белый порошок, и потом точно такие были, как Анисим с немтырём, глаза жили отдельно от лица. Один-то, правда, там на нарах и кровью изошёл. Так друзья сказали его – это от жадности. А может, оттого сидят, что место правда здесь благодатное. По всей тайге комар да мошкара, а здесь, будто место заколдованное, даже муравьёв нет. Хоть нагишом броди...

Глава 6

Поздним вечером в летнем выгоне взбунтовались кони. Вышибли жерди загона и ушли. Петруша долго преследовал их с уздой, да только напрасно. Кони шли галопом, не останавливаясь, не перешли на рысь или шаг. Вернувшись ни с чем, немтырь бросил узду на крыльцо, прошёл в дом.

Анисим сидел у раскрытого окна, не повернувшись на приход немого. Тот же стоял у порога, стараясь своим мычанием и жестами привлечь внимание батюшки, но тот был глух. Думал какую-то свою потаённую думу и не реагировал на окружающих. Пальцы его, держась за цепь креста, перебирали звенья, словно чётки.

– Знать, пришло время выйти из неволи, – не поворачиваясь, тихо произнёс Анисим. – Скоро и Ларя вот уплывёт, только лодку свою достроит. Но он-то вернётся!.. Не может не вернуться! Потому как человеческая натура почти всегда одна. Золото, оно ведь как цепи: сам себя закуёшь и зубило с молотком выкинешь...

– А вас золото ли держит? – подал голос Ларион. – Петруша вот его, может, и не видел, а сидит здесь тоже, как кобель на той цепи.

– Ну ты-то, Ларион, увидишь! И сегодня... Покажу!

– Нужно оно мне! Жил без него, и дальше, думаю, проживу. Его есть тут не будешь. Оно здесь как камень: разве что капусту им придавливать в бочке! Какая-то хоть будет польза.

– Во! Ты сейчас точно сказал. Камень! Только на шее.

– И ты мне хочешь тот камень надеть, дядька Анисим?

– А ты уже его надел, когда прознал, что золото есть... В последний раз, когда были с Петрушей на святой земле, лесной человек сказал, что хозяин придёт на заимку.

Помолчал, как бы собираясь с мыслями.

– Я ведь сначала, как и ты был, Ларя! Думал, заберу остатки да уеду в Россию из глухомани. Заживу, как и положено дворянину! Поместье куплю. Женюсь сызнова. На мой век хватит золотишка, да и детям, если родятся, останется. Только не понимал я, что имел в виду Смолокур, когда говорил о святой земле. Поначалу, как и ты, думал – не в себе человек, вот и собирает, что ни попадя. Так оно и было бы, если бы я пришёл сюда зимой. Зимой святая земля не открывается. А вот судьба меня другим путём сюда провела, аккуратно через святую землю. Там и увидел я впервые лесного человека. Там и открылась мне тайна этой земли. Отчего и Смолокур к церкви пришёл...

– Аааууфф Бог!!! – воскликнул немтырь.

– Бог! Да для тебя кто носит сей крест, тот и бог! – проворчал недовольно Анисим, опуская цепь креста.

– Так ты, Анисим, не тот ли бог, который сжёг людей?

Батюшка внимательно посмотрел сначала на Лариона, потом на немтыря.

– Как же он тебе поведал, Ларя? Коли, кроме слова «бог», ничего и говорить не может?

– Поведал...

– Нет, не я тот бог... До меня у него богом был Смолокур.

– А сам Смолокур на твоей совести?

– На моей. Да он и знал, что его ждёт, когда исповедовался. Здесь для каждого будущее открывается, а он отсюда пришёл.

Петруша вышел, и вскоре послышалось позвякивание уздечки по направлению убежавших коней.

– Может, мне помочь их поискать? Одному-то нелегко...

– Кони его любят – сами к нему придут, вот только страх у них пройдёт и остановятся.

– Зверя, что ли, испугались?

– Нет, Ларя, у них нюх тоньше, чем у человека. Ветер потянул со святой земли. Они всегда уходят, животные... Я долго ждал у окна, думал – лесной человек объявится. Только нет, не пришёл.

– А что если самим сходить на святую землю?

– Сходить можно. Только ведь без лесного человека она не открывается. А без него это пустая земля. Лес поваленный, горелый, да болото в середине, ничего более.

– А отчего лес повален?

– Не знаю. Много лежит, будто ураган когда-то прошёл... А теперь, Ларион, покажу тебе, ради чего мы все здесь. Пойдём во двор, пока немного нет.

– Не надо, дядя Анисим! Не моё оно! Если всё, как ты говоришь, то и мне не уйти отсюда, а у меня Катерина...

– Вот ей немного и унесёшь, будто подарок свадебный. А не покажи я тебе золото – не вернёшься. А ты мне нужен будешь здесь. Самое главное я не завершил. Храм мы ещё с тобой не возвели. А может, ты и есть тот хозяин, как мне лесной человек говорил? Обличием-то он мне его не представил. А других представлял... А этого в тайне оставил, может, чтобы я боялся? Не знаешь?

– Мне ли ваши дела знать? Да и зачем? У каждого своя дорога.

– Я тоже так думал сначала. Только как сюда пришёл, и мысли другие пришли. Здесь, Ларя, всё по-другому. Иногда кажется, будто за ширму заглядываешь и видишь, что другим видеть не дано. Вот только сильным себя не чувствуешь, скорее, несчастным. Потому что сведущ... Потому как человеку заложено зреть только начало, а тут и край видишь... Страшно это. Вот ты говоришь: у тебя Катерина, жениться желаешь. А только судьба-то у тебя другая.

– Моя судьба – это моя судьба!

– Ларя, твою судьбу я тоже видел! И она страшнее моей, хотя и моя не в радость.

– Для чего ты мне это говоришь? Чтобы расспрашивать начал? Не буду.

– Да сам всё узнаешь, когда попадёшь в те места.

В амбаре раскидал крапивные мешки, еле вытащил кожаный мешок, зубами развязал тесёмку. Запустил во внутрь вдруг задрожавшую руку.

– Вот оно золото, Ларион! Смотри, сколько его! – искоса взглянул на Ларьку, достал полную горсть золотого песка и струйкой пустил его обратно. – На всех хватит! Только не отпускает земля святая с богатством!!!

Заплакал, трясаясь спиной по-стариковски.

– И Смолокура не отпустила... Ради чего же он убивал и грабил? Грех на душу брал? И я тоже в крови... И вот тебя теперь тоже земля не отпустит, петлю на шее судьба нам захлестнула, и теперь ждёт, кто следующий придёт и из-под ног табуретку выбьет да вместо нас останется. На тебе хоть крови нет за это золото, а одно ты с нами на этой каторге.

Помолчал, утирая воспалённые красные глаза.

– Иной раз не поверишь, Ларя, хочу утопить это золото, рассыпать вновь по пескам, смешать с илом, как когда-то было. Но знаю: легче от этого не будет. Будет хуже, потому как оно уже было у меня, а я вот так взял и всё развеял. Сам себя живьём съем...

– Золото убери, батюшка! Оно мне без надобности, – Ларион поднялся, что-бы уйти. – Не заболел я вашей хворью.

Старик промолчал, насыпая золотой песок в маленький кожаный кисет на тесёмке, лежащий в мешке с золотом.

– Это тебе, Ларион! Снесёшь зазнобе своей. Раз теперь царя нет – вольный ты! Может, дом купите, может, коней. Этого для начала хватит.

– А если я не приду обратно?

– Придёшь...

Что-то случилось сегодня со стариком. Плаксивым стал, словно барышня, а глаза-то не плачут. Видно, проверяет. Ну да Бог с ним: они здесь с Петрушей помешанные на святой земле да на золоте. А ему пора уходить! И давно уже! Вот уже и листья на берёзе желтеть начали кое-где, осень не за горами. Может случиться и так: и его облас сгниёт, не коснувшись воды. Найдётся новоявленный бог, который подопрёт да запалит избу среди ночи. Возможно, тот, кто долбил прежний облас, тоже уйти хотел? Только не успел. Немтырь много знает, да жаль – безязыкий, рассказал бы...

Потрогал кисет, надетый на шею, и ощутил в душе какой-то груз, неведомый до этого. Пошёл по тропинке к срубленной недавно часовне и увидел впереди необычный свет. Он его притягивал и манил. И вдруг перестал слышать пение ночных птиц, словно оглох. И в тишине опустился на колени перед освещенной необычным серебристым светом часовней, но не помолиться Господу. Опять почувствовал в себе бред, как в первый раз, когда вступил на эту землю. Почувствовал в себе зверя. И сейчас опять руками, словно когтистыми лапами, стал рвать землю вокруг себя, и снова беззвучный рык полетел над землёй. Всё знакомое вокруг исчезло. Он шёл за серебряным светом, а перед ним проплывала неизвестная доселе тайга, непроходимая, без троп и дорог. А свет вёл его всё дальше и дальше, пока не остановился на краю огромной лесной плешины с поваленным лесом, которую не охватить глазом. И манивший его серебряный свет пропал, исчез. Но вместо него перед глазами вдруг появилась пылающая часовня. Он провёл рукой по глазам, чтобы убрать наваждение, но вместо руки

увидел огромную медвежью лапу, которая когтями рвала его плоть. И он на губах ощутил свою солоноватую кровь, и в уши его впервые ворвался неведомый голос: «Бог!». Завертелось звёздное небо, стало падать на него, или он стал возноситься ввысь, а в ноздри лез, словно дым горящей часовни, сыроватый, земляной запах берлоги. И ещё где-то далеко внизу неслась вновь песня немтыря. Остаток памяти выхватил из сознания силуэт Петруши с гармонью, когда они были у купца, с застывающей песней о ямщике. Но словно от дуновения ветра, память его погасла вместе со звёздами, и он уже не взлетал ввысь, а скрадывал испуганных людей на звериной тропе, отчего шерсть на его загривке встала и дрожала в предвкушении смертельной схватки.

Глава 7

В селе Крутоярово у колодца судачили бабы, стреляя глазами на подходивших товарок, как бы приглашая поделиться свежими новостями. За последний год это была вторая самая большая новость в таёжном селе.

Первая – скинули царя-батюшку. От этого не ходившие на пушной промысел мужики пошли в загул, а пьяные решили в деревне установить диктатуру пролетариата.

От первой новости ошалели бабы. Шутка ли?! В одночасье собравшись, мужики под предводительством шуплого, с петушиной грудью бывшего солдата империалистической войны Федота Астраханова, знавшего ещё по войне о большевиках, ходили по селу с красными бантами и с оружием. Потом смеялись, тыча на деревенских революционеров пальцем. А всё после того, когда здоровая, дородная жена Федота Васенья, узнав в революционном знамени свой праздничный красный сарафан, посреди улицы сорвала с черенка от вил то, что осталось от сарафана, лупила этим древком бывшего знамени за светлое будущее и своего Федота, и остальных, кто подвернётся под горячую могучую руку. Разогнав первую революционную сходку и сломав черенок о колено, она тем самым загнала деревенских мужиков в подполье. Но неукротимый Федот, как истинный борец за революцию, нашёл конспиративную квартиру – у бобыля на краю села. И теперь мужики крадемшись, воровато оглядываясь по сторонам – по всем законам конспирации! – собирались там каждый вечер. Выбирали за четвертью самогона депутатов-ходовков для отправки в волость. Только за год дело так и не сдвинулось с мёртвой точки, потому как после пары-тройки стаканов крепкого зелья новоявленным выбранным депутатам тут же вечером сами били морды за то, что плохо радеют за простой народ. Пока бабы их не трогали и не разгоняли: пусть уж лучше друг другу носы квасят да за патлы таскают, чем дома жён уму-разуму учить.

Вторая новость. Девка по имени Катерина, считавшаяся первой красавицей на селе, неприступная для местных парней, – забрюхателя! Да мало того! На невесть откуда свалившееся на неё богатство набрала себе городских обнов. А эта новость была для баб куда более интересной и обсуждаемой, чем революция. Судачили все, от мала до велика. Шутка ли! Откуда жених богатый? Местных отродясь богатеев не было, а если кому и фарт случался – так не на девок же его тратить! Лучше пропить! Раньше, правда, тоже и без мужей брюхатели, только на обновки денег-то никто не давал. А тут смотри! А бабы, словно заразе, были

подвержены злобе и навету. Тут же заговорили, что без нечистой силы здесь не обошлось. Мол, что и душу уже сатане продала, и даже нашлись очевидцы, якобы видевшие, что летает она через трубу. И иногда бегают в поисках какой-нибудь пакости сельчанам, обернувшись свиньёй, по деревне. Иные бабы боялись, запуганные разговорами, поздними вечерами ходить во двор до ветру. Мужиков же интересовало другое: кто мог подкатиться так незаметно и так настойчиво, что девка забрюхатела. Во все бабьи сказки они не верили. Ещё не родилась та нечистая сила, от которой бы русская баба понесла! Тут другое... Иные, которые в тишине ночной мечтали о ней, даже дежурство у дома установили, чуть не с колотушкой сторожа ходили, поскрипывая катанками в снегу. Только все ни с чем то дежурство оканчивали. Никого...

Бабы стали, не таясь, мать Катерины расспрашивать: от кого, мол? Поди, знаешь да таишь? Но на все вопросы Катеринина мать только поведёт тёмным своим взглядом. Я, мол, со свечой не стояла! Мало ли кобелей на свете? А наряды, мол, в приказе выдали, так как я вдова унтер-офицера, за царя-батюшку голову сложившего. Пробовали молодые девки расспросить Катерину, изредка появлявшуюся на посиделках: «Не таишь, подружка! Каждому счастья хочется! Расскажи!». А она только улыбалась, как бы не в себе, да тихо молвила: «Верной надо быть суженому, вот оно счастье и придёт». Каждый, правда, о своём думал: Катерина – о ребёнке, подружки – о нарядах. А про суженого Катерины знали! Не одна девичья душа ранее страдала о нём. Только ведь как с каторги сбежал – и следов его нет. Ранее, правда, часто наведывались жандармы из волости. Ну так это при царе! Всё расспрашивали, не появлялся ли в селе. Только как на сеновале у Катерины его вязали, больше никто его и не видел. Не верили ей подружки, думали: врёт всё. Где-то с богатеем-купцом ребёночка нагуляла, а тот её за усладу свою подарками и наградил. А потом сами своим же думам сомнения учиняли – уж очень счастливая ходит, порой аж светится! Не в купце здесь дело. Только вот в чём – не знали. А под конец, когда уже и разрешиться Катерине животом пора наступила, поняли: видно, тот богатеи-купец её силой взял, вот умом и тронулась. А чего бы ради ходила и улыбалась?... Ладно бы замужем...

Разрешилась Катерина весной, когда уже и река вскрылась. Принесла парня здорового, краснощёкого! Повитуха потом по деревне говорила, что и при родах не открылась, от кого дитё, хотя старалась как-нибудь тайну выведать. И ещё большей тайной окутала себя небольшая семья, когда вскоре после родов Катерины мать-вдова двух коней из города привела. И опять, мол, как вдове дали. А сама Катерина на расспросы не отвечала. И у колодца редкий раз её увидишь: рано утром воды наносит на весь день, а судачить у колодца не привыкшая была, да и знала, что любой разговор на неё перейдёт.

Когда ребёночек немного подрос, ходила в гости к Ларионовой матери: сама-то она ни разу не пришла, хотя вся деревня у неё перебивалась. Кто гостиницу новорождённому принесёт, а кто и просто поглазеть забежит. Засиделась она тогда в гостях до вечера. Потемну уже домой пришла. Мать увидела, что глаза зарёваны, с грустинкой, но счастьем всё одно светятся. Поняла, что сначала, видно, не просто было, только, однако, приняла... Что было там, расспрашивать не стала, успокоилась.

Только вот разве когда шило в мешке утаишь? Нашёлся человек в деревне, который увидел всё же странности. В самом начале зимы это было. Данилка По-

тешин охотился рядом с деревней: мал был своё зимовьё охотничье иметь. Рано утром побежал ловушки на колонка проверить. Солнце ещё только подниматься стало, мороз небольшой стоял. Бежит без лыж, греется – одёжка-то старая, в ней только на полатах и тепло. И только хотел с увала в лог спуститься, видит: внизу медведь! И тоже бежит! Только почему-то на задних ногах! Изумился! Шатун! Шомполку, что от отца осталась, сдёрнул с плеча, путём и не прицелился: дрожь была уже не от холода, а от азарта наполовину со страхом. По охотничьим рассказам знал: с шатуном не просто справиться. Выстрелил! Дымом заволокло лог, а когда дым пороховой рассеялся – нет шатуна, след через увал и лог. Ни следов крови, да и след путём не отпечатался – скачки какие-то. Преследовал немного, бросив свои ловушки, а потом воротился, откуда стрелял. В голове, однако, засело: отчего на задних лапах шатун бежал? Не по-звериному это! А вдруг оборотень? Страшно стало. Но решил по следу пройти, узнать, откуда тот шатун пришёл. Вот и вывел его след на огород к Катерине.

Сначала молчал – засмеют! Но и похвалиться хочется. Долго терпел. Ну, всё же потрепал как-то мужикам на покосе ночью у костра, что он тоже вроде как не лыком шит. Встречался, мол, с шатуном один на один. Ну, приврал немного! А как без этого? Сначала мужики на смех подняли. Придумал – медведь на двух ногах бегает! А когда про огород Катеринин заикнулся, замолчали. Вроде и не поверили. Мало ли что мальцу от страха в тайге привидится?! Только потом каждый эту историю дома пересказал.

А у баб от этой истории мороз по коже. Так вот от кого ребёночка прижила! И за глаза Катерину Шатунихой прозвали. И если кто теперь к ней приходил мальчика проведать, старались спинку голую увидеть: откуда-то прознали, что если дитё от оборотня, шерсть на спине будет расти. Видели, что нет шерсти, дитё как дитё, а всё одно – страх стали чувствовать перед ней. И старались мимо дома лишний раз не ходить, особенно на полнолуние. За глаза язычили, а при встрече с ней замолкали.

А тут время другое пошло, не до неё стало. То в деревню приедет белогвардейский отряд, то отряд разномастно одетых красноармейцев. И все кого-то ищут или от кого-то прячутся. Молодые мужики больше времени укрывались в тайге, чтобы не попасть под гребёнку. Слышали, что в соседнем селе всех молодых мужиков мобилизовали, а кто не захотел идти с ними – тут же за деревней расстреляли. Кто это был – не знали. То ли красные, то ли белые, а может, и просто бандиты. Вот мужики и стали хорониться. Тайга, она во все времена укрывала, а тем более охотников, которые знали здесь все дорожки и звериные тропы.

Деревенского старосту, выбранного ещё при царе пару десятков лет назад, ныне сместил со своей должности Федот Астраханов. Нацепив на застиранную добела солдатскую гимнастёрку единственный Георгиевский крест и повесив рядом алый бант, как всегда изрядно выпивши, со своими друзьями-собутыльниками отобрали у сидевшего на завалинке в старых катанках и ничего уже не понимающего, что вокруг делается, старосты печать. Печать и книга со списком жителей деревни были у старосты давние, со времён, когда его ещё назначили старостой, то есть царскими. Но Федот видел в них власть! И это первая была его экспроприация. Чернил у деда для печати не оказалось, и Федот сам сделал их из сажи. Первую запись в книге сделал раз-

машистую, известив той записью, что вся власть на селе перешла в руки его революционного отряда. И неважно, что печать царская! Главное – печать, а это власть, как объяснил он мужикам. И наконец, так и не выбрав депутатов-ходовиков от крутояровского революционного отряда, сам поехал в волость заявить о низложении царского режима в его селе.

Обратный приезд Федота удивил даже усмехавшихся над Федотовой затеей мужиков. Заявился в село в фуражке со звездой, в потрепанной кожанке, перетянутый ремнями, как царский офицер, и с большим наганом. В этот же день мобилизовал в свой отряд дружков, а из квартиры бобыля сделали штаб. Вторую экспроприацию он произвёл тут же у себя дома: заставил жену Васеню отдать его первое революционное знамя, то бишь сарафан. Завладев, наконец, законно красным стягом, Федот повесил его над крышей своего штаба.

Васеня весь вечер ходила во дворе, как в воду опущенная. Шутка ли дела! Её недомерок получил власть! А ведь как пришёл с войны, палец о палец не стукнул. Ни на промысел не ходил, ни в огороде, ни на покосе! Рыбу и то поймать ни разу не сумел: то у него вода мутная, то на яме где-то стоит. Спасибо соседям – давали... Ни детей не настрогал. Вот у всех по пять да по семь, а тут и одного спроворить не сумел. Газовая атака у него виновата. Всплакнула в передник. Пить-то даже, как мужик, не умеет – после второго стакана в щаж засыпает. А тут на тебе – власть! С наганом по деревне ходит, как урядник какой! Да и знала она урядников! Чего стоил тот, за которого Ларька на каторгу пошёл. Богатырь! – царствие ему небесное! – быка повалит! А её-то?.. Тьфу!!! Знать, и власть такая будет...

И уже вслух в сердцах:

– Ну, это посмотрим, чья власть ещё будет! Твоя, Федот, или моя...

И закрыла дверь на крепкий кованный крючок.

Ночью подвыпивший Федот пробовал и умолять Васеню, стоя под дверью, и угрожал, и стрелял из нагана. Только напрасно. А услышав через дверь, что она сейчас выйдет и утопит его наган в сортире, а его самого вставит туда головой, зная свою Василису, Федот отступил, перебившись ночь в нетопленной бане. Утром, отмывая сажу у колоды с водой, увидел жену и хотел, было, уйти, чтобы не нарываться на крики, которые будут слышать все соседи, а потом смеяться украдкой, но она, подбоченясь, преградила ему путь. Федот знал эту, не предвещавшую ничего хорошего, позу.

– Пропусти, а не то... – начал угрожающе Федот и не успел договорить, что будет с Васеней, если не пропустит. От удара выполощенными мокрыми штанами отлетел и свалился в траву, хватаясь за наган.

– Именем революции пропусти!

– Иди уж, засранец... – и, повернувшись, пошла вешать на верёвку Федоты штаны.

Васеня успокоилась. Что с него взять? Смолоду был такой. Неказистый, ни к чему не приспособленный, но с гонором. Грамоте был немного обучен, книжки привёз из города. Начитавшись, решил героем стать какой-нибудь войны. Вот в германскую и пошёл добровольцем. Провоевал недолго: ранен был, но получил за какой-то бой Георгиевский крест. Будто сам генерал его наградил за мужество и стойкость духа – так говорил он ей. А на самом деле откуда ей знать, за что? Потом вроде поугас немного, про геройство на поле брани замолчал и саблю

деревянную, что до войны выстрогал да упражнялся чуть не каждый день, выкинул. Тогда поняла Васеня, что хватил горя, наверное, на войне, вот и выбросил дурь из головы вместе с саблей. А тут революция, и опять понесло её Федота. Все разговоры были про мировой пролетариат. А где ей, глупой, знать про мировой пролетариат? Про мирового судью она знала, что если какое-то дело решить, много возить ему надо. Мяса и сала, и ещё деньгами. А где от бедности возьмёшь? Вот потому-то никогда дело в твою пользу не выгорит. За корову она судилась – знает! А тут опять мировой! Да ещё пролетариат! Дак сколько ему возить, если что? Судья-то хоть один, да из богатых! А тут, как объяснил Федот, мировой пролетариат – это рабочие всего мира. Да разве их прокормишь?! И все, наверное, бедные, как они... А крючок она сегодня ему откроет. А куда его девать? Жалко... Да и от людей стыдно. Опять же теперь при власти. Вот только непонятно опять: ну зачем её Федоту власть? Ведь не умеет ничегошеньки! Только и может, что хайло на бабу открывать. И опять, вспомнив про ребятишек, всплакнула. Шутка ли! Под старость лет без детей да без внуков остаться, а она же баба...

Катерине сон ночами не шёл, всё ждала: вдруг снова постучит в окно? И на каждый шорох ветра или скотины за окном, затаив дыхание, ждала. И ей даже казалось, что и ребёнок в это время переставал сопеть. Но Лариона всё не было. Когда первый раз пришёл осенней ночью, она в заросшем мужчине узнала только его голос:

– Ждала ли?..

У неё от голоса закружилась голова. Не снится ли? И отчего-то похолодевшей рукой откинула крючок.

– Ждала...

Пробыл он у неё несколько дней. Днём на улицу не выходил, зато они ночами уходили во двор под ясные августовские звёзды. И казалось, девичьему счастью нет конца. На её просьбу выйти к людям и сходить к родной матери ответил отказом.

– Не время, Катенька, не время... А к матери сама потом сходишь, когда сочтёшь нужным. Время сейчас беспокойное, и неизвестно, как всё может обернуться: беглого каторжника выведут за околицу – и поминай как звали, вороньё только путь и укажет.

Когда ночью уходил, оставил кисет с золотом – на прожитьё, сказал. Чтобы, если что, не бедствовали.

Второй раз пришёл зимой, и напугалась она наряда его. В медвежьей шубе, сшитой вроде тунгусской парки, с капюшоном мехом наружу. Испугалась: то ли от одежды, то ли от самого повеяло звериным. Хотя ласков был... Сказала ему об этом Катерина. Ответил, пряча глаза с какой-то тоской:

– А мы там все звери: кто медведи, а кто волки – в лесу живём... Там себя разного видишь.

А ныне по лету слушок до неё докатился, что стрелял шатуна Данилка Потешин, и что будто тот шатун из её огорода в лес подался. Поняла сразу. И пригорюнилась Катерина. А вдруг ранил? Хоть и ушёл от Данилки, а потом, может, упал да замёрз. Остановила она как-то Данилку да ругать его начала за шатуна, что напраслину на неё наводит. А сама как бы невзначай спрашивает, да ещё с издёвкой: мол, что ты за охотник такой! Зверя ранил, окровавил и бросил?

Парнишка то ли от страха, то ли ещё от чего заикаться начал. Не было, говорит, крови, он же оборотень... Отлегло немного от сердца, а про себя подумала: знал бы ты, какого шатуна стрелял – не проболтался. Потому как родители Потешина всегда в дружбе были с отцом Лариона. Это потом они оба потерялись: и отец Ларькин, и Данилкин. Как ушли со старательской артелью, так и не вернулись. А никто из артели не возвратился. Будто в воду канули. В то время много лихих людей по тайге бродило. Поди, лежат где-нибудь косточки без креста, дождями да снегами выбеленные. Взгрустнулось. И на ум опять пришёл Ларион. А вдруг и он так где лежит неотпетый? Перекрестилась – придёт же в голову дуре!

И опять шорох за окном. Встала: во дворе никого. Присела на лавку, подперев голову рукой. В последний приход как бы был сам не свой Ларя, в душе что-то его тяготило. Про какие-то всё странности говорил, что на заимке творятся. И остался бы он с ней в Крутоярове, только слово дал батюшке Анисиму, что вернётся назад. Часовню они должны поставить, а потом он будет свободен. И что золото Анисим ему дал, чтобы ей снести, как бы подарок свадебный... Только тогда она подумала, что не нужно ей никакое золото – сам бы лучше остался. От золота много бед. Сколько за это мужиков поплатилось. Говорила ему про это. А нет – ушёл. И дитя ещё не видел... Да и тяжко без мужика в доме. Вот теперь, вроде, и кони есть, а десятину свою не вспашешь. Ныне-то по весне они с матерью больше наковыряли, чем вспахали, и урожай будет такой. А мужиков нанять? Так теперь мужикам, что в деревне остались, не до пахоты. Революция! Ходят по деревне, горланят и пьяные, и трезвые, словно воздуха вседозволенно-сти вдохнули. А что у самих ребятишки голодные сидят – не думают.

Мать Катерины, Кутоманиха, попросила вспахать её десятину, так куда там! В батраках быть не желают, прошли те времена, когда на других горбатились! Так не задарма ведь всегда работали: и мукой брали, и другой снедью. Только мужики в ответ: теперь, говорят, мы сами возьмём, что нужно. Всем и всё должно быть поровну! Ну, от этих слов и понесло Кутоманиху – не из робкого десятка баба. Как это поровну?! Значит, она день-деньской на огороде да на покосе, а он, здоровый мужик, палец о палец не стукнув, половину забрать хочет? Чуть было всех не причесала. Мужики и не рады стали, что манифест революционный произнесли. Задами стали усадьбу обходить: с Кутоманихой, знали, лучше не связываться, может и харю расцарапать. Но только после этого скандала пригорюнилась Кутоманиха, поведала Катерине, что опечалило её. А вдруг и правда отберут?

Вот Федот Астраханов... Чуть не каждый божий день сходы деревенские устраивает. И всё талдычит вот про это самое равноправие да экспроприацию. Говорил бы уж деревенским языком: мол, кто работает не покладая рук, того грабить будем. Так что же тогда выходит: если он последний пьяница – знать, и все должны быть такими? Непонятно ей... Как же тогда жить дальше? Не работать же на Федота в самом деле.

– Не спишь? – подала голос Кутоманиха с полатей.

– Не спится, мама... А вам-то что не спится?

– Так у меня своя забота. Коней возьмут вдруг? У Федота глаза бесстыжие – и заберёт! На это они мастаки...

– Жили ведь без коней... – ответила отрешенно Катерина, думая о своём.

– Когда не было, и заботы не было! А теперь-то как?

– Кто-то по двору вроде ходит, мама?.. Или уже кажется?

– Ждёшь – вот и ходит... Ко всему прислушиваешься – оттого это. По себе, Катерина, знаю. Когда отца твоего ждала с германской... Год ждала, а всё одно не пришёл – убили.

– Дак то война была.

– А сейчас что? Хуже! Свой на своего поднялся! Как иноверцы или разбойники! Федотка вот ходит, наганом размахивает, а если уж наган из рук не выпускает, то и убьёт когда-нибудь. – Прислушалась. – А и правда кто-то ходит.

Слезла с полатей, села с Катериной на лавку.

– Ты не выходи, я сама. Кому надо по ночам шариться?

Достала из-за печи ружьё, загремев ухватами и лопатами для садки хлебов в русскую печь, и, толкнув дверь, вышла. Катерина, накинув платок, пошла следом. На востоке уже загоралась заря, окрасив розовым тонкую полоску кедрача. И вдруг от амбара услышала родной для неё голос:

– Катя...

Федот Астраханов сидел за столом, когда в окно увидел Катерину Кутومانову с незнакомым бородатым мужиком, и привстал, чуть не опрокинув колченогий стол.

– Митрич! – позвал бобыля из сеней. – Что-то не узнаю, кто это с Шатунихой идёт?

– Дак, наверное, шатун и идёт, – невозмутимо ответил бобыль, пришедший на зов и тоже выглянувший в окно. – Вона и шатунёнка несут. А кому больше быть? Да, наверное, и сюда. Шатунёнок-то у тебя в книгу амбарную не записан.

– Не амбарную, Митрич! Сколько тебе говорить?! Хозяйственную! Не купцы, поди, а революционный комитет! Видишь разницу?

– Вижу, как не видеть! Ранее купец за постой хоть целковый давал...

– А ты тут не саботируй!

– Смотрю я на тебя, Федотка... Где ты слова такие выучил непонятные? Словно ненашенский... Немец, право слово... А мужик-то, Федот, на Ларю Вертопрахова похож... Да ён и есть! Живой! Право слово – шатун! Любого ушатает... Как урядника когда-то. И каторга ему нипочём! Не исхудал!

– Да сколько он на той каторге был? Сбёг! Помню, жандармы искали.

– Сбежать тоже смелость нужна...

Растворив дверь и чуть не касаясь головой потолка, в избу вошёл Ларион, следом Катерина. Ларион по привычке бросил взгляд на красный угол, но привычных икон не увидел и поднявшаяся ко лбу рука опустилась.

– Доброго здравия, хозяева... Сюда ли пришёл? В церкви, говорят, не венчают, а жить без венчания стыдно. Нехорошо это...

– А кто знает, что хорошо? Новое время, Ларион! – Федот выскочил из-за стола. – Пережиткам – бой! А ты, никак, венчаться пришёл?

– Я же говорю: стыдно... Не за себя стыдно, за неё! – подтолкнул вперёд Катерину. – Опять же, ребёнок без имени-отчества...

– Ну, я тебе не поп кадиллом вокруг тебя махать, а записать – оно, конечно, запишу. Уполномочен! Так ты, Ларион, будешь первый в Крутоярове революционный жених, а Катерина – первая невеста! И мальчика вашего запишу. Только

ты мне как на духу скажи – где это время был? Оказывается, объявлялся! Вон и дитя успел выстругать! А что же ты к нам не зашёл? Может, против революции воевал али в банде какой? Каторгу давно распустили, а ты ведь беглый был?.. Где же тебя носило? У власти претензий нет, что ты сбежал да урядника убил. Они кровушки народной попили – так что ты даже герой!

– Не герой я... По неосторожности убил... А бежал, потому как не могу без воли... Где скрывался? То ты дядька, Федот, не знаешь, где беглые хоронятся?

– Так я беглым никогда не был – откуда мне знать? Кровь вот проливал за царя-батюшку, теперь вот за простой народ радею!

– Дак книгу-то амбарную доставать? – Митрич глуповато уставился на Федота.

– Сколько раз тебе говорить – не амбарную!!! Ты случаем у купца какого не был в приказчиках?

Митрич притащил книгу из горницы и положил перед Федотом.

– Как не был – был! Годков пять, почитай, в городе у купца Арсентьева. Хороший мужик был он, Федотушка! Сейчас нет таких... Обозы, бывало, с рыбой с Оби придут – ямщиков день и ночь поит и кормит. И про расчет не забудет. С богом в душе жил, не обижал...

– Ты опять за саботаж? Митрич! Не посмотрю, что изба твоя! Сам тебя расстреляю.

Ларион достал из кармана штанов запечатанную сургучом бутылку водки и поставил на стол. У Митрича блеснули глаза из-под седых лохматых бровей. Он, словно молодой, чуть не подпрыгнув от радости, полетел к печи и принёс кружки. И было поймался за бутылку.

– Погодь! Сначала дело, – остановил его Федот. – Ты думаешь, так просто? А это документ, однако!

Подул на невысохшие чернила, потом достал печать и с размаху хлопнул ей по книге. Поставленная бутылка подпрыгнула, только ловкий Митрич был начеку и успел поймать падающую бутылку.

– Потихе, оглашенный! Чай не вода стоит, а казёнка, – и обернулся к Лариону с Катериной. – Да вы присаживайтесь к столу! Чай все здесь свои, деревенские, а в ногах правды нет, Ларя. Красный поп вас сейчас повенчал – пора и причаститься. Хорошо хоть гвардия не пришла, а то все причащаются – спасу нет! Вояки...

После записи в Федотову книгу Катерина с Ларионом и новоявленным первым жителем страны советов Михаилом отправились к Ларионовой матери. Мать уже знала, что Ларион вернулся, и ждала его у ворот в побелевшем от солнца и дождя платке. Ларион знал этот платок. Когда потерялся отец, она ходила ещё в цветастых полушалках. Но через год, не зная, погиб ли, жив ли, надела чёрный траурный. И уж больше не снимала. Ларион молча сграбастал в охапку мать и уткнулся бородой ей в голову. Она потихоньку выла, почти беззвучно, изредка произносила взхлёб одно лишь слово:

– Вернулся...

И снова выла. Дома уже, когда насмотрелась на своего единственного сына, стала расспрашивать, не встречал ли где отца, и от людей что слышал. Ларион потупился, стараясь не смотреть в глаза матери. Подумал: чего ворошить прошлое. Она уже привыкла, так как есть. А говорить ей что-то новое, о чём узнал

совсем недавно, – о прошлом своего отца – не надо. Она уже в душе похоронила его давно. Зачем отца снова воскрешать в её памяти? Хотя знал, что она ни на минуту не забывала его. Но она помнила его другим, не таким, каким он потом стал. После небольшого застолья она с надеждой спросила, глядя на Катерину и ползающего по половикам Мишу:

– Домой приведёшь молодую или в примачи пойдёшь?

– Не знаю, мать, я ещё в лесу свои дела недоделал...

Катерина удивлённо вскинула на Ларьку глаза.

– А что там, в лесу? Не сезон ещё промысла. Зачем туда бежать? Ждёт там тебя кто?

– Раньше ждали, Катерина. Теперь там нет никого, кроме меня. Там не так, как здесь.. Может, и прав был батюшка Анисим, что земля та привязывает, а если вернее – удавку на шею надевает... Иногда мне кажется – лучше с каторги бы не бежал: на каторге хотя и в цепях, зато мысли в голове были вольные. А там, скорее, в голове каторга: без цепей, а не уйдёшь.

Мать снова тихонько завывала, прижимая к губам платок.

– Как и отец, когда-нибудь сгинешь! Неспроста ты там! Молодой, надо о матери подумать да о жене с дитём, а ты снова в лес, как медведь какой. Недаром прозвище тебе дали – Шатун. Ходишь, шатаешься по лесу, а ты ведь не зверь.

– Я вернусь, мать, дай только срок. Пока я там хозяин, и всему, что там есть. Нужно во всём мне там разобраться. Уйти оттуда невозможно? Отчего себя в другом облиии видишь и при этом не ужасаешься? Не буду вам всего рассказывать, чтобы не думали ожидаючи. И я решил туда вернуться! Сейчас ли, позже ли – видно будет.

После ухода Лариона подвыпивший Федот задумался. Странности какие-то с Ларионом! Был ночами в деревне, знал, что каторги нет, и все мытарства кончились, а всё одно – снова ушёл в лес. И не пустой приходил, коли Кутоманиха потом коней из города привела, да и Катерина городские обновы себе привезла. У самих деньги откуда? А про приказ врут, что там деньги вдовьи получили. Он принёс! А откуда деньги в лесу? Может, где старателей караулит да давит, как медведь? Так старателей почти не осталось: иссякло золото, все пески перелопатили. Клад, видно, где-то нашёл. Мало ли где хоронили купцы богатство своё, когда царя скинули. Или всё же где-то ручей нашёл с богатой россыпью?

– Митрич! – позвал громко. – Поди-ка сюда...

Задумался: говорить или не говорить бобылю о своей догадке? Пустобрёх по деревне понесёт да всё дело испортит. Вошедший Митрич не стал долго ждать, когда Федот разродится речью.

– Что, Федотушка, сбегать, куда ни то? У Прасковьи есть! Вчера только выгнала. Мимо вечером проходил, она в печи шерсть жгла, воняло по всей улице, а, зная, гнала.

– Кого гнала? – не понял Федот, думая о своём.

– Знамо дело – самогон! Кто хочет запах барды от избы отбить, шерсть жжёт в печи, а кто куриные перья. Так вот, мимо Прасковьи проходил...

– А, вот ты о чём... Ну, что ж, сходи... Поговорим за четвертью о Ларионе... А завтра я в город поеду: дела у меня там будут...

– А чё нам Ларион? У него своя тропинка. Да и оставил бы ты его в покое, если в отца пошёл...

Засунул пустую четверть в потрёпанный сидор и остановился, размышляя. Чего это он про Лариона?

– А что если в отца, Митрич? – непонимающе взглянул на бобыля.

– А хреново всем будет! Устосует! Знаю! – и выскочил в дверь.

Глава 8

Сруб часовни перевезли ещё по малому снегу. Стали ставить на небольшом взгорке. Работа продвигалась быстро. Сам Анисим был только раз, когда закладывали первые брёвна. Посидел на золотистом высохшем бревне, поглаживая древесину ладонью, потом, не говоря ни слова, поднялся, оглядел лесную проплешину и ушёл. Больше, пока строили, не приходил, находился на заимке.

Когда часовня была готова, Анисим из каких-то своих соображений запретил ставить деревянный крест. И вообще последние дни ходил понурый, мало разговаривал, плохо ел, и казалось Лариону, что к батюшке вернулась старая болезнь. Часами сидел и смотрел, как горел огонь в русской печи. И никого не слышал. Когда же печь прогорала, становился на колени в красном углу и беззвучно молился, еле шевеля губами. На вопрос Лариона, что его тревожит, уходил от ответа и старался не смотреть ему в глаза.

Ларька отступил с вопросами и разговорами и уходил в лес, ставил силки и петли. И где-то в середине зимы набрёл на медвежью берлогу. Лохматый постоялец зимовал – видно было по куржаку, обрамляющему небольшой, скрытый буреломом лаз. Ларион был без оружия и поэтому ушёл на заимку. Утром взял рогатину и карабин, вернулся к берлоге. Оттоптал снег от лаза и немного почистил полянку от бурелома, чтобы, не дай бог, не запнуться – тогда гибель. Вырубил из сухой пихты крепкий шест и приготовил карабин к стрельбе. Зимний медведь у него был не первый, приходилось уже поднимать из берлоги. И сейчас вроде всё рассчитал: куда ломанётся поднятый зверь, но почему-то вдруг не стало прежней уверенности, что всё пройдёт благополучно. Сел на бревно, понимая: если дать страху пересилить себя, то уже больше никогда он не сможет взять зверя из берлоги, и чем больше оттягивал время этой страшной охоты, тем больше росла уверенность в своей правоте. Потом резко встал, скинул меховые исподки на снег, передвинул для удобства нож на пояс, схватил шест и резко сунул его в отверстие. Шест дёрнулся назад и затих. Снова со всего размаха сунул шест, уже забыв о волновавшем его вначале страхе. А когда в ответ из отверстия услышал низкий рёв зверя, Ларион напряжился и на мгновение ощутил, что он сам зверь, такой же, как и тот в берлоге, и что тоже очень опасен. Отпустив шест, взял наизготовку карабин, отступив на несколько шагов. И почти сразу шест, словно копьё, вылетел из берлоги. Огромная голова показалась Ларьке ужасающей, и этот на вид неуклюжий зверь в мгновение ока выскочил из берлоги, обрушив снег, заваливший отверстие. Ларион, почти не целясь, выстрелил. Но зверя уже не мог остановить этот негромкий хлопок. Второй выстрел был уже в упор, и Ларион еле успел уклониться от огромной туши, чтобы не быть раздавленным. Падая в снег, успел передёрнуть затвор и, развернувшись к убегающему зверю, спустил курок. Но выстрела не последовало. Снова передёрнул затвор и увидел раскрытый магазин

карабина. Поискал в снегу вывалившиеся патроны, понимая, что напрасно. Зверь уходил, лишь вдалеке мелькала горбатая спина среди невысоких елей. Осмотрев снег вокруг, Ларион не нашёл следа крови. Промahnуться не мог – точно знал. «В такую копну попал бы и юнец», – проговорил вслух, отряхивая шапку от снега.

– Заворожённый он, что ли? – слышал иногда об этом в рассказах стариков. – Ну ладно, в первый раз промахнулся... А второй раз?... Стволom ведь чуть не в брюхо воткнул.

Прошёл немного по следу, но крови нигде не было. Идти дальше, знал, опасно. Медведь может сделать круг и залечь где-нибудь в валежнике, будет поджидать у своего следа. И тогда уже человеку не уйти: заломает, не постесняется. Среди охотников ходили слухи, что поднятый из берлоги медведь по какой-то случайности был не убит и ушёл, тогда жди беды. Начнёт охотиться за охотником, и тогда пощади от него не жди, всё одно выследит. И настанет день, когда гонимый голодом и мщением нападёт на зимовьё, но перед этим порвёт всех твоих собак, и предупредить об опасности будет некому. Выходит, он сегодня из медведя сделал себе врага, шатуна, который уже дней через пять потеряет все чувства осторожности и в поисках любой добычи выйдет на охоту на человека. Обратно до заимки шёл, прислушиваясь, но ничего не заметил, да и зверь ушёл в другую сторону. На душе был какой-то неприятный осадок. Такое с ним было впервые: поднял и упустил зверя.

На заимке по пояс раздетый немтырь колот дрова, не обращая на мороз никакого внимания. Подошёл и сел рядом с немтырём на чурку.

– Я сегодня медведя поднял из берлоги и упустил... Осторожней будь теперь, Петруша.

Немтырь перестал колоть дрова и смотрел на Лариона с вниманием. Впервые прочитал в них не злобу, а что-то вроде сочувствия и укора. Жаль, конечно, что не мог немтырь разговаривать, может быть, посоветовал бы чего. Поднялся, прислонил рогатину к углу избы и вошёл в дом. Анисим опять сидел у печи и смотрел в огонь. При стуке двери поворотился, удивлённо посмотрел на Лариона, шевельнул губами, но, не произнеся ни слова, снова уставился на огонь.

– Медведя упустил, дядька Анисим! – Помолчал. – Как заговорённый зверь... Анисим вскинул брови на Лариона, снова пошевелил губами.

– Ты, как немтырь стал последнее время, молчишь всё. Не захворал ли часом? Или от часовни, что возвели? Не рад? Чуешь что-то, только в себе держишь...

– А я думал, Ларя, заломает тебя медведь, когда ты ушёл. Думал, и не увижу больше...

– Да ты никак смерти моей ждёшь? Вот так батюшка! – И остановился на полуслове. В голову пришла страшная догадка: а что, если случай с медведем не просто так произошёл? Ведь стрелял наверняка, почти в упор... Да и выстрелы, помнит, почему-то были слабые, будто не настоящие. Тогда ему показалось, что это из-за волнения, или от медвежьего рёва уши заложило.

– Ну, я с этим разберусь... – вышел из избы.

Уже потемну добрался до берлоги и стал рыть снег, где обронил патроны. И удача улыбнулась – нашёл. Зубами расшатал и вытащил пулю, высыпал порох на ладонь. И сел в снег. Как и подозревал, пороха в патроне почти не было, кто-то готовил ему смерть у берлоги. Только вот кто и за что? Может, оттого, что

ему показали золото, а теперь хотят убить за это? Долго сидел, не понимая. Ведь ему ничего не надо от них – уйдёт! А может, не хотят отпускать живым... И ему впервые стало страшно. Что, если они ночью его зарежут? И патроны испортил, скорее всего, Анисим: хотел, чтобы зверь доделал им начатое дело, чтобы не самому руки марать. Что ж тогда Петрушу не попросил? На зверя понадеялся? Вот отчего в последнее время всё в огонь смотрит, а потом молится. Давно, видно, задумал со свету сжить, а внутри тяжело! Грех убийца чувствует.

Обратной дорогой на заимку шёл уже при лунном свете. В морозном воздухе после оттепели повис туман. И вдруг впереди из-за снежного сугроба, наметённого на лесной завал, выскочил, рюхнув, словно огромная свинья, медведь и пошёл в сторону от пробитой дороги. Ларион остановился, провожая зверя, видел, как тот легко летел по снегу, не оборачиваясь на человека, и исчез в низких пихтачах.

– Дождается... Этот здесь, а те там.

На заимке Анисим с немтырём были в доме, Ларион прошёл к столу, не раздеваясь, бросил злополучные патроны к чашке Анисима.

– Твоих рук дело, святоша? Хотя поклоны бьёшь, а ближнего убьёшь... Не нужен стал?! Часовня стоит, крест на маковку и Петруша поставит, а мне, знать, судьбу уже уготовил!

Немтырь внимательно слушал, перестав хлебать щи. Ларион повернулся к нему:

– А может, твоя работа? Зверю меня хотел скормить?

Анисим молча отодвинул миску и взял патрон в руки.

– Догадался, знать... Не держи зла. Я это...

Ларион опустил на лавку.

– Зачем, дядька Анисим? Из-за золота?

– Нет... Здесь другое... Рано, поздно ли узнал бы, что Смолокур твоим отцом был, и тогда ты бы меня за отца-то...

Ларион непонимающе уставился на батюшку:

– Какой Смолокур?

– Тот самый из Крутоярова, а посему ты хозяин всему, что здесь есть. И это тебе принадлежит...

Кинул открывшему от изумления рот Лариону тяжёлый золотой крест. Крест упал и загрохотал по половицам.

– Ты теперь хозяин... Лесной человек говорил мне, что хозяин здесь, а кто – догадался. Не Петруша же, в самом деле.

Петруша сидел, сжав кулаки, и его глаза налились чернотой, потом поднял крест, вытер несуществующую пыль и надел цепь на шею Лариона.

– Вот, Петруша, теперь Ларя твой бог! Ему молись...

– Он не бог. Он мой хозяин! – низким голосом произнёс немтырь.

– Так... Значит, и говорит умеешь? Столько лет притворялся...

Анисим встал от удивления и пошёл, было, к Петруше, но тот ловко выдернул нож из-за голенища.

– Сядь, батюшка, Христом-богом тебя прошу! Не хочу поганить твоей кровью избу.

Ларион отвёл руку немтыря.

– Не надо! Значит, мне не почудилось тогда спьяна у купца, когда ты песни пел?

– Нет, не чудилось! Я ведь тогда уже узнал, что ты сын моего хозяина: похож больно. А если бы ты сказал, что я песни пел, Анисиму, он всё одно бы тебе не поверил. Сказал бы: привиделось. Здесь много чего видится...

– Зачем скрывал тогда, что говорить можешь, Петруша?

– Так убил бы он меня... – кивнул на Анисима. – А мне нужно было знать, где золото хранит поп. Ради этого и с каторги его вызволил. Только потом пришлось в голову, что золото это не вынесешь отсюда. Проклятое оно. И земля здесь проклята. А уйти отсюда совсем – сил нет.

– Почему?

– Не знаю. Несколько раз уходил, возвращался с половины пути. После девятьсот восьмого это всё началось. До этого мы людьми ещё были. Мы здесь ручей с песочком нашли, старались понемногу с сотоварищами. Смолокур был старший нашей артели. Дружно жили... А в девятьсот восьмом всё кончилось...

Помолчал немного.

– Небо огнём горело, и земля потом из-под ног ушла, и ветры подули со всех сторон. Сколько времени прошло, не знаю, как будто мы умерли сначала, а потом вновь вроде как родились. Тело не слушалось, язык тоже. И святую землю в тот год нашли. Она почти всё лето горела, только дым тот сладок был... Там то ли от бури, то ли ещё отчего лес упал. И видения от этой земли идут. Особенно когда ветер с той стороны. Только какая она святая, если мы после этого убивать начали? Мало нам вдруг стало того золота, что добывали. Зверь и тот умнее человека оказался: ушёл тогда из этих мест, а мы наоборот – остались...

Немтырь повернулся к Лариону.

– Отец-то твой тоже мечтал церковь здесь построить. И строил! И крест золотой ему я этот сам здесь отлил! До этого мы артель ночью вырезали, золота много принесли. А потом что-то случилось со Смолокуром: не разговаривал несколько дней, почернел вдруг в переживаниях. А как-то ночью подпёр двери в избе, что на задах стояла, – там вся братия жила – облил керосином и поджёг. Это после того он в деревню к Анисиму ушёл... И семьи у нас у всех были... Только как восстали из мёртвых, обо всех забыли.

Немтырь замолчал, закрыв глаза, из-под век скатились слезинки, которые запутались в бороде. Потом продолжил тихо:

– Зимой только о них воспоминания и шли...

– А как же ты остался живой?

– Я коней искал в тайге, они в то время часто уходили. Когда пришёл, никого уже не было, одни головёшки. Кости собрал да прикопал. Я-то сначала думал, что и Смолокур с ними. И даже обрадовался, что волен теперь и уйду на все четыре стороны, только вот золото найду... Искал. Перекопал всё! Как исчезло! А потом батюшка объявился, и крест хозяина на нём. Понял, что опять мне слушать теперь придётся, но только уже ему, потому как золото у него. А дальше со временем привык здесь жить, и золото блеск свой потеряло, потому как знаю: не вынести его отсюда. Вот Анисим золото далеко отсюда прибрал к рукам, а нет – вернулся и его сюда привёз! А зачем в тайге золото? В тайге уж лучше ружьё, соль да спички.

Анисим с Ларионом внимательно слушали немтыря, не перебивая. После долгого молчания немтырь теперь не мог остановиться. Его глаза приобрели живой блеск, воспоминания заставляли его хмуриться и даже, пусть редко, но улыбаться.

– Так во всех ваших грехах здесь, говоришь, виновата святая земля? А не жадность к золоту?

– Выходит так, Ларя...

Петруша как бы поник головой, вспоминая.

– Вот Анисим говорит: к нему лесной человек приходит в образе светящегося тумана, вроде с очертаниями человека в серебряном обличии. А мне нет. Ко мне другие приходят... Те, коих сам жизни лишил. И ничего мне они не говорят. Это я их прошу простить меня, а они не прощают... Скалятся, как волки.

– А я впервые себя здесь зверем видел, – подал голос Ларион. – И от всего, что я видел, страшно на сердце.

– А я говорил: каждому здесь видится то, что у него внутри, – Анисим зашагал по комнате. – Вот у Петруши на душе сожаление от содеянного, ему его жертвы видятся. Это ведь, как во сне на святой земле. Снится то, о чём втайне даже от себя думаешь. Только в одном от сна отличие есть: ты можешь говорить с теми, кого видишь. Будь то покойники или здравствующие, далеко находящиеся от этой земли, люди. Да ещё при этом на земле святой чувствуешь блаженство и раскаянье. В другом-то месте мы редко себя считаем неправыми, а здесь приходит осознание... Ну, а теперь, Ларион, что думаешь делать дальше?

– Не знаю, время покажет! Только знаю: не останусь!

– Мы тоже когда-то думали так, – немтырь погрузился. – А сколько лет здесь...

Через неделю на заимку ночью пришёл шатун. Страх ещё в нём был, потому как близко к домам не подошёл, утром метрах в ста Ларион нашёл его следы. Искать шатуна его подтолкнули ржавшие всю ночь кони. Ночью же немтырь с карабином вышел во двор и от греха подальше закрыл коней в конюшню. На следующую ночь голодный зверь уже прошёл по заимке, почти не скрываясь, пробовал лапой вырвать дверь конюшни. Когда же обитатели заимки, проснувшись, выскочили на улицу, зверь ушёл. Но все знали, что недалеко, залёг где-то рядом и выжидает. А что будет, когда голод сорвёт его с лёжки днём?

Утром Ларион засобирился на охоту. Молча рассовывал винтовочные патроны, точил нож, проверил карабин и насухо протёр от масла затвор. Чувствуя свою вину, Анисим старался не смотреть в глаза ни Лариону, ни немтырю. Суетился что-то у стола, переставляя чашки с места на место, а потом прощения у Лариона попросил: его, мол, вина, что шатун ходит. Только если честно разобраться, даже не его, а земли этой. Сам бы он навряд до этого додумался. Голос ему, дескать, был: патроны разрядить. Усмехнулся Ларион:

– Врёшь ты всё, дядька Анисим! Намедни же говорил другое: будто здесь приходит осознание греха, а сам на землю грешишь. Непонятно! Только тебе всё одно – выгода от шатуна есть. А вдруг меня сегодня тот шатун заломает? Пусть не выгода, так надежда. Только крест я тебе батюшкин не дам! У меня тоже своя выгода есть... Если уж заломает меня шатун, ты крест не бросишь – искать пойдёшь, а шатун тебя будет искать... Так что моли бога или дьявола, чтобы я жив остался.

Толкнул дверь и вышел в морозное утро. Оделся легко, знал, что долго искать не придётся: не больше версты, поди, отошёл да на днёвку и залёг где-нибудь в

буреломе. Только не спит! Лежит, поди, да своими круглыми ушами шевелит – слушает. На голодный желудок сон не идёт. Потихоньку пробираясь через заснеженные пихты, услышал позади себя шум, вскинул карабин наизготовку и увидел немтыря с рогатиной. Петруша был без шапки, в новой атласной рубаше-косоворотке, перепоясанный шёлковым пояском, а на ногах вместо пимов хромовые сапоги. Удивился такому наряду Ларион:

– Ты зачем здесь? Не свадьба, чай... Вырядился...

– А вдруг последний раз? А рубашу не одёвана... Жалко.

– Ты только не мешай мне: если уж подомнёт, тогда подсобишь...

Медведя нашли в неглубоком логоу. Зверь крутил огромной головой, нюхая воздух, чуял охотников, потому что сквозь ветви было видно, как вздрагивала шерсть на его загривке, но уходить или напасть первым не спешил. Стрелять было далеко, и Ларион старался подойти ближе. Когда же зверь стал доступным для выстрела, немтырь немного отошёл в сторону. После выстрела зверь подскочил и завалился на бок, но тут же поднялся и скачками стал приближаться к охотникам. Второй выстрел остановил его, и медведь сначала клюнул головой в снег, но поднял заснеженную голову, утробно заревел и осел задом в снег, оскалив кровавую пасть, разрывал когтями свою рану, дёргался телом, но, видно, пуля повредила позвоночник – задние лапы не слушались. Петруша подскочил сбоку и молниеносно всадил нож по самую рукоять в горло зверю. Фонтан чёрной крови полоснул по белому снегу, окрашивая всё вокруг. Только зверь ещё был не повержен, в нём ещё была сила. Ларион никогда не смотрел на звериную агонию и сейчас попросил немтыря уйти и оставить зверя одного.

– Уходи! Нельзя на это смотреть! Пусть отойдёт в покое! Когда раненый зверь видит человека, дольше мучается. Немтырь послушно отошёл в сторону, вытирая нож о брюки.

– Не человек же, зверь...

– Есть люди, которые хуже зверей, Петруша. Да ты и сам знаешь! Мне ли тебе говорить об этом?..

Освежеванный зверь, разрубленный на большие куски, подмерзал, развешанный на соседние деревья. Немтырь снял на заимке праздную рубашу и сапоги, притащил лёгкие нарты, чтобы вывезти мясо. За эти несколько дней, как начал снова говорить, он изменился. В нём исчезла настороженность в отношении Лариона. Трудно было сказать, что он видел в нём хозяина, хотя объявил это во всеуслышанье, когда надевал крест Смолокура на шею Лариона. Он, скорее, становился самим собой, каким был, видимо, до встречи с Анисимом. Но, выдав себя за немтыря, он мастерски играл эту роль многие годы и так свyksя, что, уже когда и открылся при разговоре с Анисимом и Ларионом, снова начинал мычать и улюлюкать, опомнившись же, переводил свою речь на нормальный язык. Здоровый от природы, немтырь хватал огромные, схватившиеся на морозе, куски мяса и укладывал на нарты. Потом надел на себя ремённую шлею нарт и потянул в сторону заимки, позади шёл Ларион, помогая толкать рогатиной. Опасность от шатуна исчезла, оставалась опасность на самой заимке, но и она как-то сгладилась, после того как передал крест Анисим Лариону.

Утром следующего дня Анисим велел немтырю запрягать коней, и ещё солнце не встало над лесом, как Анисим с Петрушей выехал со двора. Зачем и куда поехали – Анисим не сказал, сказал только, что дня через три вернётся, а чтобы не

скучно было Лариону, пусть перевозит церковную утварь в часовню. Ларион так и сделал. Две ходки с нартами – невелик труд. Свалил всё в угол. Куда что вешать, не знал, да и не хотел. С ранних лет было у него странное чувство в церкви. Чувствовал угнетение. И в большие праздники, когда всей почти деревней люди ходили в церковь, старался убежать из дома до того, как мать с собой заставит идти. Отец, как помнит Ларион, тот тоже старался если не убежать, то дело какое найти неотложное. Помнит, мать повздыхает да одна пойдёт. Хотя другие ходили семьями. Но сказать, что были безбожниками, не скажешь. За стол садились – крестились, а молитву – так каждый читал по-своему, как понимает, когда читать и что читать. Можно ведь и не из Писания святого. Молитва – это когда от души. И сейчас он тоже молится... За Катерину, за мать... Пусть не в церкви, а чем лес хуже храма? Здесь лжи нет...

Солнце начало пригревать по-весеннему. Ларион присел возле часовни, оперевшись спиной о стену. Вот и ещё одна зима на исходе, подумалось вдруг, и скоро он уйдёт совсем из этих мест. Но почему-то уверенности не было, что покинет этот край. Может, и правда виновата эта земля? Держит. «А что его здесь держит?» – задал он себе вопрос. Это умопомешательство, которое он впервые ощутил здесь? Или золото, когда-то награбленное отцом? А может, золото и сумасшествие – одного поля ягоды, просто не признаётся в этом себе. Думаем, что мы вольны, а с золотом и тем более: богаты, и ни от кого не зависим, и с золотом никогда не будем ни под каким бы то ни было хозяином, потому как сами хозяева! Только правда ли это? Это не может быть правдой только потому, что не можем мы уйти отсюда. Ни с золотом, ни без него...

Вот сейчас немтырь уехал с Анисимом... Может, и не вернётся кто-то из них. Вдруг немой захочет счёты свести с попом? Или Анисим решит отомстить немтырю за то, что пригрел змею на груди. Но навряд ли: они столько лет уже вместе на этой заимке, что друг без друга не смогут, хотя немой вышел из-под власти батюшки. И уже нет у него страха перед ним, иначе бы не открылся и сейчас бы ходил, улюлюкал, словно дитя.

Обратная дорога показалась недолгой в размышлениях, только к определённому выводу так и не пришёл Ларион. Словно какая-то главная мысль или ответ, подобно выловленному только что налиму, в руках не удержать, – выскальзывает.

К вечеру следующего дня приехал немтырь с Анисимом. Что были у купца, Ларион сразу определил по гармонии, которую вытаскил из кошевы немой. И ещё... Видно, для того и ездил Анисим в село: привезли большой металлический крест на часовню. По черноте металла видно было, что только что изготовил его кузнец.

– Всё ли в порядке на заимке? – Анисим внимательно посмотрел на Ларьку. – Чужих не было?

– Да какой чёрт сюда пойдёт? Ехали – что, следы видели?

– Да следов не видели... Люди в деревне сказали, экспедиция ходит по лесу с звенками на оленях, будто от Подкаменной Тунгуски идут. Охотники говорят – видели.

– Да не время как-то сейчас золотишко искать: зима на дворе. Путают что-то охотники, дядя Анисим! Видал экспедиции ранее, всё больше по весне по рекам да ручьям уходили. А по шуге всегда обратно приплывали, кто живой, конечно, оставался. Люди были городские, грамотные, только в лесу мало что понимали, проводников всегда брали. Ещё мальчонкой проводником одно лето у них был. Три рубля заплатили, да ещё – дай им Бог здоровья! – ружьё и компас дали по воз-

вращении! Только вот компас не пригодился. Вроде и учил инженер, а непонятливым оказался я к той науке – блудил. Компас, он на зимовьё не выведет. Лучше уж по старинке: по солнышку да по памяти. А ты вроде как боишься? Чего так встревожился, дядька Анисим?

– Да у меня уже и возраст не тот, чтобы бояться, я уже и смерти-то не боюсь... У меня другая забота появилась. Узнают про святую землю...

– Так ты вроде и рад был, что узнают! К Богу, говорил, придут с осознанием греха. А теперь вроде как на попятную?

– Слышал, что немтырь говорил? Убивать начали...

– Так часовню, выходит, зря строили?

– Зря ничего не бывает! Бог дорогу указывает! Нам, смертным, этого не понять: для чего и почему нашу судьбу Он, как спираль, закручивает. Видно, есть на всё своя причина. Мы ведь только жалобиться можем да по каждому поводу сомневаться, тем самым себя в грех вводим.

Из избы послышалась игра гармонь, тягучая печальная музыка летела над заснеженной заимкой. Анисим остановился, вслушиваясь в напевы гармонь.

– Ну вот опять как будто и не было ничего: ни золота, ни убиенных... Ни земли святой. Только песни играть стал другие Петруша... Ранее-то играл залихватские, кабацкие, от которых ноги в пляс пускались... А сейчас слушаешь – плакать хочется. Ты не знаешь, отчего так, Ларя?..

– Мало ли отчего?... Может, душа у него страдает...

– А есть ли она у него?..

– Как не быть... Она внутри-то, может, краше нашей...

В избе стояла початая бутылка казёнки, а на лавке, опустив свою косматую голову на гармонь, играл и плакал Петруша. И вдруг с его губ вновь сорвалась песня, как тогда летом у купца:

*Ты коней моих отдай батюшке,
Передай поклон родной матушке.
А жене скажи...*

И голос Петруши сорвался, прервалась и музыка. Забулькал как-то странно, словно вновь стал притворяться немтырём, потом, не глядя, провёл широкой ладонью по столу, поймал бутылку и стал пить прямо из горла, стараясь, видимо, потушить вспыхнувшие воспоминания.

Как только появились первые проталины, Анисим стал уходить чуть не каждый день в часовню. Возвращался чуть ли не закатом, ел, смотрел в окно на кончающийся день и темнел лицом, словно день за окошком. Говорил мало, был весь в своих думах. На вопросы отвечал то невпопад, а то и просто отмалчивался. Когда же оставался на заимке, и был день солнечный, выходил на крыльцо, кутаясь в овчинный полушубок, садился на сухую кедровую чурку и смотрел вдаль на кромку леса.

Ларион подозревал, что батюшке нездоровится, только тот ни на что не жалился. Про таких, притихших, в деревне у Ларьки говорили: «С Богом разговаривает, а знать, за весенней водой уйдёт, так как чувствует смертушку. Это она ему покоя не даёт, заставляет всю свою жизнь, если в здравом уме, как через сито просеять да над каждым днём задуматься – а так ли жил?». Вот и у Анисима сейчас то же самое, страшное время суда над самим собой. А может, это время Богом

отпущено для покаяния человека здесь, на земле, а уж когда суд будет на небесах, там покаяние твоё не спросят. При жизни эта прихоть человеку даётся! А на небе чего уж каяться? Всё уже предопределено для человека на земле... Для тела тлен, а для души бессмертие, будь она светлой или тёмной – всё одно в бессмертии маяться, в аду ли, в раю...

Но для Анисима встал другой вопрос: рай и ад его сейчас не интересовали. Ради чего или кого он жил? И что нажил? Не находил ответа. Пустота в душе, пустота от прожитого... Золото? Да, есть у него золото, много золота, да только, как сказал Ларион, на заимке золото без надобности, а если есть от него какая-то польза, так только если им капусту в погребке придавить вместо камня... Тогда ради чего он свёл со света Смолокура? Распорядился ли золотом на пользу хотя бы на свою? Тоже нет. Лариона зверю хотел сравить, тоже из-за золота. А его-то за что? Золото заставило? Да нет... Скорее, сам от жадности, что жить-то ему недолго осталось, и кто-то другой воспользуется, а не он. От этого обидно на душе: сам-то ничего не смог. И всё из-за земли здешней, проклятой! Сейчас только стал понимать, что Смолокур хитрее его оказался! Рассказал, где на заимке хранится золото, и тем самым заставил его искать! Знал, варнак, чем для него закончатся эти поиски святой земли! Порфиша-то умнее его оказался: из того малого, что ему досталось до своей гибели – пожить успел! А он нет... Какая тут жизнь? Мытарства души и только... Не отпускает просто так эта земля, скорее, убивает ежечасно, убивает ожиданием... Потому как только и ждёшь своего лесного человека, который проведёт тебя в рай, может быть, надуманного блаженства, грёз об очищении души от прожитой праведной или неправедной жизни. И здесь все равны, потому как видят и ощущают по-своему.

Вот его, Анисима, всегда ведёт за собой его лесной человек, как будто хочет ему показать то, ради чего он здесь. И душа Анисима всегда трепещет от того, что он сейчас один из немногих смертных коснётся того, что не сможет никто, кроме него. Воочию увидит и услышит прощение своего греха. И увидит Того, кто простит ему его грехи и подскажет, что же делать ему дальше! Вот уже сколько лет он ждёт этого! Но пока всё напрасно... Его лесной человек каждый раз куда-то исчезает бесследно, растворяется в серебристом своём мареве, теряет очертания, превращаясь просто в туман, и нимб его тоже гаснет, только остаётся надежда, что в следующий раз он всё же увидит то, о чём внушает ему его лесной человек. И сейчас уже недолго осталось! Скоро вся земля отойдёт от зимы, покроется травой, и по траве вновь придёт лесной человек. За ним придёт! Да и всех поведёт! Только у каждого свой лесной человек, и каждый ведёт по своему пути: двух одинаковых путей не бывает...

Первый приход лесного человека определили кони. Взбунтовались привязанные к коновязи, рвались, приседая на задние ноги, стараясь порвать узды, и грызли своими жёлтыми зубами удила. Падали и бились, роняя на взбитую траву кровавую пену. Подскакивший Петруша не стал развязывать уздечки – он просто ножом отрезал привязь и дал коням волю. Ларион, наблюдавший откуда-то вдруг взявшийся страх коней на крыльце, еле успел посторониться, чтобы дать дорогу Анисиму. Тот, ни слова не говоря, снова в рясе и с золотым крестом на животе, который последнее время висел просто на стене после того, как заговоривший немтырь надел его на шею Лариону, выскочил из избы и бросился в лес в сторону поставленной недавно часовни.

– Куда это он? – спросил Петрушу. – Словно угорелый! Чуть с крыльца не смёл.

– Скоро и мы туда пойдём... Духом болото повеет – и бегом побежим. В этом и есть святая земля! Она зовёт... Только кони боятся её...

– Тогда какая уж она святая, коли кони боятся? Конь, он воду мутную даже пить не станет, траву поганую есть не будет – не корова, в чистоте живёт.

– Не знаю, Ларя... Только силу она имеет. Когда долго не бываешь там – болеешь, как после выпивки затяжной. По себе знаю: во всём теле ломота, а разум только о новом пришествии лесного человека думает. Всю зиму, Ларя...

– Что всю зиму? – непонимающе взглянул на немтыря. – Зимой ведь никуда вы не ходите.

– Думаем всю зиму... Ранее хуже было, оттого, видно, что лесной человек являлся часто, бывало и без ветра... Прямо сюда, на заимку, являлся. Страшные они...

– Кто страшные, Петруша?

– Люди, которые со святой земли приходят, все убиенные мной...

– Мёртвый, Петруша, вреда живому не делает – вреда ждать надо от живых.

– Делает, Ларя! Сумасшедшим делает!

– Блазнится всё это нам, как от белены или мухоморов! В детстве разве не пробовал?

– Пробовал...

Мухоморы он пробовал. Нет, грибы не ел, а отвар, когда болел. Бабка-знахарка лечила. Эта бабка и сама отвар тот пила, как заметил тогда Петруша, только ей всё бесы виделись, и его от бесов она спасала, как говорила. Глаза знахарки становились безумными, билась, словно в падучей с пеной на устах, и не молитву шептала свистяще, не заговор от какой ни то болезни, а слова незнакомые, бессвязно и хрипло. Боялись той знахарки люди, потому как ведьмой считали, только лечиться в ту пору было негде, а она лечила, плохо ли, хорошо – лечила. А ему, наоборот, от отвара весело становилось, и тело его было воздушным, и тогда он летать мог как птица... И летал. И вылечила она его. Перестал он ночами сонным ходить. А то было ведь чуть не погиб, когда ночью коня заседлал да без памяти ехать куда-то собрался. Ладно, отец его тогда спас – забил бы жеребец...

– А мне видится: зверь будто я... – не обращаясь к немтырю, произнёс Ларион. – Будто медведь...

– Может, оттого, что медведя бил?

– Не знаю. Только знаю: всё это видится – не на самом это деле. Будто во сне, потому как, когда в себя пришёл, лежал. И голову боль разламывала, как после браги, настоящей на табаке. Я не знаю, что там кроется, на святой земле, отчего там с человеком происходит забвенье, и почему вас всех туда потом манит. Только я больше туда не пойду. Не хочу! А ты иди, Петруша, иди... Вижу, что не терпится. Только как вот насчёт коней? Уйдут...

– Потом вернутся! Куда им идти?..

Анисим бежал по тропе к часовне, стараясь слезящимися глазами увидеть снова серебристую фигуру с серебряным нимбом. В глазах двоилось, и расплывались очертания деревьев. Старался рукой смахнуть не то слёзы, не то выступившую испарину. В лесу на какое-то мгновение потемнело, и откуда-то выползшая вдруг туча крылом птицы закрыла солнце, закрыло солнечный свет над недавно поставленной часовней и всей лесной поваленной плешиною. Слегка потянул ве-

терок. И вдруг впереди в дверном проёме часовни увидел то, чего ожидал, к чему бежал с колотящимся сердцем: серебристое отражение человека.

– Господи, не оставляй меня! – прокричал в запале. – Я иду, чтобы принять то, что уготовил ты мне...

И в верхушках деревьев, обрамляющих плешину, послышался шёпот, слышимый только ему, Анисиму:

– Службу служи! Сегодня откроются для тебя врата, в которые ты войдёшь...

Вбежал в часовню, залитую всю серебристым светом, и пал на колени перед иконостасом.

– Ты услышал меня, Господь! Я долго шёл к тебе человеческими тропами и сейчас созерцаю тебя в построенном для тебя храме. Как и Смолокур, я прошёл испытания, которые ты уготовил мне, и я видел убиенного мной. Я видел, как он воспарил к куполам, а знать, ты простил его. И теперь знаю: по твоей воле я лишил жизни варнака, а у ног твоих я рассыплю золото – то, что есть у меня!

И снова шёпот в воспалённом разуме:

– Золото... Богу не нужно золото! Богу нужна слеза раскаяния.

Поднял глаза, стараясь найти, откуда исходил к нему шёпот, но шёпот исходил со всех сторон, а над ликами святых качался серебристый нимб. Закружилась голова, и он увидел, как стал закручиваться серебристый свет и вот уже почти обрёл фигуру серебристого лесного человека, за которым ходил столько лет и никак не мог дойти. Ещё мгновение, и он сможет коснуться серебряного человека! И вдруг мысль пронзила его: это не лесной человек! Это и есть сам Бог! Сорвал с груди огромный золотой крест, вытянул вперёд, как бы прокладывая себе дорогу к Богу крестом, а крест вдруг вспыхнул голубоватым огнём, вспыхнула и цепь.словно порванное ожерелье, зазвенели и рассыпались звенья цепи, а впереди он увидел распахнутые серебряные врата. Последняя земная мысль дымом погасшей лампы мелькнула в памяти: «Вот и нет больше кандалов... Закончилась моя каторга...».

Ларион целый день ждал Петрушу и Анисима. Налетевшая первая гроза разразилась страшным грохотом. Молнии крестили небо, казалось, над самой заимкой, но налетевший шквалистый ветер угнал чёрно-синие тучи, и небо просветлело, наполнилось солнцем. От грозы остались лишь лужи с плавающими пузырями да поломанные ветви кедровника. И только под утро услышал, как на заимке заржали лошади. А когда рассвело, пришёл и Петруша. Молча сел на колоду у коновязи, и в окно Ларион видел, как уросливый жеребец сунулся ему в плечо, как бы жалея своего хозяина, стоял, не шелохнувшись, даже перестав помахивать хвостом.

– А где Анисим? – спросил, понимая вдруг, что что-то случилось. – Почему один?

– Грозой Анисима разбило... Нет его больше, – протянул Лариону крест с оплавленной цепью. – А это твой крест. Там же нашёл, в руке у Анисима был, по нему гроза прошла...

– Нет, Петруша! Не мой это крест – чужой... Но уж коли поднял чужой крест, так нести его надо... Ты его мне надел! Может, и без умысла, только мне нести его теперь... Не своей судьбой теперь жить.

Анисима похоронили в тот же день на задах заимки. Из часовни привёз его немтырь, соорудив волокушу. И на небольшой холмик Петруша вкопал деревянный крест, предназначенный сначала для часовни.

К 100-летию Галины Николаевой

«ХОЧУ ПИСАТЬ ДЛЯ ВАС...»

Не ситец жизнь. Её длиной не меряют.

Её берут как золото, на вес...

В победном 1945 году в наш город вернулась примерно половина из тех, кто ушел на фронт. Всего половина, но это были десятки тысяч нередко израненных, но еще относительно крепких мужчин и женщин. А в конце 2010 года список здравствующих (но вовсе не здоровых!) фронтовиков насчитывал 1089 человек, из них более ста — участники более поздних событий — Афганистан, Чечня, другие локальные конфликты. Тех, кто хлебнул лиха на фронтах Великой Отечественной, осталось менее тысячи. Немногом больше и нас, тружеников тыла, проживших и переживших войну. Но в нашем сознании вся прожитая жизнь озарена победными салютами, славой наших отцов и братьев, горечью поражений и потерь. И все, что делалось теми, кто помнит войну, так или иначе связано с ней — от восстановления народного хозяйства до создания произведений литературы и искусства. А для новых поколений Сталинградская и Курская битвы нередко такие же «плюскамперфекты», как Бородино и Плевна... И многие школьники, да и студенты с трудом вспоминают дату начала войны, и если о маршале Георгии Жукове еще кое-что слышали, то о рядовом Александре Матросове или о разведчице Зое Космодемьянской не знают ничего или почти ничего. Вот и имя нашей землячки Галины Николаевой, крупной советской писательницы, лауреата Сталинской премии, литературного кумира миллионов, сначала исчезло из школьных хрестоматий, а теперь, кажется, уходит и из людской памяти. А ведь 18 февраля 2011 года исполняется сто лет со дня её рождения в деревне Усманка Ишимского уезда Томской губернии. Может быть, нам, томичам, надо помнить о ней?

* * *

Каким-то чудом сохранился у меня потрепанный, скучновато-невыразительного цвета третий номер «Октября» за 1957 год. «Мартовская ночь», — начало романа Галины Николаевой «Битва в пути». В школе № 9, где я тогда работал, его передавали из рук в руки, а в учительской до хрипоты спорили, спорили не столько о романе, сколько о нашей жизни, о нас самих, о нашей довоенной и послевоенной судьбе и, конечно, о Сталине, умершем ровно четыре года назад.



Современный читатель не может представить себе очередей в библиотеках. Вообще нынешнему, как теперь говорят, россиянину не понять тогдашнего отношения публики к тогдашней литературе. И дело, конечно, не только в том, что телевидение, появившееся в Томске как раз в то время, еще не успело сериалами, боевиками и «Аншлагами» отучить людей от серьезного да и вообще от любого чтения. Однако в 1957 году в очередь за «Октябрем» с новым романом уже известной, но все-таки еще не очень знаменитой писательницы записывались даже те, кто и тогда-то почти ничего не читал. Новый роман хотели прочитать все! И далеко не случайно имя Николаевой и её произведения появились и довольно долго оставались в школьных учебниках литературы.

* * *

О чём, собственно, роман?

В марте 1953 года инженер Бахирев (кстати, в десятках зарубежных изданий, от французского до вьетнамского, роман так и называется – «Инженер Бахирев») с должности главного инженера любимого и дорогого ему танкового завода переведен на такую же должность в неведомый и изначально немилый тракторный завод (то ли на Сталинградский, введенный в строй еще в 1930 году, то ли на едва восстановленный после жестоких боев Харьковский, – других, кроме еще Челябинского, в СССР не было. Правда, трактора выпускал еще и ленинградский Кировский завод, освоивший производство «Фордзона», советского варианта американского трактора. Но до 30-х годов в России вообще не существовало тракторостроения). Завод, где работал Бахирев, всю войну бесперебойно выпускал танки Т-34. А на новом заводе перед началом посевной обнаружилось, что трактора выходят из строя из-за заводского брака – у двигателей вылетают противовесы шатунов, разрушая корпуса трактора. Мыслимое ли дело, чтобы подобное могло случиться на поле боя! А на совхозном или колхозном поле – может?

* * *

Маленькое отступление. *Германская промышленность пыталась создать аналог Т-34, используя в качестве образца наши танки, захваченные на поле боя. Не удалось! Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. А наши трактора ХТЗ, СТЗ, НАТИ, «Сталинец» и некоторые другие и до войны, и долгие годы после неё, оставались худшими в мире! И сегодня нередко можно услышать, что «советское» есть синоним недоброкачественного. А ведь дело обстоит далеко не так – было много плохого, но было и немало замечательного, иначе не была бы одержана Победа. Впрочем, эта диалектика доступна не всем. А я в годы войны работал именно на ХТЗ. Четыре таких слабосильных трактора (30 лошадиных сил, половина автомобиля «Жигули»!), управляемые четырьмя крепкими девушками и четырьмя мальчишками-школьниками, вкалывали круглые сутки, нам некогда было думать о недостатках наших тракторов – мы думали о другом.*

* * *

Завод вообще работает скверно, чему, кроме объективных причин, способствует устаревший стиль руководства, воплощенный в лице выдающегося руководителя, директора завода, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии Семена Вальгана. Именно Вальган и добился перевода к себе «сибирского тягачка», чувствуя необходимость перемен в производстве – война, требовавшая колоссального напряжения сил и командного подхода к

производству, окончилась Великой Победой, но битва за счастье народа окончиться не может!

Конфликт, возникший между Бахиревым и Вальганом, между новым и старым, захватывает весь коллектив. Поняв, что первопричина провалов – примитивная организация работы чугунно-литейного цеха и попустительство со стороны отдела технического контроля, новый главный инженер решительно перестраивает работу завода. Это, естественно, поначалу приводит и к срыву плана, и к уменьшению зарплаты, и к исчезновению мечты руководства о новой Сталинской премии за усовершенствованный, пусть и плохой, трактор. Бахирева поддерживает – правда, не сразу – партком, на его стороне передовые рабочие и, главное, его единомышленница, очаровательная Тина Карамыш, инженер-технолог, в которую – должна же и в романе о тракторах присутствовать любовь! – влюбляется кристально-моральный Бахирев, отец троих детей, всю жизнь верный своей Кате. Но все производственные и любовные проблемы разрешаются благополучно. Вальгана увольняют, Бахирева назначают директором завода, он возвращается из завешенной коврами пыльной хибары – места тайных встреч с любимой женщиной – в свой семейный дом, Тина уезжает в другой город, с конвейера сходят новые прекрасные трактора.

Я немного иронизирую. Таких романов тогда писалось немало, они пользовались успехом, ибо отражали реальную жизнь народа и его интересы, они отвечали социальному заказу и соответствовали принципам социалистического реализма. Таковы еще довоенные «Цемент» и «Энергия» Федора Гладкова, «Большой конвейер» Якова Ильина, послевоенные «Сталь и шлак» Владимира Попова, «Донбасс» Бориса Горбатова, «Новый профиль» Александра Бека, «Братья Ершовы» Всеволода Кочетова и десятки других произведений, ныне не только никем не читаемых, но и забытых всеми, кроме разве специалистов по истории литературы.

Это были романы своего времени, их в свое время и читали. Над ними слегка подшучивали. Конечно, они не могли иметь долгой жизни, хотя им нередко присуждались Сталинские премии. А некоторые критики вообще не давали «производственным» романам права именоваться художественной литературой. Впрочем, эти сочинения были все-таки лучше нынешних творений о ментах, бандитах, проститутках, крутых бизнесменах и олигархах. Но «Битва в пути» не была обычным производственным романом, она резко выделялась из общего ряда, и здесь необходимо еще одно отступление.

* * *

Вскоре после смерти Сталина вышла повесть «Оттепель» И.Г. Эренбурга, писателя невероятно популярного еще с 1922 года, когда появился роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито». В годы Великой Отечественной, находясь на фронте в качестве корреспондента «Правды» и «Красной звезды», Эренбург написал около трех тысяч (!) антифашистских статей, любимых и солдатами в окопах, и всем народом в тылу. За это он «удостоился чести» быть объявленным «личным врагом фюрера». Замечу, что в числе таковых был замечательный диктор Юрий Левитан, а в конце войны еще и легендарный подводник Александр Маринеско. Многозначительно, что за одну из статей Эренбургу попало в родной «Правде». Илья Григорьевич призывал убить немца, газета подчеркнула, что не немца, а фашиста. За спиной критика-правдиста просматривалась фигура вождя с его знаменитой фразой: «... гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается».

*Эренбурга – беспартийного публициста, да еще и еврея, дважды лауреата Сталинской премии (за «Падение Парижа» в 1942 году и «Бурю» в 1948-м), лауреата Международной Ленинской премии мира, депутата Верховного Совета СССР, кавалера ордена Ленина и многих других наград – читающий народ, особенно интеллигенция, уважал искренне и верил ему безоговорочно. Не случайно название повести, первой попытки в художественной форме отобразить то, что XX съезд КПСС объявил «культом личности», стало названием целого периода нашей истории. «Оттепель» прочитали все. Но все-таки не она, а «Битва в пути» оказалась знаком нового в литературе, именно ее поняли и приняли все наши люди – Николаева написала истинно **народный** роман, роман о боли всего советского народа, а не только его элиты.*

Моих современников, конечно, интересовали производственные коллизии «Битвы в пути», но главным в то время было другое. До Николаевой никто еще не решался открыто написать о похоронах вождя (именно о похоронах, на которые случайно попали Бахирев и Вальган, откровенно рассказано в первой главе романа). А уж давать жесткие оценки нелепому аресту старого человека, обвиненного в космополитизме? Или спорить по поводу того, что сын снял со стены портрет арестованного отца? Ох, как был знаком многим из нас обмен репликами между Юрой и Тиной, возмущенной его поступком:

– Вы – трус.

– Тина! Чего вы хотите? Смерть меня не пугает, вы знаете, на войне мы не были трусами! Погибнуть во имя народа – хоть сейчас! Но погибнуть как враг народа? Чего вы хотите от нас?

В романе обсуждалась та тема, которую до Эренбурга и Николаевой обсуждали только на кухнях, а не в печати. Однако сказать о ней убедительно и громко, сказать об этом на всю страну, сказать нам, современникам и участникам событий, – первой решилась лишь Николаева. И для этого нужны были не только смелость и талант, но еще и свой горький опыт. Мы, разумеется, не знали об этом опыте, но именно личное, пережитое, прочитывалось в самых острых страницах романа.

Публика сразу и безоговорочно приняла роман. Критика же отнеслась к журнальному варианту довольно сдержанно, почти никто не уловил в романе глубокого социально-политического и философского смысла, почти никто не понял, что роман опережает время. Вышедшее вскоре отдельное издание существенно отличалось от журнального варианта и вызвало бурные споры, но теперь в них преобладали положительные оценки. А созданный на основе романа фильм вызвал восторженные отзывы официальной критики. Не случайно его выход на экран приурочили к XXII съезду КПСС, тому самому съезду, после которого по предложению ленинградской делегации тело Сталина вынесли из Мавзолея. Конечно, успеху фильма, поставленного Владимиром Басовым по сценарию самой Галины Евгеньевны и её мужа, известного журналиста, Максима Владимировича Сагаловича (1914–1997), способствовала игра великолепных актеров, прежде всего – Натальи Фатеевой, Михаила Названова и, разумеется, Михаила Ульянова. О работе над ролью Бахирева, о встречах с Галиной Николаевой и о ней самой Михаил Александрович позднее тепло написал в книге «Моя профессия». По-настоящему хорошую музыку к фильму создал Вениамин Баснер, а песня-марш на слова Михаила Матусовского («...руки рабочих, вы даете движение планете...») была в те годы необычайно популярна, особенно в самодеятельных хоровых коллективах.

Впрочем, нельзя не заметить, что это был уже не 1959 год, — люди многое поняли, сенсационность темы существенно ослабла, зрителей, пожалуй, стали больше интересовать нюансы отношений Бахирева и Тины, нежели ставшие менее острыми проблемы жизни народа в сталинскую эпоху. И если вообще допустимы, так сказать, межжанровые сравнения, то можно сказать определенно: фильм, хотя и вызвал восторженные отзывы делегатов партийного съезда, простые зрители приняли сдержанно, он оказался слабее романа, да и время ушло. Не случайно, будучи несомненным шедевром кино шестидесятых годов, собрав в те годы 75 миллионов зрителей, он не удостоился сколько-нибудь серьезных премий (кажется, была лишь одна, на скромном Пражском фестивале). А сегодня уже и роман исчез из списка рекомендуемых для старшеклассников произведений. По-моему, зря. Правда, исчезла не одна лишь «Битва в пути», но и многое другое, но это уже особая тема. Впрочем, фильм иногда все же демонстрируют на телевидении, и смотрится он с интересом не одним только старшим поколением, молодёжь же отзывается о нем едва ли не так же, как мы в свое время о романе.

Роман был не только экранизирован, но и инсценирован (Эдвард Радзинский). Спектакль с большим успехом шел на сцене многих театров, включая МХАТ, театр им. Моссовета, Ленинградский театр имени А.С. Пушкина, многочисленные провинциальные театры.

«Битву в пути» перевели на десятки иностранных языков — от испанского и английского до китайского и вьетнамского. Известность, слава, популярность Галины Николаевой стали совершенно невероятными.

А она, тяжело больная, на многое обиженная, обладавшая очень нелегким характером, легко находившая общий язык с рабочими и колхозниками, учеными и инженерами, но не переносившая многих своих коллег по писательскому цеху, медленно угасала. Никакие курорты, включая французские и итальянские, никакие медицинские светила не могли вылечить слабое больное сердце этой мужественной и сильной женщины. И так уж сложилась ее судьба, что «Битва в пути» стала не только важнейшим, но и последним крупным ее произведением. Ни продолжения «Битвы в пути» (рабочее название — «Директор завода»; одна, прямо скажем, не очень удачная глава была опубликована «Литературной газетой»), ни романа о физиках-ядерщиках («Сильное взаимодействие» — отрывки печатались в разных журналах, в том числе в свое время популярном «Наука и жизнь») она написать не успела. Немногочисленные поэтические произведения последних лет, «Рассказы бабки Василисы про чудеса» (Вл. Монахов в 1967 году поставил фильм «Про чудеса человеческие», но фильм не удался, несмотря на участие Нины Дробышевой, Тамары Семиной, Виталия Коняева, Ивана Лапикова, Михаила Зимина, незадолго до этого сыгравшего Бахирева в спектакле МХАТа «Битва в пути») и даже великолепный лирико-социальный дневник «Наш сад», хотя и интересны сами по себе, но все-таки послевоенную советскую литературу представить без них можно. А вот без «Битвы в пути» нельзя представить не только советскую литературу, но и, пожалуй, вообще жизнь советского народа в первое десятилетие после смерти Сталина.

И хотя не следует утверждать, что Николаева останется в литературе как автор одной книги, все-таки вся ее жизнь — путь к ней, путь к «Битве».

* * *

А жизнь её была очень негладкой. Она родилась в семье учительницы, Мелитины Венедиктовны Волянской, урожденной Барановой, и юриста Евгения Ивановича Волянского. В 1927 году окончила школу в Новосибирске, пыталась, но неудачно, поступить на медицинский факультет Томского университета, по-

ступила в Омский мединститут, но потом перевелась в Нижний Новгород в связи с назначением мужа, А.Г. Портнова, партийного работника, руководителем Нижегородского городского планового отдела. Несколько страниц журнального варианта «Битвы в пути», посвященных судьбе первого мужа Тины Карамыш (кстати, бабушка Галины по отцу происходит из старинного дворянского рода Карамышевых), несомненно, навеяны трагической судьбой Александра Григорьевича. Но показанная в романе картина в шестидесятые годы воспринималась как слишком уж мрачная. Критики набросились на Николаеву – она, к сожалению, уступила, и в окончательном варианте романа враг народа – муж – превратился во врага народа – отца, что вызвало немало ядовитых стрел, пущенных в автора. Критики не знали, что автор в действительности пережила и потерю отца, и потерю мужа, и тут ей не надо было ничего придумывать.

* * *

Еще одно небольшое отступление. *Как педагог, я мало верю в определяющую роль наследственности в судьбе человека, отдавая предпочтение семейному, школьному, общественному воспитанию. И все-таки... Брак Мелитины и Евгения, увы, нельзя назвать удачным, хотя не мое дело рассуждать о причинах некоторой несовместимости этих прекрасных людей. Но вот о чем я неоднократно задумывался. Евгений – рафинированный интеллигент, дворянин с родословной, восходящей с материнской стороны к семье екатерининского вельможи Григория Потемкина, а с отцовской – к старинному, но предельно обедневшему польскому дворянскому роду Волянских (кстати, ссыльным польским революционером, как об этом иногда пишут, он не был). Мелитина, – потомственная сибирячка, среди родных которой и среднесостоятельные купцы, вроде Макария Трофимовича Самохвалова (томичи знают принадлежавшее ему здание гостиницы у Каменного моста, ныне занимаемое Институтом курортологии), и золотоискатели, и простые рабочие. Супруги относились к совершенно разным слоям тогдашнего общества. Может быть, это несоответствие, эта противоположность биографий родителей и послужили источником яркой вспышки таланта Галины? Или меня клонит в мистику?*

* * *

А самой Галине в личной жизни тоже не очень везло. Незадолго до ареста Александра она ушла от него (разумеется, Анна З., в доме которой Александр был арестован, написала мне, что это Саша ушел к ней от Галины). Так или иначе, но они расстались, и в биографических материалах о писательнице имя Портнова не упоминается, как и Галина не упоминается в уголовном деле Александра Портнова. Галине Евгеньевне, как это ни кощунственно звучит, «повезло» – она оказалась лишь дочерью, а не женой «врага народа». А как всем известно, *сын* (в данном случае – дочь) *за отца не отвечает*. Жену же могли назвать членом семьи изменника Родины со всеми вытекающими отсюда последствиями, так, кстати сказать, и случилось с Анной З. Во всяком случае, писательницы Николаевой мы бы не имели.

Не могу не заметить, что в первые годы после смерти Сталина процесс реабилитации шел очень медленно. В соответствии с законом все незаконные «дела» тщательно проверялись, требовались ходатайства заинтересованных лиц, и, хоть это ничего не меняет, горжусь тем, что по отношению к А.Г. Портнову таким лицом стал я.

Второго мужа Галины, инженера-строителя, звали Николаем, именно отсюда иногда производят ее псевдоним. Николаева, а не чья-нибудь! Есть и более романтичный вариант. Её тетушка рассказала мне, разумеется, со ссылкой на саму Галину Евгеньевну, что перевод врача Волянской на работу в Нальчик связан с назначением на Северный Кавказ влюбившегося в нее ещё в Горьком сотрудника НКВД Николаева. И вдруг чекист Николаев куда-то исчез! Потом оказалось, что его перевели на Западную Украину, где он погиб от рук бандеровцев. Галина об этом переводе, естественно, не знала, и стихи, посланные в журнал «Знамя» в декабре 1944 года, подписала «Николаева», надеясь, что он, по известным им обоим строкам, догадается, что она его помнит, и отыщет её. Итальянцы в подобных случаях говорят: *se non e vero, e ben trovato* (если и неверно, то хорошо придумано).

С этими стихами связано и немало других легенд. Не совсем легендой, а документально подтвержденными фактами являются посланные ею в редакцию «Знамени» ученическая тетрадка с написанными от руки стихотворениями и последующее письмо в «Литературную газету» с указанием в адресе: «Николаю Тихонову (если он жив)». Несколько странная приписка в те годы никого не могла удивить. Николай Семенович Тихонов, писатель и общественный деятель, почти всю войну находился в осажденном Ленинграде – все могло случиться, и его слова в ответном письме «а я, как видите, жив» вполне соответствовали духу времени. Но в декабре Тихонов был на 1-м Белорусском фронте — николаевскую тетрадочку вовремя не увидел, а по приезде ему не показали её. В этом тоже нет ничего удивительного – Нина Израилевна Кадонер, литературный сотрудник «Знамени», рассказывала мне, что в конце войны стихи с фронта поступали в редакцию буквально мешками. Однако Тихонов почувствовал неординарность автора и потребовал найти присланное. 11 января 1945 года в присутствии главного редактора журнала Всеволода Вишневского, его заместителя Анатолия Тарасенкова, поэта Константина Симонова и других членов редколлегии Тихонов прочитал стихи, в которых «живет та поэзия, которая так нужна сейчас, поэзия, откровенно говорящая о главном, о чувствах, которым свойственна высокая человечность, предельная искренность и страстность». Стихи Николаевой решили печатать, но сама Николаева – типичный для нее штрих! – не указала в письме своего обратного адреса, попросив отвечать «до востребования». А на почту идти боялась – вдруг ответ будет отрицательным! И тут неожиданный вызов в Управление внутренних дел Кабардино-Балкарии. Думаю, и сегодня наши граждане не очень радуются, получив приглашение «туда». А тогда? Да еще и дочь врага народа! Но оказалось, что это Вишневский, зная, что быстрее всех в СССР работают именно сотрудники «органов», позвонил в Нальчик начальнику УВД Республики. И тот не только нашел неведомую Николаеву-Волянскую, но и помог ей выехать в Москву. Надо ли пояснять, что в январе 1945 года прийти на вокзал, купить билет и поехать в столицу было совсем не просто!

Во втором номере «Знамени» были напечатаны девятнадцать ее стихотворений, в четвертом – еще десять, в том числе, может быть, не самое лучшее, но одно из самых известных. Оно, по-моему, очень многое объясняет.

Для вас, закрывших Родину телами,
Смотревших в смерть, не опуская глаз,
Правдивыми, горячими словами
Учусь писать.
Хочу писать для вас.

В час отступленья, боли и печали
Ряды редели, падали друзья.
Погибшие мне голос завещали,
Чтоб с вами им заговорила я.

Это были не первые ее произведения. Еще в 1939 году «Горьковская правда» опубликовала несколько стихотворений (благодарил публикацию сотрудник газеты, преподаватель Горьковского пединститута Б.С. Рюриков¹, впоследствии – известный литератор, главный редактор журнала «Иностранная литература»). Борис Сергеевич очень гордился тем, что первым заметил зарождающийся талант поэтессы, но всё же столь яркого литературного будущего аспирантки кафедры фармакологии Галины Волянской он не ожидал, считая, что эти стихи все-таки вполне рядовые, а о прозе в предвоенные годы вообще разговора не было. Газетные стихи, наверное, так и остались бы «творчеством для себя», если бы не война. К сожалению, в памяти читателей Николаева как поэтессы почти не сохранилась. Видимо, дело в том, что ее проза ошеломяла, а стихи были все-таки просто прекрасными стихами, каких в России всегда много. Мне в связи с этим припоминаются слова Евгения Евтушенко. Вернувшись из поездки в Америку (он при советской власти бывал там наездами, а не жил постоянно), поэт, будучи в редакции нашего «Красного знамени», заметил, что в США легко можно назвать двадцать прозаиков, против которых мы с трудом выставим даже одного. Зато мы легко назовем двадцать поэтов, против которых американцам вообще некого будет поставить. Имена названы не были, но в те годы «одним прозаиком», конечно, оказалась бы Галина Николаева. Но она была и одним из двадцати поэтов...

* * *

Попытка Галины Волянской стать фронтовым врачом успеха не имела из-за тяжелого порока сердца, того, из-за которого она так рано (18 октября 1963 года) ушла из жизни. Но в июле 1942 года ей все-таки удалось добиться назначения врачом-ординатором на плавучий госпиталь «Композитор Бородин», доставлявший раненых из Сталинграда в Горький. Судно выполнило восемь рейсов, во время восьмого фашистские летчики разбомбили и сожгли пароход. К счастью, накануне этого рейса, контуженная при предыдущей бомбежке, Галина Евгеньевна была списана на берег, но судьбу судна, судьбу своих товарищей и подруг она знала хорошо. «Гибель командарма» – рассказ, основанный на этих событиях – опубликован «Знаменем» в ноябре 1945 года, он и поныне остается одним из лучших рассказов о человеке на войне.

Серьезный успех первых стихотворений и рассказа окрылил автора, но три послевоенных года оказались для нее невероятно тяжелыми. Ординатор Волянская уже не хотела, да и не могла быть врачом, а писателя Николаеву преследовали неудачи. И вдруг... (совсем не вдруг!) редакция «Знамени» командировала Николаеву в северные районы Горьковской области. Результат – очерк «Колхоз «Трактор»», опубликованный в мартовском номере журнала за 1948 год. Дальнейшее похоже на красивую легенду, но слишком уж многое позволяет считать ее правдой.

...Известно, что Сталин прекрасно понимал роль идеологической составляющей в жизни страны и внимательно следил за литературным процессом. Во

¹ – Все-таки мир поразительно тесен. С известным дипломатом, ныне послом России в Дании, Дмитрием Борисовичем Рюриковым, его сыном, мне довелось в начале 80-х годов встречаться в Кабуле, где он работал в посольстве СССР.

всяком случае, все так называемые «толстые» журналы он просматривал обычно еще до выхода в свет. И вот, на гранках николаевского очерка появляется резолюция: «Тов. Пospelов! Вот так надо писать о советских колхозах!». Петр Николаевич Пospelов, тогдашний редактор «Правды», отреагировал очень просто, перепечатав очерк в трех номерах газеты (31 марта, 1 и 2 апреля). Случай беспрецедентный, ибо существует общепринятая схема: сначала газета, затем журнал, а не наоборот. А тут еще и отдельной брошюрой издали! «Тройная» публикация принесла бедствующей в материальном отношении Галине Евгеньевне приличные гонорары, хотя, конечно, «не в деньгах счастье». Николаева нашла свою тему, и вскоре появилась «Жатва» – роман, принесший ей всесоюзную известность и Сталинскую премию 1951 года. Уже в 1952 году выдающийся наш режиссер Всеволод Пудовкин поставил по роману последний в его творчестве фильм «Возвращение Василия Бортникова» (сценарий Г. Николаевой и Е. Габриловича, в числе исполнителей Наталья Медведева, Анатолий Чемодуров, Сергей Столяров, Клара Лучко, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Всеволод Санаев). На международном фестивале 1953 года в Риме фильм был удостоен премии «Золотой колос».

А после ее поездки на целину «Знамя» напечатало «Повесть о директоре МТС и главном агрономе», самое любимое мною произведение из тех, что создала наша землячка (в 1959 году по этой повести был снят нежный и добрый фильм «В степной тиши», сценарий она написала вместе с М. Сагаловичем). Но главное – Галина Николаева, никогда не бывшая членом партии, почувствовала поддержку «сверху». Сегодня можно саркастически улыбаться по этому поводу, но Николаева была абсолютно искренней, когда в день похорон Сталина писала матери о том, что она, к сожалению, ни разу лично не встречалась с Иосифом Виссарионовичем, но знает о том, как он в свое время помог ей, и очень сожалеет, что так и не успела поблагодарить его за это.

* * *

Но пора уже сказать несколько слов о том, с какой стати я, профессиональный педагог-математик, оказался исследователем жизни и творчества Галины Николаевой.

...В шестидесятых годах среди учителей математики и методистов-математиков была популярна такая шутка. Во время приемных экзаменов на мехмат МГУ некий профессор (называли разные имена, чаще всего — заместителя министра просвещения РСФСР, члена-корреспондента АН СССР А.И. Маркушевича) предложил абитуриентке назвать имена крупнейших древнегреческих математиков. Ответ последовал мгновенно: «Пифагор, Архимед, Бладис». Говорят, что эту историю придумал то ли сам Алексей Иванович (зная его, могу в это поверить), то ли друг Бладиса, большой остроумец, член-корреспондент АПН СССР Иван Козьмич Андронов, то ли сам В.М. Бладис.

С Бладиса, выдающегося ученого, – не только составителя известных таблиц, но и автора первого советского учебника методики математики, – все и началось. Весной 1965 года он попросил меня принять участие в деле увековечения памяти писательницы на ее родине. Наверное, имею право сказать, что просьба Владимира Модестовича выполнена – двумя изданиями вышла книга «Путь к «Битве...». Страницы жизни Галины Николаевой», на родине писательницы построен клуб и создан музей ее имени, установлен небольшой памятник (автор – замечательный томский скульптор Леонид Майоров), имя Николаевой присвоено школе №15 нашего города, а число выступлений о нашей землячке перед школьниками, студентами, рабочими, крестьянами давно перевалило за сотню.

Недруги, да и кое-кто из друзей, иногда упрекают меня за эту работу. «Надо было не литературой заниматься, а диссертацию писать, – было бы в Томске не 298, а 299 лиц, перед фамилиями которых стоит великолепное д-р таких-то наук!» (Пьеса сербского классика Бранислава Нушича так и называется: «Д-р», – там речь как раз идет о необходимости этой аббревиатуры перед именем более или менее значительного лица².) Быть может, они и правы, однако, как поется в старинном романсе, «но я ничуть об этом не жалею». Более того, давно сказано, что трудно найти более интересное дело, чем слежение за жизнью и творчеством выдающегося человека. А с какими прекрасными людьми мне удалось встречаться и беседовать во время этих поисков! В их числе не только всем известные писатели, начиная с Константина Симонова и Маргариты Алигер, не только множество артистов, начиная с Михаила Ульянова и Риммы Быковой, не только общественные деятели, ученые-медики и ученые-физики, но и так называемые «простые» люди – учителя, врачи, рабочие, колхозники. Благодарю судьбу за счастье и радость, о которых Антуан Сент-Экзюпери говорил: роскошь человеческого общения!

Правда, не будучи ни профессиональным литератором, ни образованным историком, я все поиски вел не только не «по науке», но часто совершенно вопреки ей. Зато, повторяю, было интересно. И спасибо судьбе, что она подарила такую удачу – возможность прикоснуться к хорошей, настоящей литературе, настоящей судьбе, настоящим людям.

Но при чем здесь профессор Брадис? Профессор, действительно, ни при чем, а вот гимназист Володя, сын известного псковского учителя Модеста Васильевича Брадиса, очень даже при чем. В 1905 году он познакомился с гимназисткой Милой Барановой, недавно приехавшей к родственникам из Сибири. Гордый своей дружбой с юной красавицей, он познакомил ее со своим приятелем, тоже гимназистом, Женей Волянским. Опытные люди знают, что этого ни в коем случае делать нельзя, ибо, как писал О. Генри, возникает треугольник, в котором гипотенуза последней узнает, что она в нем самая длинная сторона. Возможно, Володя и не оказался бы этой самой гипотенузой, но в лирическую геометрию вмешались высшие силы. ...Однажды коляску, в которой ехал гостивший у родных во Пскове начальник знаменитой Акатуйской тюрьмы, остановили два молодых человека. Один схватил под уздцы лошадь, второй дважды в упор выстрелил в ездока. Убийца мстил за своего отца – забитого в этой тюрьме на смерть уголовника-нарымчанина. Но жандармерия с подачи провокатора Еремина пришла к делу политику и в течение недели арестовала почти всю боевую организацию эсеров. Вновь созданный подпольный комитет вынес Еремину смертный приговор и поручил его исполнение гимназистам, братьям Фалевичам. Покушение не удалось, но многие юные эсеры, в том числе В. Брадис и Е. Волянский, попали в тюрьму.

А незадолго до ареста Евгений признался Миле в любви. Дальнейшие подробности, наверное, не нужны. В 1910 году Мила, к тому времени учительствовавшая в Усманке, приехала в Ишим (Тобольской губернии), чтобы обвенчаться с ссыльным Евгением Волянским. Евгений, отбыв ссылку, в 1918 году окончил юридический факультет Томского университета. Был судьей в Томске и Новосибирске, читал лекции по гражданскому праву. В 1937 году его арестовали, в 1956-м – реабилитировали посмертно вместе с группой сибирских юристов за отсутствием состава преступления. К моменту ареста Евгений и Мелитина разъехались, дочь почти не поддерживала связи с отцом. Горько писать об этом,

² – Театр имени Вахтангова поставил великолепный спектакль по этой пьесе, с И. Муравьевой, В. Этушем, Л. Ахеедаковой, И. Дыховичным и другими великолепными артистами, снятый на видео. Посмотрите, есть над чем не только посмеяться, но и задуматься.

но Галина Евгеньевна так и не узнала о восстановлении его честного имени, а Мелитина Венедиктовна лишь от меня узнала об этом. Никогда не забуду слез этой старенькой учительницы, когда она, в подмосковном интернате для престарелых, читала привезенные мной документы о ее Жене. И меня обижает, когда сегодня читаю в некоторых статьях о том, сколь нехорош был характер этой женщины, сколько неприятностей она доставляла тем, кто её окружал. Наше ли дело писать об этом, да и кто знает, что там правда, а что – вымыслы врагов, которых у Николаевой было немало...

А профессор В.М. Брадис уже после войны отыскал свою первую любовь, и мне выпало счастье читать некоторые их письма друг другу. «Дорогая Аленушка...», «Милый Володечка...». В сердцах и душах этих двух, очень уже немолодых людей, сохранились добро и нежность удивительной высоты, которую, увы, не так уж часто встретишь, но которая позволяет верить в смысл человеческой жизни...

* * *

Признание принесли Галине Николаевой стихи, триумф — проза. А известность продолжалась всего восемнадцать из отведенных ей судьбой недолгих пятидесяти двух лет...

В 1955 году критика очень резко отозвалась о новом небольшом цикле стихов Николаевой, опубликованных «Знаменем». Болезненно самолюбивая поэтесса больше не печатала поэтических произведений, да и вообще широкому читателю она мало известна с этой стороны. Но, рассказывая о ее жизни и творчестве, почти всегда читаю строки, прямо к ней относящиеся:

*Порой твердят, тоскуя о потере:
«Как мало жил! Как рано он исчез!».
Не ситец жизнь. Её длиной не меряют,
Её берут, как золото, — на вес.*

* * *

Так почему все-таки нам, гражданам сегодняшней России, нам, томичам, надо помнить нашу землячку Галину Николаеву-Волянскую? Вижу много причин для этого, и дело вовсе не только в собственной увлеченности этим человеком, и даже не в том, что золото николаевской прозы и серебро её поэзии и публицистики очень много весят.

Наши руководство, от Президента и партийных вождей до чиновников любого ранга, депутатов всех уровней, вузовских и школьных педагогов, деятелей современной литературы и искусства, очень много, красиво и убедительно говорят о патриотическом воспитании. Некоторые при этом забыли, как они всего пятнадцать лет назад восторженно повторяли друг за другом, что «патриотизм есть последнее прибежище негодяев»³. Так вот, в воспитании патриотического чувства важнейшая составляющая есть та любовь к родному пепелищу и отеческим гробам, о которой писал еще Пушкин. Разумеется, с ним никто, вообще говоря, не спорит. Вообще говоря. А в частности — из книги этой любви исключаются целые главы. Именно это сегодня делается по отношению к мощному пласту отечественной культуры, к огромному периоду нашей литературы, называемому советским.

³ — Иногда эту мысль приписывают английскому автору морально-дидактических эссе Сэмюэлу Джонсону (1709 – 1784), действительно писавшему: «Общественный цемент, связывающий людей в честное, дружное общество — патриотическое чувство, которое последним гибнет даже в злодее». Не одно и то же?

Впрочем, нельзя сказать, что Николаева вообще забыта. Время от времени её имя вновь появляется в печати, последняя из известных мне публикаций появилась совсем недавно, 29 декабря 2010 года в «Медицинской газете». А незадолго до этого «Литературная Россия» опубликовала обстоятельную статью одного из своих ведущих авторов о её творчестве. Из этих и других материалов я не без удивления и удовольствия узнал много нового. Оказывается, отец её – польский шляхтич, боровшийся за свободу Польши и за это сосланный в Сибирь, мать – дворянка, родилась Галина в Кемеровской области, в деревне, где ныне ей открыт памятник «от благодарных земляков», что она была на фронте в Смоленской области в составе аптечно-фармацевтического отряда, что в фильме «Возвращение Василия Бортникова» главные роли сыграли Михаил Ульянов и Наталья Фатеева. Почему не без удивления? Да ведь как не удивиться, если все её основные биографические данные опубликованы не только в случайных заметках, но и в солидных изданиях, вплоть до энциклопедий и справочников, а современные авторы ничего этого не знают! Почему с удовольствием? Так ведь легенды слагают лишь о ярких людях, значит, я не ошибаюсь в оценке писательницы, изучению жизни и пропаганде творчества которой посвятил немало сил и времени.

Более того, что бы ни писали современные авторы о творчестве Николаевой, а без восторженных эпитетов они не обходятся. «Талантливо»..., «Вершина социалистического реализма»..., «Искренность чувств»... И даже «... её жизнь – это один из ярких образцов служения Отчизне, ныне, к сожалению, почти забытый. А зря». А в названии одной из недавних статей, посвященных Галине Евгеньевне, я увидел одну из причин забвения прошлого частью нашего общества. Статья, посвященная, в основном, анализу «Битвы в пути», названа «Проигранная битва». Вот он, главный секрет. Битва в пути... В пути каком и куда? Я всегда полагал, что в пути человечества к счастью, именно это и имела в виду Галина Николаева. Некоторые думают, что речь идет лишь о битве за построение коммунистического общества в СССР, и поскольку у нас эта битва в конце XX века проиграна, то и вспоминать об этом нечего. А ведь об этой битве писали и Максим Горький, и Владимир Маяковский, и Михаил Шолохов, и Алексей Толстой, и Леонид Леонов, и Константин Федин, и Александр Фадеев, и Николай Тихонов, и Александр Твардовский, и Константин Симонов, и сотни других писателей и поэтов, в их числе свое место занимала и Галина Евгеньевна Николаева, верившая, как и они, в светлое будущее. Но их битву можно считать проигранной, значит, и вспоминать их не надо, есть немало талантливых людей, начиная от лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина и до лауреатов такой же премии Бориса Пастернака, Александра Солженицына, Иосифа Бродского, занимавшими вместе с сотнями других иную жизненную и литературную позицию. Вовсе не собираюсь воспевать одних и проклинать других. Но пути литературы и путь человечества состоят не из одних триумфов, победных салютов и гимнов. Незадолго до роковой дуэли Александр Сергеевич Пушкин написал: «Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечества, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». А это значит, что я должен, гордясь победой предков на Куликовом поле, с болью, но без стыда вспоминать и о страшном поражении русских князей на реке Калке, с наслаждением перечитывая «Полтаву», не забывать и о разгроме Петра шведами под Нарвой, восхищаясь подвигом «Варяга», помнить и о позоре Цусимы, и уж, тем более, гордясь величайшей нашей Победой над фашизмом в 1945 году, помнить о миллионах советских людей, загубленных летом 1941-го. Нельзя забывать ничего и никого, ни в истории, ни в жизни, ни в литературе... Тем более нельзя забывать тех, кто прославил нашу землю. В их числе – Галина Николаева.

Лев Пичурин

К 100-летию
Геorgia МАРКОВА

**ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
ПИСАТЕЛЯ**



Было время, когда имя первого секретаря правления Союза писателей СССР, лауреата Государственных премий, автора известных романов «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь» находилось в центре внимания читающей страны. Об этом свидетельствует более чем трехтысячная коллекция книг с дарственными надписями, хранящаяся на его родине, в селе Новокусково Асиновского района Томской области, в библиотеке, построенной на его средства. Среди этих дарителей впоследствии оказалось немало тех, кто, «прозрев», перешёл в стан гонителей. Но не о них сейчас речь; шаткие времена всегда богаты перемётчиками. Да и не так уж они интересны. Другое дело – забвение. Глухое, тяжелое, как молчание угрюмого человека, длящееся порой десятилетиями. Сильная талантливая личность, серьезные и значимые произведения литературы и искусства, однако, преодолевают и его, на каком-то новом отрезке времени являя миру то основательное, крепкое, не подвластное разрушению, что было в них заложено. Таковы книги писателя Георгия Маркова.

Прочность его художественных произведений заложена в самом методе, с помощью которого он их создавал. Г.М. Марков не только художник, но и писатель-ученый, писатель-исследователь, писатель-первооткрыватель. «Между наукой и художественной литературой есть много общего, – считал Максим Горький, – и там и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение;

художнику так же, как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой – «интуицией». Вот на этом, чрезвычайно плодотворном стыке воображения и точного факта, и работал Г.М. Марков.

Вспоминая о поре своей юности, когда он жил в Приобье и учился в Томском университете с таким жаром, что «считал день потерянным, если он проходил без чтения», Георгий Мокеевич отмечал: «...Особенно меня привлекали экономические темы. Я всегда имел вкус к экономике, любил «цифры». Добавим: не только к экономике, но к подлинно научному факту вообще. По романам Г.М. Маркова можно изучать историю Сибири, все этапы её преобразования из отсталого региона в край индустриально развитый, славный стремительным ростом производительных и культурных сил, освоением богатейших месторождений. Без крепких знаний жизни, без научных знаний такие произведения не напишешь.

Связь с ученым миром у семьи Марковых была давняя. Еще его отец, Мокей Фролович, потомственный охотник, знаток нарымской тайги, человек грамотный и смелый, в одиночку ходивший на медведя, не раз сопровождал научные экспедиции Томского университета, водил знакомство с профессорами. В специальном Геологическом фонде СССР хранились две заявки М.Ф. Маркова (1907 и 1910 гг.): одна на месторождение с признаками ртути, другая на месторождение с признаками свинца. Встречал Мокей Фролович в тайге золотые самородки, «железные камни», уголь и, конечно, же, следы нефтепроявления.

С одиннадцати лет Георгий стал ходить с отцом на промысел, где слышал множество красочных рассказов о таежных тайнах не только от него, но и от других охотников, рыбаков, геологов, изыскателей. Всё это складывалось в незабываемо яркие и живые картины, которые со временем воплотились в литературные полотна.

В студенческие годы большое впечатление на молодого литератора (он уже выступал в местных газетах с небольшими рассказами, заметками) произвело знакомство с трудами томских ученых, исследовавших нефтеносность (о газе пока что разговора не велось) Западной Сибири, – М.И. Кучина, М.К. Коровина, Р.С. Ильина, М.А. Усова. Поразило его и утверждение академика И.М. Губкина (1932) о том, что добыча сибирской нефти «может обеспечить ... потребности всего народного хозяйства СССР». Будущее Сибири рисовалось в невиданных грандиозных красках.

Перед тем, как приступить к работе над очередным романом, Г.И. Марков проделывал объемную исследовательскую работу. Так, например, перед созданием романа «Сибирь» он совершил четыре путешествия по Оби и её притокам, записал беседы с местными жителями, партийными и советскими работниками, специалистами различных профессий, учеными. Поднял архивные данные об экспедициях Томского университета начала XX века, обратился к материалам Главного переселенческого управления. На его рабочем столе появились специальные карточки, папки с сотнями газетных вырезок. Он побывал в Госплане и Академии наук СССР. И лишь потом обратился к самой работе.

Один из основных героев «Сибири» – профессор Лихачев. Это собирательный образ. По признанию Георгия Мокеевича, в нём есть черты и дорогих его сердцу томских ученых – В.А. Обручева, П.Н. Крылова, А.М. Зайцева, М.А. Усова, В.А. Хахлова и В.В. Ревердатто. Не случайно в дневниках и записях Лихачева содержатся размышления о нефтяных и железорудных месторождениях Сибири, природосберегающих энергетических источниках, сохранении лесных богатств и многое другое. Дневник Лихачева – это и дневник самого писателя.

«Это мои мысли, вложенные в уста Лихачева, – говорил Георгий Мокеевич. – Это итог моего личного изучения Сибири, её геологии, природных богатств, истории их исследования».

Итог «личного изучения Сибири» оказался внушительным: уникальная литературная эпопея Г.М. Маркова по сей день занимает достойное место в художественном осмыслении «мёрзлого края», без которого немыслимо могущество Отечества.

Личность Г.М. Маркова, писателя и общественного деятеля, столь многогранна и значительна, что потребуются труд не одного непредвзятого исследователя. Н.С. Лесков в свое время призывал относиться к истории, и в особенности к историческим лицам, «беззлобно и с рассмотрением». Думается, его призыв актуален и в наши дни, когда история вновь и вновь переписывается, искажается на глазах изумленных очевидцев.

В 60-е годы мне довелось побывать на двух мероприятиях (как тогда говорили), которые в моей жизни стали важными событиями: Кемеровском (1966) и Пятом Всесоюзном совещании молодых писателей (Москва, 1969). С удивлением и благодарностью думаю ныне: как все-таки много «возились» с нами, начинающими, известные и даже знаменитые писатели старшего поколения! Нередко в ущерб собственному творчеству, своему далеко не бесконечному времени, а подчас и здоровью. Читали множество рукописей, беседовали, наставляли, напутствовали, писали предисловия к первым книжкам – вели нас по обрывистым тропам литературной жизни... Работа с молодыми авторами в стране проводилась системно, по многим направлениям, на перспективу. Помню бережный и в то же время строгий «разбор наших полётов» (на Кемеровском совещании) Сергея Петровича Антонова, «живого классика», чьими рассказами и повестями мы зачитывались, а фильмом «Дело было в Пенькове» засматривались. На «антоновском» семинаре – сейчас бы его называли мастер-классом – действительно преподавались незабываемые уроки мастерства; старшее поколение щедро делилось своими секретами с младшим.

На Пятом Всесоюзном совещании мне вновь повезло: я попала в семинар, который вели Г.М. Марков, Е.Н. Пермитин и известный критик А.М. Турков. «Марковский семинар», как его сразу же окрестили, был многолюдным, переполненным и, как я теперь понимаю, многотрудным для его руководителей: почти все молодые прозаики, за редким исключением, ждали взыскательного разговора по крупным формам – романам и повестям. И разговор состоялся.

В те дни «молодая гвардия советской литературы» (выражение Г.М. Маркова) особенно часто слышала в свой адрес приятный эпитет: молодой, молодые... Слово к молодым произнес старейший поэт Николай Тихонов. Седобровый, с орлиным взглядом, Константин Федин призвал молодых к прилежной литературной учебе, этом бесконечном «перебирании жемчуга и простой гальки», и пожелал счастливого пути в нелегкой литературной жизни. Возрастной ценз – не старше 35 лет – для семинаристов строго выдерживался. Мне было 28, и я считалась «очень молодой», так как писала прозу. Но вот, слушая доброжелательные и мудрые слова своего руководителя, я вдруг поразились простой мысли: а ведь Георгию Мокеевичу было тоже 28 лет, когда он написал первую часть своего прославленного романа «Строговы»! Я стала припоминать историю русской литературы и сделала «открытие»: все крупные писатели начинали рано, с молодых лет брали на свои плечи громадный труд и такую же ответственность, и у них не было никаких «мастер-классов»... Это был первый урок, вынесенный с «марковского» семинара.

– Талант – это счастье человека и одновременно это общественная ценность, – Георгий Мокеевич говорил как обычно неторопливо, отделяя каждое слово; на смысловых площадках даже приостанавливался, давая слушателям время закрепить в памяти сказанное. – Какие же требования к таланту предъявляют две неразделенные школы – жизнь и литература?

И сам – с подробными примерами, непринужденно, с юмором, отвечал:

– Первое: самоотверженная работа. Сколько скрытых трагедий произошло и происходит из-за неумения каторжно трудиться, трудиться всю жизнь, не давая лени и чванливому самомнению поселиться в душе...

Сам он был великим тружеником. Писатель, общественный деятель, организатор литературных сил страны, он имел право напутствовать молодых этим жестким пожеланием «каторжной работы».

– Второе: знание жизни. Глубокое, всестороннее знание жизни. От писателя требуется знание жизни народа, владение большим фактическим материалом действительности. Факты, факты, факты – вот тот воздух, которым дышит современный писатель, вот на чем покоятся глубокие художественные обобщения. Только в горниле жизни созревают по-настоящему значительные замыслы... И третье: писателю необходимо брать масштабные темы, не бояться их, не бояться острых и тоже масштабных проблем...

Запомнился доверительный рассказ нашего руководителя о своей, как он сказал, «литературной молодости». Первый роман его – «Строговы» – попал на рецензию к И. Бабелю. Состоялась встреча автора и рецензента. Марков приехал из Иркутска и просил «не делать скидок на географию». Бабель сказал: «География тоже имеет значение – в смысле специфики человеческого уклада». И спросил: «Где вы работаете?». Марков ответил: «В библиотеке». – «Это плохо. Самое опасное – сделаться книжником. Всё замечательное в литературе замечательно своей новизной. Это жизнь. Держитесь ближе к ней. Плохо, когда писатель отталкивается не от жизни, а от книги». «Разве это не противоречит необходимости знать книгу?» – спросил молодой романист. – «Нет. Нельзя смешивать книжничество и знание книги...».

Роман «Строговы» был напечатан в 1939-м, полностью – в 1946 году. Это была «концентрация жизненного опыта множества людей, – писал впоследствии Г.М. Марков. – Я собирал этот опыт в той среде, которая близка и понятна мне: крестьяне, охотники, рыбаки... Таким образом, на первый план я ставлю жизнь, но роль книги для меня при этом не уменьшается, а увеличивается...».

Прошло время. Быстро, в несколько лет, на профессиональный уровень поднялись те, кто заполнял в 1969 году «марковский семинар»: Юрий Антропов, Гурам Панджикидзе, Альберт Мифтахутдинов, Анатолий Черноусов, Семен Курилов...

О Семене Курилове, общем любимце семинаристов, следует сказать особо. Его уже нет в живых, как нет и Антропова и Мифтахутдинова, и всё, что он смог сделать в литературе, он уже сделал. С романом Курилова «Ханидо и Халерха» («Орленок и Чайка») Георгий Мокеевич и его помощники Ефим Николаевич Пермитин и Андрей Михайлович Турков занимались особенно бережно и долго. И автор, и его роман были уникальны. Семен Курилов – юкагир, представитель малой сибирской народности, насчитывавшей в то время всего 460 человек. (В нашем кругу Семен шутливо называл себя «господин 460» – по ассоциации

с известным в то время индийским фильмом «Господин 420» с Раджем Капуром в главной роли). Так вот, особенностью романа, который обсуждался на «марковском семинаре», было почти полное отсутствие композиции. Богатейший материал, яркий самобытный язык – и нет сюжета. Это походило на песню северного человека, который, что видит, о том и поёт, не заботясь ни о сюжете, ни о хронологии. Наши руководители были необычайно терпеливы и внимательны, подолгу разбирали каждый фрагмент рукописи. Теперь-то я понимаю: в те дни зарождалась литература целого народа, и «господин 460» был не просто молодым автором Семеном Куриловым, а носителем культуры и зачинателем современной юкагирской литературы.

Семен Николаевич Курилов оправдал надежды, которые на него возлагались. В 1968 году рукопись «Ханидо и Халерха» стала полноценным историческим романом, в котором с большой художественной силой прослеживалась судьба героев от 90-х годов XIX до начала XX века, судьба маленького народа, живущего в Якутии, мечтающего о счастливой жизни.

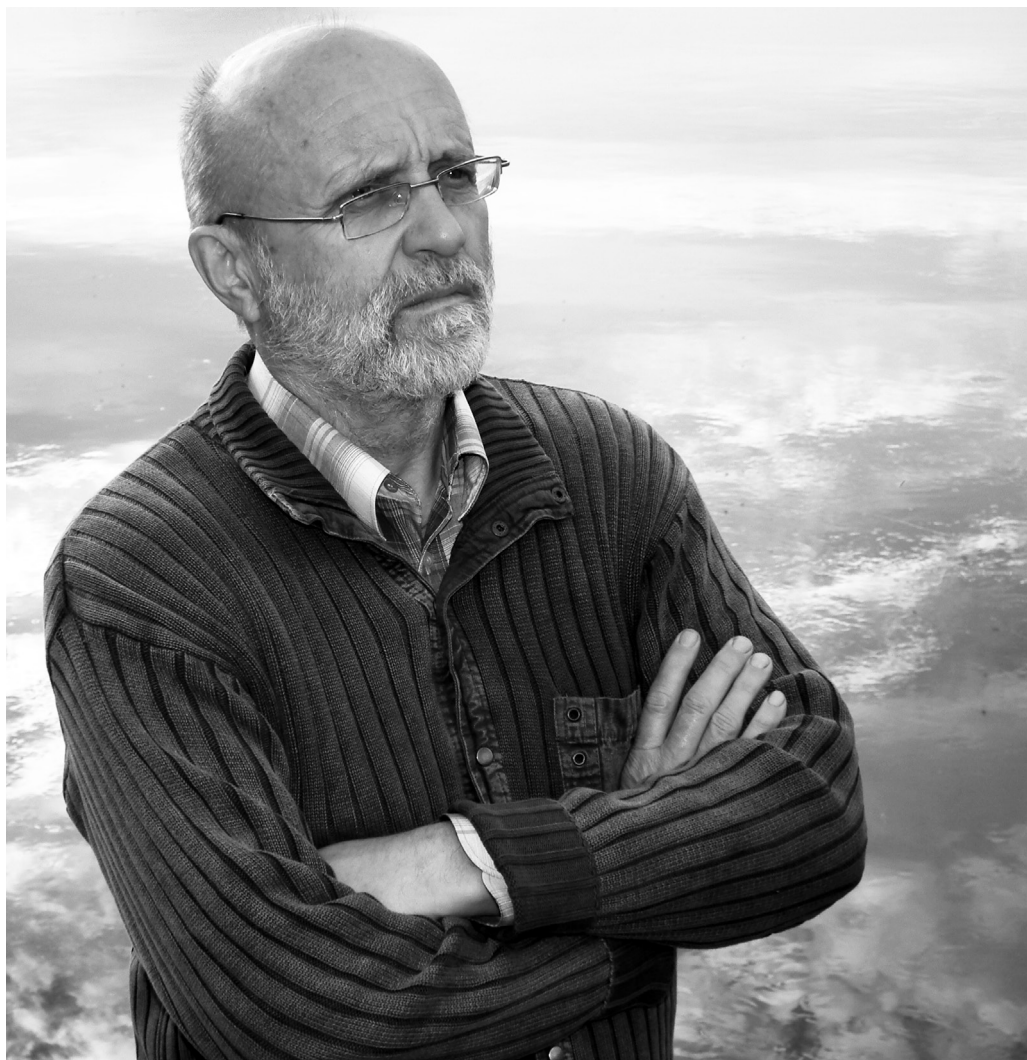
В 1975 году вышел еще один роман Курилова – «Новые люди» – о племени юкагиров в том же временном историческом отрезке. Оба романа переведены на русский, латышский и якутский языки. Был еще светлый и тонкий рассказ «Увидимся в тундре». Вот, пожалуй, и всё. На творчество, как всегда, судьба отпускает времени мало. Вот почему наши старшие наставники так настойчиво советовали: как можно раньше брать масштабные темы, художественными средствами решать масштабные проблемы, работать каторжно.

Национальным литературам первый секретарь правления СП СССР Г.М. Марков уделял особое внимание. Не забывал он и сибиряков, в том числе своих земляков. При его непосредственном участии в сентябре 1963 года была создана Томская областная писательская организация. В каждый свой приезд на родину Георгий Мокеевич непременно встречался с нами, интересовался новыми работами. Доступный и доброжелательный, необычайно скромный, не любящий говорить о себе, но готовый слушать собеседника долго и внимательно, Георгий Мокеевич всё же умел, что называется, держать дистанцию. Это была интересная, редко встречающаяся и не обидная дистанция: уважительная, товарищеская, никогда не переходящая в панибратство.

Разложить огонь на свет, тепло и силу горения, как советовал Белинский начинающим литературным критикам, технически возможно. А вот надо ли? И свет и тепло трудно объяснить словами; их либо ощущаешь, либо вокруг тебя темно и холодно. Личность Георгия Мокеевича Маркова – «тепло-светлая», её нельзя отделить от его книг, в нём самом – отделить политика от художника, его жизнь и судьбу – от Сибири. Родина – это ведь не только пространство, но и время. Время Маркова, сложное, трудное и прекрасное, наполненное борьбой и созиданием, трудом во имя светлых надежд и идеалов, ещё будет изучаться «беззлобно и с рассмотрением». У правды долгая и трудная жизнь, это верно. Но ведь всё-таки жизнь. А, следовательно, движение, похожее на возвращение к истокам после бессильного сплава по течению. Верю: Георгия Мокеевича Маркова Сибирь не забудет.

Тамара КАЛЁНОВА

Владимир Николаевич Бельчиков



Это случилось всё так сразу – неожиданно, беспощадно-внезапно. Никто ни о чём подобном и помыслить не мог. Притом, что в голове не укладывается, душа и вовсе не способна в *это* поверить. Но как бы там ни было – мы остались без него. Без его неизменно приподнятого настроения. Без его умудрённой улыбки. А главное, быть может, без его природной заботливости, не обходящей избирательно никого. Не потому ли ощущение потери – сиротское...

Мы проводили в последний путь собрата по перу. Способностями к поэтическому мировосприятию наделил Владимира Бельчикова его отец, писавший стихи сам, беззаветно любивший поэзию русскую, знакомый с лучшими образцами мировой литературы. По словам Владимира, он был вымуштрован классическим русским образованием, владел несколькими

иностранными языками. У Николая Яковлевича Бельчикова дворянская родословная. Много рассказывать в своё время о нём было, по известным причинам, небезопасно. Подобно сотням тысяч соотечественников стал он костью в горле укреплявшемуся на крови новому режиму. И «заслужил» этим Соловки, вместе с какой-либо возможностью будущей карьеры перерекнувшие на всю жизнь и его здоровье...

В 1967 году Володя поступил в наш политехнический. Но сколько уже было за плечами двадцатитрёхлетнего студента-первокурсника! Профтехучилище. Работа – после его окончания – в Красноярске. Служба армейская, начинавшаяся в Ленинграде и завершившаяся в Венгрии. Наконец, до отъезда в Томск успел поработать в киргизском городе Карабалты мастером производственного обучения. Стихи к этому времени писал далеко не первый год, а они, в свою очередь, теплили мечту о Литературном институте. Дороги легли по-другому. И вот, после второго уже курса, заглянул он как-то в главном корпусе ТПИ в кабинет, в котором располагалась редакция газеты «За кадры». Был вечер... Писательница Тамара Александровна Калёнова проводила очередное занятие литературного объединения... С той поры Владимир Бельчиков навсегда приобрёл статус «своего» в легендарных политехнических «Молодых голосах». Теперь без его «голоса» история литобъединения тем более немыслима...

Он не отличался обильным стихотворным производством. Три поэтических сборника – итог его литературной жизни. Но будь их у него хоть двадцать три, от него бы, думается, точно так же не много бы мы услышали слов по поводу собственного творчества, о котором пространно говорить Володя не любил. Его знаменитая строка-метафора – «Поэт грозу годами ждёт» – исчерпывающе показывает, что к написанию стихов относился он как к некоему потрясающе-очистительному редкому акту. Да и в каждом прожитом дне виделись ему как поэту свидетельства новорождающихся явлений:

*И рвутся дни,
Как почки на рассвете...*

При всём притом Владимир Бельчиков солидное количество последипломных лет проработал по своей «политехнической» специальности конструктором и ведущим инженером в закрытых научных институтах. И его, скажем так, «летательные вещи» поднимались за пределы земной атмосферы. На свои высоты вышло и его поэтическое, воплощавшееся в стихах, начало...

Пополнив писательский коллектив областного Союза, Владимир Бельчиков добровольно, без каких-либо «общественных поручений», взял на себя заботу о нашем здоровье. Лечебно-профилактические курсы, «пробиваемые» им на льготных условиях, прошли практически все томские писатели. Кто-то даже и не по одному разу. Он стал истинным нашим Главврачом...

Монтень сказал: «Никто не умирает прежде своего часа». Судьба назначила его Владимиру Бельчикову на последний день новогоднего, самого зимнего месяца – января. Далеко от дома. Сердце его остановилось, когда он был в пути.

Сергей Яковлев

Владимир Бельчиков**«...И В МЫСЛЯХ, МОЖЕТ, ОБО МНЕ»**

* * *

По кромке тоненькой заката,
По золотистым облакам,
По потемневшим берегам
Вдруг загудит гроза набатом!
И молний выплеснет бокал.
Вино пьянящее стихии
Захватит сердце и сожмёт...
И вот тогда пишу стихи я.
Поэт грозу годами ждёт.

* * *

Гранитных скал в степи чернели стены.
Над ними звёзд космические сети.
И закричал я громко и протяжно,
И радостно, что ты со мною рядом!..

А эхо засмеялось почему-то.

* * *

От этих бурь такая дурь в башке!
И рвутся дни,
Как почки на рассвете.
Опять ты там,
В загадочном Торжке,
Куда таёжный улетает ветер.

Ты подарила, смелая моя,
Мне подарила
Песенные ночи.
И далеко, в чужих совсем краях,
Ты за мольбертом
Коротаешь ночи.

И не сомкнуть мне глаз,
Не заглянуть:
Ну что ты там ещё нарисовала?..
Матёрой лайкой
Бьётся ветер в грудь,
И писем от тебя
Мне раз в неделю
Мало.

* * *

При хорошей восходят погоде
Миллиарды звёзд – светлячков.
Это что-то глаз твоих вроде,
Сквозь оправу моих очков.

Удивляюсь тебе и природе –
Как ласкает солнца овал!
Это что-то губ твоих вроде –
Бесконечно бы их целовал!

* * *

Бомж-бродяга,
друг из детства,
здравствуй...
Видно, круто жизнь тебя взяла...
Только вспомни,
Всё же не напрасно
Пели нам в ночи перепела.
Хохотушка-девочка смеялась,
Счастлива была
Она с тобой...
Что тебе
Из прошлого осталось,
Кроме страшной муки
Неземной?..
Капитан,
Счастливец и повеса –
Я с трудом
В тебе
Тебя признал...
Выпьем, друг,
Спадёт судьбы завеса,
Наливай и мне
мои сто грамм.

* * *

Как страдала моя мама!
Знала – близко смерти час,
Умирая, говорила:
«Как измучила я вас».

«Что ты, милая, родная...
Выздоровливай! Живи!» –
И украдкой вытирал я
Слёзы горькие любви.

* * *

Этот чистый тихий вечер
Мне всю душу ворошит –
Эта девушка навстречу
Мне, как прежде, не спешит.

Я хотел бы хоть немножко
Посмотреть, какой ты стала –
Профиль тоненький в окошке...
И решётка из металла!

* * *

Брожу на лыжах.
Сосен строй –
Меня приветствует.
Покой
Разлит.
Заснежены места.
Я от друзей
Слегка отстал.
Бреду –
И светлый небосвод
Верхушки сосен достаёт.
А ты –
В тепле
И тишине,
И в мыслях, может,
Обо мне...

Грусть совсем не была скоротечной...
И прощания горькая соль...
Вот бы радость была бесконечной,
Да по-прежнему, видимо, боль.

Вероятно, медлительной поступью
Раздвигая преграды грехов,
Нам придётся в надежде на праздник
Повторить светлый подвиг волхвов.

Евгений Михайлович Зимин

5 мая 1939, с. Орианка Марийской АССР – 26 января 2011, Пятигорск



И когда Зимин говорил верлибром, и когда ребячился с рифмами, и когда пробовал себя в трёхстишиях — у него это не выглядело деланным. Даже в последнем сборнике («Горlinkка»: СПб., 2010), написанном от лица женщин, он остался естественным, ведь, как сказано в его предисловии, писала ж «стихи от имени мужчины Зинаида Гиппиус, осваивая другое поле, наблюдая страсти сердца и духа со стороны». Жалко, что среди изданных им двенадцати книг не оказалось сборника «Я», который он хотел дать от лица вещей и животных: «Я комод...» (кое-что из это-

го цикла затерялось в томской районке «Правда Ильича»). Поэтическая непосредственность играла столь большую роль, что ранние варианты у Зимина смотрятся лучше, чем поздние: он, как говорят художники, «зарисовывал» прежнее полотно. Но в любом случае он узнаваем.

Н. Серебrenников

Удивительно ловко скатывался Женя с любой горы. Там, где мне надо было рухнуть три раза, прежде чем понять особенность горки, он съезжал сразу лихо и безоглядно. В одном логу я предложил ему такой спуск, где, пожалуй, устоять было сложно. Куда там! Ступил он на лыжню, понёсся вниз и взбежал на противоположный склон. Нечто подобное происходило, когда мы собирали грибы. Мало того, что я слепопшар, так ещё и начисто лишен умения искать. Иногда ведь нужно даже не увидеть, а почувствовать. Этим даром Женя обладал в совершенстве. Так что, надо сказать, из самолюбия, что ли, перестал я ходить с ним на грибную охоту.

Но зато общения за стихами было много — и зимой, и летом. И долгие годы.

Был он человеком удивительной доброты. Она простиралась на всех, что порой вызывало у меня недоумение или даже досаду. Он добродушно отшучивался.

Мне жаль, что Женя недооценивал свои ранние стихи, изобретательные, с хорошим чувством юмора. Он не взял их в свои сборники. И мы тоже не сберегли. Так вот оно и бывает.

В.Крюков

В его стихи вошла, кажется, вся Россия от маленькой Оршанки в Республике Марий Эл, где он родился и учился, от Томска, где работал и начинал свой творческий путь, до Пятигорска, где провёл последние два десятка лет. В Дачном городке под Томском он построил дом, вырастил детей и написал замечательные стихи. Трудно представить его без этих органичных сосен. Он был грибник, травник. Он жил заодно с природой, внутри лесного дышащего чуда. С ним было интересно говорить и легко молчать. Я встречалась с ним и в Пятигорске и видела, как любят Женю собраты-поэты. Остаётся память о нём: нежном, детски-доверчивом, лукавом и мудром, родном. Евгений Зимин для меня какое-то удивительное живое дерево, корни которого глубоко в сибирской земле, а ветви тянутся высоко в небо. В нём было это – свет небес и доброта земли.

И. Киселёва

Собачья жизнь

(ранний вариант)

Я пёс бездомный. Забегая в дворик,
Лижу блевотину и пьяного лижу,
И если лапу перебьёт мне дворник –
Под урною оплёванной лежу.
А в небе солнце – будто крови лужа,
И у прохожих стонут сапоги,
В глазах снежинки фиолетовые кружат,
И мучит запах – где-то пироги.
Но всё забуду, когда в стае шумной
Промчится сучка рыжая – в лису,
И пахнет хвост её так сладостно-безумно,
Что я скачу за ней и псов других грызу.

Выйди в поле

Какое счастье выйти в поле!
Оставить Дачный городок.
И, от тоски уйдя и боли,
Присесть на стоптанный лужок.

О поле! Щедрое ты, поле,
К тебе иду я поутру.
Я, поле, у тебя на воле
Учусь терпенью и добру.

Смеяться громче, плакать глуше,
Смотреть спокойнее в глаза.
Пусть ветер выметет мне душу,
Пусть душу вымоет гроза!

Какая радость – выйти в поле,
Как бы уйти из бытия!
Как будто подпись в протоколе
Поставил добрый судия.

Я падаю дождём

Владимиру Крюкову

Слова в душе набухли, словно дрожжи,
И рифмы так кричат – не вмоготу.
А за окном весёлый ходит дождик
И моет ноги клёну, как Христу.

К гостям, наверно, моет кошка носик,
Читает шумно дождь речную быль.
В ладонях ветер жизнь мою уносит,
На суд вручая Богу, на распыл.

Сквозь сито бытия сейчас он бросит
Меня под Томском. Вот я вижу дом.
Друг вышел и бормочет: «Скоро осень».
Ему на плечи падаю дождём.

А он меня совсем не замечает,
Дождю грибному несказанно рад,
Бежит, как молодой, по молочаю,
И рифмы в нём глаголисто кричат.

Они кричат так яростно, до дрожи,
Увидев всю земную красоту.
А за окном весёлый ходит дождик
И моет клёну ноги, как Христу.

Николай Игнатенко

Я В ТИМИРЯЗЕВО ПОСТРОИЛ ДОМ

Перечитывая Н. Клюева

В златокудрые дни сентября
я живу, распахнувши калитку,
и в проеме цветную открытку
из осин и берез сотворя.

И любясь такой красотой,
мне не жалко ушедшего лета.
Как роскошно природа одета,
собираясь на зимний покой!

Бабье лето приходит не зря.
Нам даруют короткое счастье
перед долгим-предолгим ненастьем
златотканые дни сентября.

Зимний вечер

Снег не идет уже который день,
и всё вокруг как будто голубеет.
Конечно, – вечер, ракурс, светотень...
Но приглядишься – это снег стареет.

Лицо луны – такой же серый круг –
томится в ожидание снегопада.
Он освещает тускло и не вдруг
пейзаж, что отделён моей оградой,

в котором неумытая луна
запуталась в ветвях окрестных сосен...
А где-то за рекой живет страна,
но к нам в деревню звуков не доносит.

И слава Богу! Только тишина
выдавливает вечер за калитку.
А от калитки семь шагов до сна,
который ночь прошьёт, как лунной ниткой.

Сорока

Как, белобока, чернооко
косишься на меня, сорока!

Ты так хвостата и крылата,
что восприми меня как брата.

С твоею статью, спесью, цветом
среди птиц была бы ты поэтом!

* * *

Во двор захожу и слышу,
как грустно молчат сосна
и дом под заснеженной крышей
о том, что не скоро весна.

Чего ж нам тужить, ребята?
Огонь разложу в печи,
и примется дым лохматый
от грусти нас всех лечить.

Зима – это время надеяться.
Сегодня не буду спать,
А ночь про двенадцать месяцев
мне будет сказку читать.

Предчувствие весны

Январь кончается. И день уже горит
высоким цветом светло-голубого,
душа упорно целится в зенит
и чуда хочется, хоть самого простого.

За горизонтом – маревом весна.
Как чуткий зверь, я слушаю подвижку
природы, отходящей ото сна,
но всё ещё закрытой на задвижку.

Её слегка мизинцем подтолкнуть
и – из щели меж косяком и дверью
Весёлый луч проложит первый путь
до слабенькой сосульки самой первой.

Прощай, январь! Как много же в тебе
тревожного и радостного было.
Быть не последним месяцем в судьбе
моей, не знаю, чья решила сила.

Валерий Тихонов**«ЛИСТ ОСТЫВАЮЩИЙ МЕРКНЕТ...»**

Лист остывающий меркнет.
Тихо светлеет вода.
Сгнули все водомерки.
Скоро придут холода.

Берег затянут осокой.
Надо раздвинуть рукой,
чтобы на дне неглубоком
видеть песчаный покой.

Мне отражение двойное
чудится в глади воды...
Кто там стоит – за спиной?
Чьи – за моими – следы?..

Вот и вымела осень с дороги
кутерьму разноцветной листвы.

... Мне б тогда не стоять на пороге
и не жать к косяку головы,
не жалеть сиротливые клёны...

Лишь сейчас мне октябрь подсказал,
что не лето, а поезд зелёный
опустевший покинул вокзал!

Птицы скорые ночью кричали.
И луна, пробираясь во мгле,
изогнулась прощально-печально –
как ладонь на оконном стекле.

Осень
отражением заката
распласталась по сырым лесам.

И дожди,
без громовых раскатов,
словно потеряли голоса.

Радуги
не гнутся над лугами,
паутину ветры унесли...

В облака
ступая сапогами,
тайно отлетаю от Земли...

Холода

Есть мудрая народная примета,
повторами богата – хоть куда:
всегда
в начале солнечного лета
черёмуха приносит
холода.

Был день богат на краски до заката,
но в ночь белеет лишь она одна.
Не мог я разобраться в том когда-то:
ну как же это так – кругом весна! –
зачем нам холод в месяце свиданий?!
...И всё ж, благодарение цветам,
мы в запахах томиться не устанем
даже тогда, когда не по летам.

Та мудрая народная примета
повторами богата – хоть куда:
опять
в начале солнечного лета
черёмуха приносит
холода.

О кузнечике

В травяной причёске луга
ты, кузнечик, как заколка.
А поскачешь от испуга,
не найду, как ту иголку.

Ты хоронишься от взглядов,
ты любых боишься рук...
Чем таинственной обряды,
тем слышнее сердца стук.

Не затем тебя мне слушать,
чтоб откликнуться почтеньем,
а затем, чтоб править душу,
совпадая в измеренье.

Кто открылся – тот свободен,
пусть в свободе нету равных...
Сколь кузнечик беззаботен,
столь и славит мир свой травный.

Ивану Яковлеву

Когда ещё остатний снег
торопится сойти в ручьи,
когда уже с открытых рек
пьют воду первые грачи,
тогда мы в детстве – в тех краях,
где поднимали к небу взгляды,
где было «ух!..», где было «ах!..»,
где были все, кого нет рядом
сейчас...

Александр Панов

«ГОВОРИЛА РОДИНА СО МНОЙ...»

Я желаю тебе удачи.
Я желаю тебе любви.
Не прожить на земле иначе,
Потому каждый миг – живи!

Потому будь всегда красива.
Больше света, мой юный друг,
Сколько белых берёз в России,
Сколько мрачных людей вокруг.

Пусть решатся твои задачи.
Пусть бунтует огонь в крови.
Я желаю тебе удачи.
Я желаю тебе любви.

Ты грядущему открыта.
Словно ветер ты легка.
Мне желанна радость быта
В наши средние века.

Сердце гонит кровь устало.
Грусть печальна и светла.
Мне тебя увидеть мало
В этом мире лжи и зла.

Я хочу, чтоб осень жарко
Обожгла за далью даль...
Мне тебя до боли жалко,
Мне себя до боли жаль.

Говорила родина со мной.
Говорила – речь нетороплива.
Говорила, мучаясь виной,
Что была со мной несправедлива.

Я молчал – не смея возразить.
Я смотрел – печаль её обильна.
Я могу без родины прожить,
Умереть без родины обидно.

Я люблю природы благодать.
Запах леса – горькая отрада.
Родина, ну что тебе отдать,
Если ничего тебе не надо?

Смотрю на мир, ища ответы.
Опасен жизни океан.
Я открываю двери лета,
Я открываю окна стран.

Читаю дни, недели, книги.
Гляжу на мир глаза в глаза.
И тяжелы мои вериги,
И тяжела моя слеза.

Я ничего не обещаю.
Я никуда не тороплюсь.
И всех обидевших прощаю,
И всех прощающих боюсь.

Листья трепещут от ветра.
Грусть заливает простор.
Я ожидаю ответа –
От лета, от неба, от гор.

Только безмолвно пространство.
Дни, словно омут реки.
И тяжело постоянство,
Давящей сердце тоски.

Слушаю небо и лето
И никуда не бегу.
Я ожидаю ответа –
И отвечать не могу.

Я жду тебя и не устану ждать.
Вращается вселенная по кругу.
И ожиданье – тоже благодать,
И вечный круг – движение друг к другу.

Повремени, пусть рассосётся мгла.
Погаснут задремавшие светила.
Я буду верить – ты со мной была,
Даже тогда, когда ты уходила.

Не знаем мы, что будет впереди.
Грядущее, как прошлое в тумане.
Но я прошу, любимая, приди
И Расскажи о правде и обмане.

Геннадий Иванов

рассказы

«ПРОЖЕКТОРИСТ»

Они сидели друг перед другом и вели, как это сейчас называют, нелестную беседу.

– Иван Кузьмич! Я, конечно, молодой специалист. Возможно, многого не понимаю, но уничтожать радиодетали на 300 тысяч рублей только потому, что у них вышел срок их применения, не допущу! Если надо, доведу до областного комитета народного контроля!

– А ты, Гена, меня не пугай! – парировал Иван Кузьмич, замдиректора предприятия по общим вопросам. – Тебе что! Ну добьешься, чтобы детали не уничтожали, а дальше что? Эти детали окажутся у разных людей, в том числе и на барахолке, а потом всех нас – куда надо для объяснения! Короче, что списано, должно быть уничтожено. У-НИЧ-ТО-ЖЕ-НО! Понял ты наконец или нет?

И Иван Кузьмич в сердцах опустил свой массивный кулак на стекло письменного стола. Этот метод убеждения у него был последним. На собеседника трескавшееся паутинками от удара стекло производило яркое впечатление, и он соглашался с доводами Ивана Кузьмича.

Геннадий же был не из таких. Маленький, среднего «женского» роста, как о себе любил говорить, он сидел перед Иваном Кузьмичом весь взъерошенный и злой: никакие доводы и объяснения бесхозяйственного отношения к списанным радиодеталям он не воспринимал. Да и как, действительно, он мог согласиться с этим безобразием. В институте на кафедре, чтобы собрать какую-нибудь пустяшную схему, им приходилось разбирать старые схемы, а тут на тебе: сотни тысяч деталей под пресс!

– Ну вот что! – вскипел он окончательно и тоже ударил своим маленьким кулаком по стеклу. – Я иду к директору. Но предупреждаю, что буду добиваться передачи деталей в учебные заведения во что бы то ни стало!

Иван Кузьмич от такого поведения секретаря комитета комсомола даже расстроился.

– Вот навязался на мою голову еще один! – возмущался он, оставшись один. – Видишь ли, он «прожекторист» районного масштаба, а я, значит, по его разумению, расточитель народного добра! Надо что-то предпринимать!

И он пошел к Феликсу Петровичу, чтобы принять окончательное решение по радиодеталям: превышение нормативных запасов грозило депремированием, выговором наконец, а списать можно только при указании в акте об уничтожении...

Геннадий уже был там. Он с пеной у рта доказывал, что уничтожать радиодетали нет необходимости. Феликс Петрович пригласил кивком головы Ивана Кузьмича присесть к столу и пальцем дал сигнал, чтобы тот слушал их беседу

и молчал. Сам он отличался большой рассудительностью и спокойствием, и этим обезоруживал часто собеседника в спорах.

Геннадий за пять минут выдохся. Он сел в кресло и весь как-то притих, съежился, приготовившись к принятию любого решения: для него Феликс Петрович был как второй отец. Геннадий делил с ним все свои радости и печали. Феликс Петрович во многом его поддерживал, недавно написал рекомендацию для приема кандидатом в члены КПСС.

– Иван Кузьмич! Вы, пожалуйста, не злоупотребляйте своей силой, эдак можно все стекла переколотить! – начал Феликс Петрович очень спокойно. – Ведь Геннадий прав: мы живем в социалистическом обществе и совсем непонятно, почему следует детали, ни разу не паянные и пригодные для макетных образцов, – под пресс. Я вам лично поручаю в этом внимательно разобраться. А тебе, Геннадий, необходимо связаться с областной школой ДОССАФ, кафедрами вузов, пусть обратятся с письменной просьбой о передаче им радиодеталей безвозмездно. Уничтожать, конечно, ничего не будем и на будущее заведем правило делать это в исключительных случаях.

О принятом решении Феликс Петрович лично информировал областной комитет КПСС, народный контроль. Там это решение одобрили. Через две недели после оформления нужных документов на двух машинах все детали увезли в школу ДОСААФ и ряд школ города.

В эти дни счастливее Геннадия не было на свете: он, «прожекторист», добился выполнения своего предложения! Счастье переполняло его. Он весь светился, как лампа мощного прожектора. Видимо, не случайно ребята избрали его в штаб «Комсомольского прожектора» района.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С утра накрапывал дождь. Водители семитонных новеньких самосвалов собрались сделать последний перегон «райцентр – совхоз». Предстояло проехать более шестьсот километров проселочными дорогами.

Шоферы были энергичные, загорелые ребята. Двое – из совхоза, трое – только что из рядов Советской армии, не успевшие даже переодеться в гражданскую форму. До армии жили в совхозе. На всякий случай, а скорее, на встречу со своими земляками они припасли по бутылке водки на каждого. НЗ находился у старшего. К ним были куплены разные консервы, лимонад, сыр, колбаса. Для удобства на остановках решили никого из пассажиров не брать. Решить-то решили, а на их голову при выезде из райцентра были остановлены механизатором из совхоза Рафиком и Любкой из детского сада.

Любка – девка разбитная. Не одному парню в жизни показала она от ворот поворот, не раз ей мазали ворота. Но она-то себя знала, и все пересуды отскакивали от нее, как капли воды от горячего жира.

– Возьмем, – решил старший, – своих грех оставлять на дороге. При этих словах он подумал, что Любка уже не девочка первой свежести, что пора бы ее проучить за все ее шалости с мальчиками в юные ее годы.

Подумал да и забыл: моросящий дождь вконец расквасил дорогу. Ехать было все труднее и труднее. Короче – не до Любки. Шоферы остановились за тридцать километров до главной усадьбы совхоза. Казалось бы, еще чуть-чуть нажать – и ты в совхозе. Но не могли они вот так ночью, грязными и измотанными многодневной ездой по дорогам Сибири, явиться перед своими. Хотелось приехать героями дня. И они решили заночевать в стогу сена около речки. Утром машины отмыть от пыли и грязи и тогда явиться в совхоз в лучшем виде.

До Любки с Рафиком долетели отдельные обрывки фраз, из которых стало ясно, что ночёвка в стогу неизбежна...

– Рафик, – взмолилась Любка, – давай пешком дойдем. Если будут водку предлагать, не пей.

– Да я ее с детства ненавижу, – отрезал Рафик. – Сама знаешь, как нас гонял дома пьяный батя. До сих пор забыть не могу. Вот и матери лишились из-за этого преждевременно. Ей бы еще жить да жить.

Машины поставили в форме пятиугольника, в середине разожгли костер, разложили сиденья из кабин. Расстояние от машин до костра было безопасное, зато ветер уже не так пронизывал водителей. Водку и лимонад поставили в речку охлаждаться. Сходили, накопили с совхозного поля свежей картошки. В чай добавили смородинового листа. Уговорили Любку быть королевой их бала, посвященного переезду Красноярск – совхоз. Как водится у шоферов, налили по единому. Для Любки это было каким-то нехорошим предзнаменованием. Она, наконец, рассмотрела всех шоферов.

Троих она помнила до сих пор. Всем им она в свое время отказала. Двое были меньше знакомы. Иногда встречались на танцульках, на вечерах, посвященных 1 Мая, дню Великого Октября. Парни выпили лихо. Стали шумно есть. Закусывали основательно: хмелеть не хотелось, но и «старинный» их обычай не нарушили.

Рафик сослался на болезнь желудка и пить наотрез отказался. Все долго вспоминали методы лечения болезней желудка спиртом. Последний хорошо лечит язву, только потреблять следовало его со сливочным маслом. Повторили по полстакана. Стали спорить, какой метод лучше: есть масло до или после приема спирта.

– Любочка! Здравсьте вам! – «узнал» ее один из отвергнутых. – Ты наша королева. Тебе, как всегда, почет и уважение! Ты сегодня с нами, должна нас повеселить, ублажать... – он многозначительно указал в сторону стога сена.

– А кто забудет, – зло закончил отвергнутый, – тому два.

Их разговор заметили другие. Всем парням хотелось побыть с Любкой. Только каждый считал, что он самый достойный и должен в этом деле быть первым. Они опять заспорили, отпускали в адрес Любки колкие шутки. Твердили, что она попала как «кур во щи». При этом сально расплывались в улыбке...

Она сказала, что должна отойти и попросила Рафика ее проводить.

– Это можно, – сказал старший. – Рафик! Через пять минут мы вас ждем. Не допускай отклонения. Нам это может не понравиться.

Любка и Рафик зашли в березняк.

– Рафик! Дорогой мой! – зашептала обеспокоенно Любка. – Выручай. Бежим отсюда. Я тебя за это полюблю так, как ни одна девка в мире не любила.

Рафик и сам видел накаляющуюся вокруг Любки обстановку. Последнее предупреждение парней сильно затронуло его за живое.

«Меня даже в счет не берут, – подумал он. – Надо на наглость отвечать наглостью».

И он, не в угоду Любкиной просьбе, а в обиду за себя, за то, что они в нем не увидели мужчину, рванул Любку в лес в сторону совхоза, и они так бежали километров десять без остановки. Спотыкались, падали, больно ударяясь о сучья, ветки берез, но бежали, бежали...

Сзади они сначала слышали голоса бегущих парней, потом они где-то потерялись. Видимо, дорога, выпитое сделали свое дело: они выдохлись и явно пообещали побить Рафика, только это было уже невозможно сейчас, а потом... Рафик знал, что потом хмель пройдет, а за Любку они попросту не тронут, да и нет им в этом никакого резона.

Скорее всего, они будут молчать об этой истории, как и до этого каждый из них не говорил, что был отвергнут Любкой. До совхоза оставалось пять километров. Уже был виден в окнах домов свет, слышно, как ржали кони в ночном.

– Рафик! Пойдем на речку, – позвала Любка, – долг платежом красен...

– Ну ты шлюха! – вдруг озлился Рафик. – Ты что, считаешь за большое счастье переспать с тобой? Да ты даже не помнишь, как я мальчишкой бегал за тобой, влюбился в тебя! Как ты надо мной тогда издевалась! Ты же просто упивалась своей красотой, тем, что вся деревня за тобой бежит. До деревни пойдешь одна. Радуйся, что так все кончилось. В очередь я только за хлебом стою, но не за любовью.

И он нырнул в темноту ночи. А на другой день в совхозе появились новенькие самосвалы, которые, как и подобает, были встречены совхозными сорванцами. Все взрослые были уже на уборочной.

Валерий Сердюк

ГУСЛЯР

ПОЭМА

*Золотое слово Святослава,
со слезами смешанное, было
не слезами князя Святослава,
а слезами гусяра Данилы
дочиста промыто... Никакому
Святославу слов таких не выискать.
Имя Святослава – только вывеска,
А слова принадлежат другому.*

1.
Всё, что будет, – впереди,
позади – что было.
Родом он простолюдин,
мой герой Данила.
Был из лучших гусяров,
славился игрою,
но и он пришёл на зов
к князьему порогу.

Сколько песен играно!
И ещё сыграть бы...
Но под знамя Игоря
собирались рати.
Игорь княжество, жену
оставлял надолго,
чтоб шеломом зачерпнуть
синего Дону,
чтоб отвадить от Руси
половецких ханов,
чтобы – Господи, прости! –
погубить поганных.

Игорь принял гусяра.
Повезло Даниле.
И поехал со двора
на своей кобыле
через поле, через лес,
стороной степною
так: копьё – наперевес,
гусли – за спиною.

2.
Как ни уставала рать,
только в час привала
начинал гуслиар играть –
хором подпевала:

*Что ты жмуришь глаз,
хитрый Васька-кот,
что меня зовёшь,
что мурлыкаешь,
у тесовых ворот похаживая,
на меня ль, Данилу, поглядывая?
Зря ты, Васька-кот,
размурлыкался, –
не стоит у ворот
моя милая,
не придёт она
проводить меня,
не взмахнёт платком,
не всплакнёт тайком,
а погибну – не запечалится...
А пришла она
проводить меня,
и в глазах её
слёзы прячутся.
– Ой ты, лада моя,
Василисушка,
слёз не лей по мне,
не хоронишь, чай!
Возвернусь к тебе
из сражения,
навезу тебе
жемчугов, парчи,
одарю тебя
всю подарками!
– Не дари ты мне
жемчугов, парчи,
возвращайся сам,
друг единственный!
... Что ты жмуришь глаз,
хитрый Васька-кот?
Поцелуй меня,
Василисушка...*

Нет, Данила, бог с тобой,
песни грустные не пой!
Пой, гусяр, не о любви,
а на подвиги зови!

*Это наше поколение
под шеломами взлелеяно!
Наши руки – не изнежены,
наши кони – не объезжены,
наши копыта – не затуплены,
мы Руси родной заступники!*

3.
О РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
ТЫ УЖЕ
ЗА ХОЛМОМ...

4.
Солнце, князь, тебе грозит бедой.
Ой, опомнись, Игорь! Худо дело!
ДРЕМЛЕТ В ПОЛЕ ХРАБРОЕ ОЛЕГОВО ГНЕЗДО,
ДАЛЕКО ЗАЛЕТЕЛО.

5.
А наутро увидали:
пыль клубится впереди.
Встали русичи, щитами
поле перегородив.

*Круче вихоря степного,
круче вихоря
мчится войско Кончаково
к войску Игоря.*

И сошлись на поле ровном –
зайцу негде проскочить.
Искры сыпали со звоном
харалужные мечи.
Всё тонуло в этом звоне,
в цокоте глухом подков.
И, зайдясь в предсмертном стоне,
на дыбы взвивались кони,
и валились наземь кони,
подминая седоков.
И теснила силу сила,
рать поганую косила,
словно спелые хлеба.

Пой, победная труба!..
И, в боях своих отчаясь,
к лесу мчится половчанин,
но Данила начеку –
худо хану Кончаку!
Не уйдёт разбойник в лес –
мчит гусяр наперерез.
Его острое копьё
дело сделает своё.
Его щит красней огня...
Он горячего коня
Развернул на всём скаку –
худо хану Кончаку!
Только пыль встаёт стеною
из-под бешеных копыт...
Тут случайною стрелою
был с коня Данила сбит.
В грудь Даниле угодила
половецкая стрела, –
и судьба не пощадила,
и кольчуга не спасла...

*Обвенчался я с войной,
с нелюбимою женой.*

*Нелюбимая жена
будет вечно мне верна,*

*а расстанусь с головой –
не останется вдовой.*

6.
Смерть очень любит весёлых людей,
мрачной любовью любит.
Данила бредит четвёртый день,
кривя пересохшие губы.

– Крепись, Данила! Сдаваться нельзя!
Не сдашься – живи и пой...
Данилу везёт побратим Илья,
в Киев везёт, домой.

7.
О, какая беда, Ярославна!
Новый бог нашу Русь позабыл.
Вместе с Игорем русскую славу
половчанин поганый пленил.

Не моли несчастливого бога,
обратись ты к ветрам и Днепру:
Днепр к морю укажет дорогу,
ветры след заметут и сотрут.
– О, взмахну, как зегзица, крылами,
улечу к той каяльской волне...
День и ночь слышен плач. Ярославна
причитает на белой стене.

8.

– Что ты смотришь как-то странно?
Ах, Данила, что с тобой?
– Зажила бывшая рана,
но больней другая боль.
Мне б вступить в златое стремя
за обиду сего времени,
за землю Русскую,
за раны Игоревы –
не выгорит,
потому как слаб я очень
и удар уже неточен...
А ИГОРЕВА ХРАБРОГО ВОЙСКА
УЖЕ НЕ ВОСКРЕСИТЬ!

9.

Есть одна у Данилы отрада –
гусель звон, струн тугих рокоток...

*Ах, любовь, ах ты злая отрава!
Ах ты, Васенька, серый коток!
О тебе ли я песни слагаю,
про твои коготки и усы?
Только песням таким, полагаю,
уж не время звучать по Руси.
Всё усобицы да усобицы –
все князья меж собой перессорились.
А мутны ещё воды Каялы,
и от ваших усобиц мутны!
Ах, князья вы, князья и бояре
и дружина,
НЕ ЛЕПО ЛИ НЫ?..*

1965 – с. Манзовка,
2010 – г. Томск.

Никита Зонов**«ТЫ ЛЕТИ ДА НЕ БОЙСЯ»**

* * *

Дождь холодит голову,
тучи плывут планово.
Это пройдёт. Зонову
хочется жить заново.
Хочется быть. Искрою
жечь. Не сердца, – печени.
Хочется быть искренне,
если сказать нечего.
Бес ли в ребро, утро ли
в бороду снег проседью –
нет средь моей утвари
средств для борьбы с осенью.
Так что залей угли и
окна забей досками.
Слишком земля круглая...
А иногда – плоская.

08.11.2010 г.

* * *

Это раннее утро для осенних калек.
Тротуары запудрил восхитительный снег.
И стоят, чуть сутулясь, фонари, и горят
по периметрам улиц, словно виселиц ряд.
Звёздно-снежную россыпь довершает сполна
поражённая оспой молодая луна.
Снег до одури светел, неприступен и чист,
Он ложится, как пепел, на асфальтовый лист.
Ты попробуй иначе, ты не бойся людей,
гуттаперчевый мальчик городских площадей,
это так, постояльцы, – отцвели, да легли
под асфальтовый панцирь равнодушной земли.
Это жизнь в тебе, мальчик, пробивает ростки,
то от белой горячки, то от чёрной тоски,
это ветры-пропойцы призывают в полёт...
Ты лети да не бойся. Это скоро пройдёт.
Это раннее утро и на вкус, и на цвет
отдаёт перламутром, – да товарищей нет,
и похоже, что скоро переплавит заря
рассветающий город в суету ноября.

1984 г.

Вода

Пеняют люди на года, винят природу.
О чём вы думали тогда, ступая в воду?
Вода поманит за собой, на перекааты,
кому достанется прибой, кому – закаты.
Ведь после всех перипетий и перепитий
в неё два раза не войти, да и не выйти.
Так пей, но дело разумей, ведь дело к ночи,
вода, ты знаешь, и людей, и камень точит.
Здесь каждый молод и богат в ее течение,
здесь всех абсцисс и ординат пересечение,
как путеводная звезда, а не лавина,
она выносит нас всегда на середину.
А вы по молодости дней, в немом угоре,
подчас не думали о ней, впадая в море.
Вода везде или нигде, она такая.
И вы пойдёте по воде, не намокая.

09.01.2011.

* * *

Буря мглою небо кроет – нет бы ей передохнуть.
Ах, как хочется порою в Чёрном море утонуть.
Скушать водки двести граммов под мерцание сверчка
и отправить телеграмму: «До свиданья тчк»,
тронуть воду для начала, – «Вроде тёплая. Ну-ну»,
и отправиться с причала в набежавшую волну,
подождать чуток отлива, чтоб подальше унёс,
а потом неторопливо подавать сигналы «SOS».
А замёрзну – где ты, водка? – посреди нейтральных вод
зарубежная подлодка, может быть, и подберёт.
Офицеры «дружба» скажут, «пе-ре-строй-ка» или «труд»,
чем-то жёлтеньким намажут, после – спиртом разотрут.
Продиктую адрес. Янки, видя муку на лице,
отчеканят по морзянке: «I am sorry» и «etc».
И такая вот петрушка каждый вечер на душе.
Выпьем с горя, где же кружка!
Или бросила уже?..

* * *

Заплутал Бог в пелене вьюг.
Вот и снег лёг, дорогой друг.
Из окна – звук, из стены – гвоздь.
Дверь открой, вдруг там стоит Гость?

Он обрёл свет и принёс весть,
весть, что нас нет, а Господь есть.
Так что, друг, верь в то, что мир мал,
и закрой дверь. Нынче снег пал.

* * *

Этот город напрасно считает свои витражи,
размалёванных стёкол мозаики в зарослях света,
мимо коих с утра мы сквозь жизнь на работу бежим,
уверяя себя, что когда-нибудь кончится это.
В этом городе снег – декорация долгой зимы,
бутафорский асфальт. Или так, суррогат нафталина.
Он уйдёт по весне в водосточные трубы. И мы
будем пить этот бром с чуть заметною примесью глины.
Город в чём-то не прав. Город выстроил цепь фонарей
в назиданье слепым и любителям лунного зноя,
кавалькады домов, галереи закрытых дверей,
за которыми спят безмятежные правнуки Ноя.
Город кончился. Далее – мост, что ведёт в никуда.
И, похоже, единственный выход из этого плена
за изломом перил. И в проёме темнеет вода.
А река всё течёт и молчит,
как открытая вена.

Колыбельная

Всё должно перемениться,
как Емеля ни мели.
Солнце за гору садится
на другом краю земли.
Там до нас, моя родная,
никому и дела нет...
Спи, малыш, я постараюсь
уберечь тебя от бед.

Слушай песенку мою:
Баю-баюшки-баю.

Я, на небо уповая,
столько лет тебя искал,
сам в себе одолевая
обе стороны зеркал.
Мне ещё хватает воли
не держаться за края,
вроде волен, в поле – воин,
только я – уже не я.

Я не таю, а таю:
Баю-баюшки-баю.

Только жизнь – смешная штука,
припасла для нас, для двух,
вместо запаха и звука -
обоняние и слух.
С неба льёт вода живая,
скоро утро, день прошёл.
Спи, родная, всё бывает,
спи, всё будет хорошо...

Баю-баюшки-баю, –
Я тебя не узнаю.

Течение

Унесёт меня теченьем река,
но поймают рыбаки и спасут,
а, очнувшись, чтоб не быть в дураках,
я течение с собой унесу.
Посажу его за праздничный стол,
отогрею, так и быть, коньяком.
Вот когда мы перевалим за сто, –
я и буду перед ним дураком.
Расскажу ему про быт, про дела,
расскажу, как через жизнь моросил,
как напрасно меня мать родила,
хоть об этом никогда не просил,
Про любовь ему скажу и про боль,
и вторую отворю коньяка.
Тут уж, знаешь, согласиться изволь:
жизнь, течение, тебе – не река...

Так сидел бы и всю жизнь заливал,
но, чуть только перевалит за три,
посмотрю, – оно не то, что Нева, –
еле тёпленькое, что твой Гольфстрим.
Я налью ему ещё пару раз,
а как станет чересчур горячо,
так возьму – и отпущу в унитаз, –
и пускай себе обратно течёт.

Ольга Кортусова

ХАКАССКИЙ ДНЕВНИК

1.

Луг в розовом дыму – цветёт кипрей.
Согласными кивают головами
герань и колокольчики в траве,
летают бабочки над ними.
Это славно!

Вороны, чёрные, как уголь антрацит,
вдоль по обочинам сидят дороги старой.
Но мимо лихо мчится мотоцикл –
летят, махают крыльями устало

и прячутся в кудрявые кусты
лесной реки Китат, что неприметно,
русалочки пускает ручейки
в зацветших камышах.
Проходит лето.

И далеко ль уже до сентября?
Уже пошли весёлые лисички.
И все об урожае говорят,
и о плохой погоде – по привычке.

2.

Взывающе звучит бензопила...
О, утренняя песня муэдзина!
На облаке тоска гнездо свила,
и падают дождливые слезинки.

Там, за окном летучий лёгкий змей
рвёт привязь, увязавшись с облаками
за горизонт, где небеса синей,
где солнце ясное сияет и сверкает.

Сняв кожурою луковой с души
ночные сны, уже не вспоминаю
высоких сосен, запахов лесных –
степные ветры душу пеленают.

3.

Нет, я не знаю всех по именам,
но рада их созвучию. И хору
цветов поющих голос свой отдам,
а после в их цветные разговоры
вплетусь, как равная.
Я тот же воздух пью.

Я в том же чистом воздухе купаюсь,
я, как они, пою и говорю,
на цыпочки в траве приподнимаясь.
Смежило небо веки, и лучи,
как копья алые из солнечного глаза,
рассыпались. Как яркие и чисты
все голоса цветов в закатной фразе!

4.

Озеро Белё

Опять подуло. Розовой волной
истерзанные перья белых чаек
несёт на красный берег. Яркий зной
и ветер. Облака идут, качая
боками белыми. Их тени по холмам
скользят и заливают чёрным склоны.
Всё – как угодно каменным Богам,
согласно их нетленному закону.
Соль горькая осталась от воды,
покрыла губы, но как сладко душу
баюкает волна – не жди беды,
меня послушай, слушай, слушай...

5.

Ныряют, точно рыбы, меж холмов
и жёстких трав колючих трясогузки.
Их веера – то крыльев, то хвостов –
то здесь, то там. Дрожит от ветра кустик.
А воздух свежий кажется водой
прохладною. Как ощутимо море!
И слышится – зелёный бьёт прибой,
а волны – к небу вздыбленные горы.
Сорвав с цветка, шмеля уносит вдаль
внезапно налетевший с юга ветер.
А в небе самолёта борозда,
летающего совсем в другое лето.

6.

Удод

Утешенье глазам – твой волшебный порхающий танец.
Ты склоняешь головку, ты прячешь её под крыло.
Занавешено сердце ненастьем, но ты над цветами,
и я думаю втайне, что всё-таки мне повезло.

Сшей мне, пёстрый удод, клювом длинным, изогнутым платье
из цветущей степи, где гуляет мечтательный скот,
обрывая цветки, где холмы, точно женские плечи, покаты.
Сшей мне лёгкое платье, весёлое платье, удод.

7.

Тени, как мысли, проходят по склонам пустым
и омрачают спокойствие дня. Потаённые страхи
вдруг выползают наружу. И мучает стыд
душу, и хочется тонко скулить по-собачьи.

Тени проходят. И мир снова радостно тих,
волны холмов зеленее. Мне кажется, годы
можно молчать, если в тихую душу впустить
древнюю тайную душу природы.

Вновь перемена в погоде – большие стада
белых больших облаков направляются к югу.
Но перемена в погоде – ещё не беда.
Мечутся мелкие птахи в мгновенном испуге
и затихают.

* * *

Туннелем ночи – длинным, как река –
текут слова различного калибра
туда, где стихотворная строка
остановилась – ямба ли, верлибра?
Слова духовные и брани площадной...
И я плыву туннелем этой ночи,
в сон мутный погрузившись с головой, –
река несёт, река меня выносит
туда, где никогда я не была, и где не буду.
Тяжёлые гудят колокола, и цвета чудо
празеленью из синевы воды
всплывёт и пропадёт. На белом свете
так мало и любви, и красоты,
и человеческой весёлой радости.

Холодная волна,
как кожа, гладка.
Ты ведь не спишь,
и всё сидишь одна
и чертишь чёрных чёртиков в тетрадке.
Туннелем ночи медленно скользят
слова и рыбы.
Лови! Их так легко поймать сейчас
для ямба, для хорей, для верлибра...

А. Цыганкову

Этот город пуст и прозрачен,
и воздушен. Простой синице,
мне, живущей совсем иначе,
странны здания, храмы, лица
строгих статуй. Мне незнакомы
улиц эпосы и легенды,
и лилового неба громы,
и язык этот вещий, но бедный
междометиями восторга
и веселия.
Волн движение
в каждом сущем рождает гордость,
дух, не терпящий поражений.
Где стоят корабли у причала –
ни души. А Море вздыхает,
точно в первые дни Начала.
Но синица... она ж – *порхает*.
Есть ли слово подобное в Вашем
языке? Есть ли место *синицам*?
Флаг на мачте застывшей машет
облакам, как платочек из ситца.

Беседка.
Дождь.
Пожухлая листва.
Синицы пухлые, с весёлым любопытством
снующие под лавками. Трава
ещё зелёная. Всё та же осень длится
из года в год, года сшивая в жизнь.
Сентябрь.
Дача.

«Новый мир» на полке
за прошлый век. Под потолком жужжит
оса. Под лиственницей жёлтые иголки.
И птицекрылая – танцующий журавль –
рябина, точно посреди Вселенной,
посередине тесного двора.
Свернулось солнце на моих коленях
уснувшей кошкой. В небе паруса,
верблюды облачные, быстрой стаей птицы...
А память возвращает голоса
и лица.

Случай свёл – разведёт нас –
двоих, в колокольцы звонящих,
смеющихся – раз уж звонить, так всласть –
что смеха нашего слаще?

И счастливы мы, и в руке рука,
веселы мы, и рады,
жизнь так приятна и так легка –
не надо другой награды!

Мы знаем: каждый счастливый день
разлуку торопит. Длинной,
большой и густой стала общая тень,
резче размытые линии.

Печалью стоит ли омрачать
день? Радость последнюю стащит
эта печаль. А лучшая часть –
последняя – что её слаще?

Щебетанье птичьей стаи
неспокойно за окном
в темноте ночной, где тают
очертанья – клён ли, дом?
Всё черно и всё едино.
Щебет листьев. Тихий звук
серебристой пелериной
накрывает всё вокруг.
Неизбежность перелёта...
Полупризрачные сны,
тайны шорох в переплёте
чёрной книги тишины.

Так не забудь о листьях под ногами,
когда привычно уходя в себя,
раскладываешь мыслей оригами.
Полу плаща по-детски теребя,
вздыхает ветер кротко и, не смея
тебя тревожить, затихает. Что ж...
Вот между облаками рассинелось,
блестит трава, асфальт. А ты идёшь,
задумавшись. И мокрая налипла
на плиты тротуарные листья,
там, где вчера ещё желтела липа
в безмолвной солидарности родства.

Светлана Вьюгина

рассказы

ВОРОНА НА ЛЬДИНЕ

Наша речка от дома совсем недалеко. Вон за тем вот двухэтажным зданием детского садика.

Тип-топ, тип-топ,
А медведь не остолоп!
Тик-так, тик-так,
А зайчишка не дурак!

Споёшь двенадцать раз эту песенку – и ты уже на берегу речки.

Хорошо тут и зимой – среди сугробов, и летом – под пышными зелёными зон-тами деревьев, и золотой осенней порой да и сейчас, апрельским днем.

Иду по мягкому, пока еще не зеленому, бережку и смотрю на скользящую мимо воду, придумываю новую веселую песенку...

Глядь, с дерева слетела большая красивая ворона и – диво-дивное! – опусти-лась на небольшую белую льдину. Льдина плывет, а ворона – на ней. Стоит, по-сматривает по сторонам, чёрный клюв блестит на свету, глаз – то один, то другой – хитро поглядывает на меня. Вот, мол, я какая смелая! Плыву по речке, ничего не боюсь, а попробуй-ка!..

Да куда уж мне в такое опасное плавание отправляться, я такой холодной воды боюсь!

А тут ребята из детского садика на прогулку вышли. Кто-то увидел ворону и закричал:

- Смотри, ворона на льдине плывет!
- Ой-ой! Она же утонет!..
- Ворона!.. Ворона там!.. – кричат ребята своей воспитательнице.
- Утонет ворона! Утонет!..

Ворона покрутила-покрутила удивленно головой – и как каркнет:

– Вороны не тонут! Кар-р-р! Вороны!..

Взмахнула крыльями – и полетела...

Я возвращалась домой и думала, что к завтрашнему утру надо непременно придумать песенку про ворону на льдине.

А может быть, придумаем ее вместе, а?..

Хорошая песенка получится!

ЗЕЛЁНЫЙ ЛЁД

Вчера утром я увидела необыкновенную картину, можно сказать, чудную.

Давайте расскажу об этом по порядку.

Всю зиму – и в декабре, и в январе, и в феврале – всё было белым. И двор нашего дома, и пруд за домом, и его берега, и даже небо часто было белым, пото-

му что в нём летали то большие, то совсем маленькие снежинки. Потом, в марте, стало часто – и утром, и днем, и вечером – сиять теплое солнце. И снег начал таять. И в нашем дворе, и на берегу пруда, и на его льду. А когда на пруду снег весь растаял, то лёд стал желтеть. Чуть-чуть. А вот вчера...

А вот вчера, когда я пришла к пруду, то тут-то я и увидела чудо: лёд стал зелёным! Да-да, он стал зелёным, а если точнее, тёмно-зелёным. Глазам своим не поверила сначала. Представляете, у берега – белый лёд узкой полосой тянется, а середина – зелёная! И я сразу вспомнила, на что это похоже. У моей мамы был такой перстень с малахитом – кусочком чудесного тёмно-зелёного уральского камня. Кусочек этот был гладенький, отполированный руками умелого мастера, а вставлен он был в серебряную оправу. Такая светлая каёмочка оттеняла мягкий зелёный цвет малахита. Когда мама снимала перстень с пальца, я частенько любовалась им.

А тут вот – огромный малахит в белой каёмке прибрежного льда. Вот оно, первое весеннее чудо!

Не зря, совсем не зря по берегу пруда ходила красивая серая трясогузка. Она кивала своим длинным птичьим хвостиком, будто одобряла мою радость: весна – это очень хорошо, это красиво!

НА ВЕСЕННЕМ БЕРЕГУ

Пригорок у нашего пруда стал зелёным – весело на него смотреть! У самой же воды в траве там и сям появились маленькие жёлтые солнышки – это цветы мать-и-мачехи.

Вот такие две прекрасные весенние новости!

А есть и третья, скажу вам по секрету.

На воде я увидела двух плывущих уток, не домашних, конечно, а диких. Присмотрелась. А утки-то разные! Одна одета в серенькие с коричневыми пятнышками пёрышки, а другая... У нее тёмно-фиолетовые продольные полосы чередуются со светло-серыми, почти белыми. А какого же цвета головка с плоским жёлтым клювом? Вот она – черная. А повернулась к солнцу – и стала фиолетовой, с искорками. А еще чуть повернулась, и фиолетовый цвет перемешался с зеленым. А жёлтое кольцо на горлышке – глаз не отведёшь!

Опять же – по секрету – скажу: вот эту яркую утку называют селезнем. А утку пятнистую – просто уткой.

Если у вас есть рядом пруд или речка, приходите на берег и полюбуйтесь чудесами весны.

СОЙКА И БОБ

Мама приоткрыла дверь и ступила на крыльцо.

– Ваня, чем ты тут занимаешься? Слышу, стучишь, стучишь...

– Я, мама, занимаюсь делом! Гвоздики в чурбак забиваю. Скоро он весь серебряный будет. Хорошее у меня дело?

– Хорошее, – согласилась мама. – Только пальцы береги. Ладно?

– Ладно.

Боб – мой пёсик, мой друг – посмотрел на маму, вздохнул и опустил голову на лапы: он не любит, когда нам мешают заниматься делом, но никогда не ворчит, только вздыхает.

Где-то за домом затрещала птица. Я бросил молоток на землю и пошел за дом.

На дереве сидела сойка; она вертела головой и трещала. Птицу эту я знаю. Она, как сорока, разносит в лесу новости на хвосте, так говорит папа.

– Почему ты кричишь, сойка? – спросил я. Сойка мне не ответила. Стала опять трещать и крутить головой. Я посмотрел туда, куда она указывала перьями хвоста.

– Там? Там, где ворота?..

Боб опередил меня. Он бросился к калитке, потом пригнулся, посмотрел в щелочку и стал лаять. В лесу, за калиткой, хрустнули сухие ветки, кто-то шел к нашему дому... Может, медведь? А может, много медведей?..

Боб встал на задние лапы и забарабанил передними лапами по калитке. И тут кто-то постучал и сказал:

– Открывайте... Выходите, посмотрите на лесной урожай!

– Что за шум, братцы-петроградцы?

Мама отодвинула щеколду и распахнула калитку.

А, да это же дед Володя! Наш сосед. Дедушка Вероники. На улице тепло, а он – в толстом зелёном плаще, в резиновых сапогах, в синей кепке.

– Зачем?.. – спросил я. – Плащ зачем?

– Да ведь в чаще и паутина, и хвоя сухая сыплется, и веточки всякие ... А сапоги? .. По болотцу какому шагать хорошо...

– Да ладно! Вы смотрите в корзину, – улынулась мама.

Дед Володя поставил корзину на землю.

– Это подосиновик, – указала пальцем мама. – Да крепенький какой! Красавец.

– А это? – я ухватил руками два толстеньких гриба.

– Боровики, – объяснил дед Володя. – Видишь, какие они в нашем сосновом бору растут? Загляденье!

Вверху что-то щелкнуло. Я поднял голову. На длинной ветке, почти над нами, покачивалась сойка. Она подмигнула мне – и скрылась в лесу.

Вот какую новость принесла сорока на своем хвосте – о лесном урожае. Завтра мы с мамой и Бобом-Бобиком тоже пойдем красоту грибную искать. Боб будет нас охранять от зубастых волков, а сойка – летать-трещать и дорогу показывать.

ЗВЕРИНЫЙ МИР

– Па!

– Что, Ваня?

Папа чинит крышку нашего колодца. Сейчас он пилит на чурбаке новую дощечку и тихо напевает какую-то песенку.

– Мама сказала по телефону тете Юле, что у нас в лесу богатый животный мир...

– Так и есть. Много тут водится всякого зверья.

– А почему мама сказала «мир»? У нас в садике, когда два мальчика подрались, потом тоже стал мир: они сцепились мизинцами и говорили: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись!» А вокруг них все водили хоровод... Значит, в лесу звери не дерутся?

– Хищники, скажем, волки – дерутся, а белочки – нет... Мир – это когда все ведут себя тихо, недрачливо. Но есть у этого слова другое значение, то есть оно означает и другое...

Папа кладет пилу на чурбак, садится на траву и хлопает по ней рукой.

– Садись. Посидим рядком, поговорим ладком. Так вот. Есть дикие животные... Они живут в леммах и полях. А есть домашние животные: коровы, козы, овцы, кошки, собаки... Они подружились давным-давно с людьми и стали жить рядом с ними. Люди даже стали давать им имена – клички. А вместе – дикие животные и домашние животные – и есть животный мир. То есть множество похожих называют миром. Вот оно другое значение слова!.. Мир людей, или человеческий мир. Мир животных. Мир насекомых – мухи, жучки, паучки и всякие там разные букашки... Мир птиц, рыб... Вокруг нас живет много всяких миров.

– Папа, а я диких животных буду называть звериный мир! Можно так?

– Можно, конечно, можно...

Папа улыбается. Я вижу, вижу, что ему понравилось мое название.

– Ну, в таком случае, давай-ка вспомним, кто в нем числится, в твоём зверином мире. Кто в нем первый? Медведь?

– Медведь, он любит реветь!

– Волк...

– Зубами щёлк!

– Лисичка...

– Сестричка!

– Бобр...

– Добр!

– Куница...

– Бобру сестрица!

– Белка...

– Пушистый хвост!

– Зайка...

– Попрыгайка!

– Ну, пока хватит, Ванечка. Молодец! А я ... пойду-ка прибавить дощечку. А то мама скоро нас позовет обедать.

Надо, надо мне идти сегодня с папой и мамой в лес. Там живут разные-разные миры!

ТАЙНА ЗЕЛЁНЫХ ЁЖИКОВ

Катя сидела за своим столиком и раскрашивала фломастерами рисунки в книжке. И тут – хлоп! – на столик что-то откуда-то упало и скатилось на пол. Катя нагнулась и увидела тёмный орех.

Под светом настольной лампы коричневый орех заблестел, как будто его искупали в оливковом масле. Откуда он упал? И почему где-то тут, рядом, хлопнуло?

Будто кто-то стрелял из новогодней хлопушки, но вместо разноцветных кружочков конфетти из нее выскочил вот этот орех.

Катя встала и осмотрелась вокруг. На её диване никакой хлопушки не было. Гардероб был закрыт. Книжный шкаф – тоже. Где же она затаилась, странная хлопушка? Катя подошла к окну и увидела рядом с цветочным горшком открытую белую пасть. Катя осторожно сунула в неё фломастер. Беззубая пасть не захлопнулась, не чмокнула, даже не шевелилась нисколько. Катя осмелела и взяла непонятное чудо-юдо в руку. Оно было колючим – зеленые иголки торчали вокруг белой, приятно пахнущей пасти. Вот, наверное, из неё-то и выпрыгнул блестящий орех.

Катя пошла на кухню, чтобы показать маме находку. Мама варила-помешивала ложкой пахучий борщ и тихонько пела.

– Гляди, мам! Погляди, что у нас на подоконнике завелось. Чудо-юдо! «Диво дивное»! – повторила она строчку из сказки. Щёлкает и орехи пуляет.

– А, да это же я принесла! – улыбнулась мама. – В соседнем дворе, когда с Лесей гуляла, под каштаном нашла. Орехи с него зелёные падают, вот я один и подобрала...

– Значит, орехи в зелёных ёжиках живут?

– Значит, живут, – рассмеялась мама.

... Леська, как всегда, бежала впереди. Иногда останавливалась, нюхала что-то под кустами и бежала дальше, помахивая белым пышным хвостом.

– Мама, посмотри! – Катя дернула маму за рукав плаща. – У нас один есть, а тут их вон сколько, зеленых ёжиков!

И точно. На обведённых жёлтой каёмкой листьях рядом с дорожкой стояла стайка зелёных ёжиков. Собрались куда-то, да остановились подумать: куда же им бежать, куда нести свои коричневые орехи? Зима скоро, снег выпадет, морозы будут... А им куда бежать?

– Куда же им бежать? Пропадут они...

– Не пропадут, Катюша... – сказала мама. – Их унесут домой ребята и до поры до времени не будут знать, что эти зелёные ёжики не простые, что внутри у них тайна. И скоро они её громко откроют.

– Как бабахнут!..

– Точно-точно! Как бабахнут!

Леська остановилась, повернула к ним маленькую белую мордочку и помахала пушистым хвостом.

– А весной, – сказала мама, – орехи откроют людям еще одну тайну – зелёную, главную.

– А зелёная тайна красивая?

– Очень-очень!

ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЕТЕ?

Из мусорного бака вынырнула остроклювая голова вороны, потом показалась и сама ворона. Ворона огляделась по сторонам и, опустив голову, что-то буркнула. Из бака появились еще три вороны и усталились на Митю. Он стоял на высоком тротуаре и смотрел на любопытных птиц.

– Что вы там делаете? – спросил Митя.

Одна ворона – та, что посередине, подмигнула Мите и пробурчала:

– Мы делаем что-то.

– Если что-то, то делайте! – весело крикнул Митя.

Вороны снова нырнули в бак и зашебаршили там когтями и клювами.

– Ми-тя!.. – позвала мальчика бабушка. – Беги ко мне! Пойдем гулять в парк!

Одна ворона вылетела из мусорного бака и уселась на ветке берёзы. В клюве у нее была длинная куриная косточка.

– Вот безобразница! – сказала Мите бабушка. – Сейчас погрызет-погрызет косточку, а потом бросит её на землю.

– Так она, наверное, её для собачек бросает. Они съедят и спасибо вороне скажут.

– Да уж... – ответила бабушка. – Спасибо... Собачкам нельзя грызть трубчатые куриные кости, они острые, могут собачий желудок поранить... А что умны вороны... действительно, умны. Видел, как дядя им кусочки сухарей бросает? Тот, что из третьего подъезда. Он, человек ученый, хвалит ворон за ум. Они приметливые, вороны, запомнили, где живет кормилец, когда из подъезда на работу выходит. И сидят тут как тут. Мол, мы – здесь, мы здесь! А сухарики они сначала в лужах размачивают...

– А они же в школе не учились?

– Почему же не учились? У них есть своя, воронья школа, там они и набираются ума...

Бабушка взяла Митю за руку.

– Пойдем-ка, Митя, на качели. Видишь, и Миша, и Света уже там...

– Я, бабушка, скажу им, что нам тоже надо в школе учиться!

– Не в вороньей, надеюсь?

– У нас крыльев нету, – засмеялся Митя, – мы в детскую пойдем.

Владимир Макаренков**«МЕЛЬКНУЛО В ВОЗДУХЕ КРЫЛО»****ОТЕЦ**

Постучался в окно отец
И сказал, как живой, сердечно:
– Выходи погулять, малец,
Там, где жизнь не горька и вечна.

Покажу тебе Божий мир
Без ночей и земных окраин,
Чтобы стал пуще дома мил,
Пуще жизни самой желанен.

И пошел я на отчий зов –
Клюв печали из сердца вынуть.
Но закрылась дверь на засов.
Даже с места брусок не сдвинуть.

Побежал я к окну на свет.
В подоконник вросли щеколды.
Улыбнулся отец в ответ:
– Знать, сынок, не созрели годы.

Не затем я, сынок, спешил –
Испытать тебя чувством долга,
А затем, чтобы сын мой жил
На земле без отца долго.

ПЕРО

Мелькнуло в воздухе крыло.
Упало под ноги перо.
Взглянул наверх – и ослепило
Богopodobное светило.

Перо на солнечном пиру
В цвета затеяло игру.
Переливается, мерцает,
Паденье наземь отрицает.

В руках верчу.
– Перо, ты чьё?
– А ты не знаешь, дурачье,
Кто небеса обороняет
И перья яркие роняет?

– Так ты волшебное.
– И что?
Без веры в сердце я ничто.
Молись светилу – все хотенья
Исполнят вышние веленья!

И пальцы я разжал:
– Лети.
Мы – дети нового пути.
Забыты древние поверья.
Никчемны солнечные перья.

* * *

Ты говоришь, мол, всё познал
Про свет и тьму, добро и зло,
Мол, сам Господь тебя позвал
В ладью любви и дал весло.

А я, брат, в темени всю жизнь
Влачусь на еле видный свет,
Хоть замолишь, хоть забожись,
Прося спасительный совет.

Но там, за гранью бытия –
Земным оплотом темноты –
Открою тайну света я –
Неведающий, а не ты!

Кто всё познал, тот мёртв давно!
Смертельный яд – его завет.
А вечное тому дано,
Кто в темноте идёт на свет.

ПОЧКИ

Призывно, весомо, сурово
И даже обидно подчас
Звучало отцовское слово,
Учившее мудрости нас.

В слепом послушанье внимали
Наказам отцов сорванцы,
Ведь сердцем-то не понимали,
О чём наставляют отцы.

Пожив, пообтёршись на свете,
Мы знаем: огонь там, где дым.
С тревогой за будущность детям
Родительский опыт твердим.

Они нам притворно внимают,
Но бредят своим наяву,
Как почки послушные маю,
Распахнутые в синеву.

ЗАТЯЖКА

Примеривал твою рубашку.
И, как булавкой, зацепил
На сердце новую затяжку.
Потянешь – не порез, – распил.

Как неуёмную надежду
Жестокой правдой погасить?
Надену ли твою одежду?..
Тебе бы, сын, мою носить...

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Пустынны дни и сны. Бесплодны годы.
Усталость от страстей... затей... идей.
Всё более зависишь от погоды.
Всё менее зависишь от людей.
И отстранённо смотришь на веселье.
И безысходно мертво угрюм.
Жизнь выпита.
Лишь в тягостном похмелье
Наркоза ищет отрезвленный ум.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН

В рождественские дни Поэт приснился.
В расцвете сил, в расстёгнутом пальто
В дверном проёме скромно появился.
Но не увидел призрака никто.

Один лишь я, лицом помолодевший,
Воспрянувший с цветочною листвою,
Увидел взор совсем не охладевший,
Услышал голос авторский живой.

До боли были все стихи знакомы.
Преобразился дом в гостиный зал.
Но я, взахлёб напевами влекомый,
Нашёл различья с текстами, что знал.

Вот сказано, есть многое на свете,
Неведомое нашим мудрецам.
И впрямь... поэты даже после смерти
В трудах над словом. Образец юнцам.

* * *

Хотел я о жизни своей написать
Подробную дивную повесть.
Так, чтобы на старости книгу листать,
Приняв всё былое за новость.

И начал уж было тусовкою дат.
Да выкрикнул демон знакомый:
«Что жизнь твоя миру? Житейский стандарт.
По списку, какой миллионный?

Родился, крестился, ходил в детский сад
И в школе усердно учился,
Диплом получал, строем строил солдат...
А дальше – по службе влачился».

«И вправду, – задумался – демон-то прав.
Ведь суть не замашешь кадилом.
Ведь общее, личное грубо поправ,
Главенствует в судьбах над миром».

И стало мне грустно от мысли такой.
И я покосился на небо.
И благом представился вечный покой.
«Да, всё, что я прожил, – нелепо!» –

Так я артистично, но глупо изрёк,
Штрихуя бывшего картину.
Пошёл я за пивом в ближайший ларёк.
А демон смеялся мне в спину.

«НАДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К СЛЕЗАМ...»

Дремотой выложено дно
Непроходимого оврага...
Размотанное полотно
Тумана —
мнится белым флагом.
Росой стреножена трава,
Ручья запутаны поводья,
И тяжелеет голова,
И сон не в силах побороть я...
Я был, казалось, на коне
В последнем нашем разговоре...
Заката шрамы — всё длинней
В небес болезненном узоре.
Густеет темноты бальзам...
Тебя я встречу, без сомненья —
На дальних подступах к слезам,
На тайных тропах пробужденья.

Поэты вне себя живут,
Их крик – на грани преступления.
На троне «мэйд ин Голливуд»,
В пыли «высокие стремленья»...
Не по одной ли шли цене
Мечты Обломова и Штольца?
Но лишь на срубленной сосне
Заметны годовые кольца.
И если рифма – дочь смолы –
Стихи похожи, вероятно,
На схватку века и пчелы,
Вражду неясного с понятным.

Откуда наш алкоголизм –
Да уж не из Аддис-Абебы...
Ту баттл, слышишь, гив ми плиз,
Чтоб я хоть чем-нибудь владел бы!
Увеличительным стеклом –
Играют в детстве, пацанами...
Между познанием и бухлом
Мы выбираем не познание...
В конце концов, уж сулемы
Под видом водки не подсунут!
За жизни потаённый смысл
Двумя руками голосую:
В одной пузырь, в другой фuffyрь –
Вперед, народ, в Большой Корытный!
Бутылка – спящий поводырь
Ленивым и нелюбопытным.
Законы жизни – конденсат
На стеклах, на листьях растений...
В строке «возделывай свой сад»
На слове «свой» ставь ударенье!
И пусть закрылся магазин,
Пускай весь мир в секунду рухнет,
Я больше вам не гражданин –
Хозяин! Рюмки, вилки, кухни.

Game over

Читать, писать, считать мы научились,
Преодолеем пропасть в два прыжка,
И позволяют изредка врачи нам
Не думать о секундах свысока.
И если очень-очень осторожно,
И на лице следов не оставлять –
Писать стихи со словом «Путин» можно,
Другой вопрос – кто будет их читать?
Я не люблю, когда – наполовину,
Когда нога – отдельно от башки.
Какой успех – захватить сердцевину
И распродать вершки и корешки...
Не проследишь, кому и сколько порций,
Когда бесплатным сыром занят рот...

Уходят стихотворцы в миротворцы,
А как бы сделать, чтоб – наоборот?
Когда ж введут купюры цвета хаки?
Ведь как за эти деньги воевать –
Прекрасно видно водяные знаки,
Но отпечатков пальцев не видать.
Врага вооружённый вице-спикер
При всех пошлёт в страну на букву «ж»...
Что не покажет лакмусовый стикер,
Подскажет новый «лексус» в гараже.
А есть еще и «ауди», и «вольво»,
И на Рублёвке трёхэтажный дом...
Вопрос ребром: «Могу себе позволить?»
Поставлен – после крови, а не до.
А этот, вот ведь, как его, прозаик –
Ну, прямо, как ребёнок, боже мой!
Давно уж преступление с наказаньем –
Два разных тома с разной судьбой.
И кто мы есть – для нас самих загадка,
Известно только, что до той поры,
Покуда Мармеладовым несладко,
Раскольниковы точат топоры.
Шанс есть у всех, чего там прибежаться!
Но вот напал на тактика стратег...
Семерка, тройка, туз объединятся –
И в сумме выйдет двадцать первый век.
Венчают муси-пуси с джага-джагой –
Всё хорошо, маркиз де Беспредел!..
Вот только не хватает Окуджавы
И тех, кто взяться за руки хотел.

За кулисами

Мне кажется порою, что я клоун,
Который и не хочет, а смешит:
Поправит грим, успехом избалован...
И больше ничего не совершит.

Арены превращаются в вольеры,
Как так – глазами хлопает сова.
Сегодня в цирке запертые двери.
И надпись: «Все ушли голосовать».

В который раз мы фигу с маслом съели –
Никто не вспомнил про холестерин.
Когда не виден свет в конце туннеля,
То это не туннель, а лабиринт.

В семнадцатом году всё было проще:
Слышал, поди, о залпе холостом...
Хлыстом кто щёлкнет, тот и дрессировщик,
Кто не успел – пардон, вилай хвостом.

Не фокус ли: мы целы-невредимы –
Товарищ Путин, низкий вам поклон!
Скажите мне свой сотовый, Владимирыч –
Я кину вам полтос на телефон.

Жаль, в лабиринте нет мобильной связи
Ни с прошлым, ни с грядущим, ни с Кремлём...
Я не стремлюсь, как все, из грязи в князи:
Обратный путь отнюдь не в чернозём.

И в поисках душевного покоя
Рука сама разматывает нить...
Канатоходец пятый день в запое,
Но вниз спуститься – не уговорить.

Виктор Вайнштейн**«МИНУТА ОТСТРАДАЛА,
ОТЗВУЧАЛА...»**

Охристой рудою шалой
Загорается восток.
И ложится отблеск алый
На оранжевый песок.
Желтизна сменила зелень
Строго по календарю,
Голубой небесной прелью
Отмывает день зарю.
И плывёт сквозь полдень звонкий
Листьев палых синий чад
К фиолетовым сутёмкам
И к ночи в твоих глазах.

Сквозит сквозь свист и холодок, и свет,
И листья не висят преградою простору.
Модистка-осень раздевает лес –
Готовит его к зимнему убору.

Минута отстрадала, отзвучала,
отпела, отплясала, отмолчала,
отмучилась – и тихо улеглась.
Заласкана, закрашена, забита...
И умерла, и кажется, забыта...
И где-то там с Историей слилась...
И, замечая той минуты след,
метет над нею круговертью лет,
и годы прахом на неё ложатся,
и в их завалах канула она,
как зернышко среди горы зерна,
чтоб плесневеть. Забытое богатство
в давно закрытых старых закромах...
И воды Леты сквозь неё сочатся...

Но парадокс: от этих вод, сквозь время,
минуты снова прорастает семя
и кажется, что листья говорят,
и плод её огня и хлада полон...
Тогда и говорит нам мудрый Воланд,
что рукописи не горят...

Передо мною чистый лист.
Ложится на него строкою
ещё не понятая мысль,
не зная, что она такое.
Она то вязнет в пустоте,
то лезет потом через поры,
то вспыхивает, точно порох,
то замирает в немоте,
распластанная на листе...
И вдруг прозрачна, как вода,
встаёт с истерзанных страниц...
А завтра снова, как беда,
возникнет белый лист.

ЗАПИСКИ СЕМЕЙНЫЕ

Георгий Торощин

ТРИ БРЕВНА

Моим родителям и землякам

1.

Конец сентября. Сундук и несколько узлов в лодке на досках. Над рекой ползут тяжелые тучи, серая вода хлюпает о борт лодки. Зябко после теплой избы. Бабушка надевает на меня шаль крестом на груди и завязывает на спине. Я пытаюсь противиться, но с бабушкой не сладить.

– Ну, с Богом, внучек, – бабушка что-то говорила ещё, крестила меня рукой три раза. Отца и мать постеснялась перекрестить. На берегу стояли дедушка, бабушка и брат Гена, который оставался с ними, пока мы «не обустроимся» на новом месте.

Моторист долго крутил заводную ручку мотора – наконец, тот зачихал, выплескивая едкий дым из трубы, катер затрясся, дернул прицепленную к нему бок лодку, кто-то сбросил причальную веревку, и мы отчалили.

Уменьшаясь, проплыли знакомые улицы и дома, высокий яр, источенный стрижами. Прощай Елтырево – родина моя...

Лет через пять я приеду в гости к дедушке и бабушке, буду вспоминать все это, рассказывать ребятам, с которыми дружил. С ними мы будем бегать босиком, гонять змей, ловить бурундуков. В ближайшем лесу лазить за терпкой черемухой и купаться в тихой заводи песчаного острова около деревни. Но это будет потом, а сейчас мы ехали вверх по реке Кети на новое место жительства.

Мимо нас проплывали пустые берега, кое-где стояли стога сена, потемневшие от сырости и неудобные. Полетели первые снежинки, отец чем-то прикрыл узлы от снега. Стало холодно. Мы перебрались через борт лодки на катер. В рубке было тепло, чем-то воняло от мотора, из-за шума ничего не было слышно. У штурвала стоял рулевой, моторист качал помпой воду из трюма. Я испугался, что мы можем затонуть, тоже попросил покачать. Матрос был молодой, очевидно, знакомый отцу, заулыбался и разрешил покачать. Я долго качал воду, дергая за ручку туда-сюда, устал, но согрелся. Меня уложили на лавку. Надо мной было небольшое стеклянное окно, в которое захлестывало ветром брызги. Но в каюте было уютно, и я уснул...

Я не стану описывать крупных разговоров отца с дедом о предстоящем переезде – это был 1947 год. Отец только что вернулся с фронта, после окончания войны с Германией он был «переформирован» на войну с Японией, но доехал только до Байкала. Война окончилась, и он был отправлен домой.

Лесная промышленность в это время осваивала новые территории, и отцу было предложено работать мастером заготовок в Кузуровском лесозаготовительном пункте.

Отец был молод и здоров, несмотря на свои три ранения и две контузии, имел к тому времени большой стаж и опыт в работе. Он с тринадцати лет работал на заготовке леса, и перед войной окончил лесотехническую школу по специальности «мастер лесозаготовок». Мы с братом по возрасту еще не подходили в школу, и

отец согласился работать мастером на Налимовском лесозаготовительном участке. Хотя вряд ли кто спрашивал его согласия, но все же предпочтение участникам войны оказывалось. Это было от поселка Кузурово примерно в шести километрах на север.

До Кузурова мы добрались ночью, катер причалил в какой-то улочке, что упиралась прямо в залив, по которому мы заплыли от основной реки Кеть. Собаки лаяли, отзывались другие по всей деревне. Мы постучались в первый дом, хозяин запустил нас. Коротко справившись о цели приезда, нас накормили и предложили ночлег. Так мы у них прожили неделю или даже больше, пока отцу не набрали для работы людей, лошадей, инструмент и все необходимое для лесозаготовительного участка.

Позднее, года через полтора, этот же хозяин – Серебренников Иван Михайлович – продал нам свой дом, я не знаю, по какой цене, по случаю отъезда. У них к тому времени подросли дети и они уехали в Бийск, на родину. Это был уже 1948 год, спецпереселенцев открепляли от комендатуры, и можно было получить паспорт.

2.

Мне часто приходилось быть в местах своей молодости, и, встречаясь с земляками, расспрашивать их о жизни и быте сейчас, и сопоставлять с жизнью в то послевоенное время. В наше время, перенасыщенное информацией, мы много читаем, видим и слышим по телевидению и радио. Но мы не думаем, что было раньше, что будет потом, – все за нас сделают и уведут куда надо.

И, встречаясь с одним из земляков – Банщиковым Иваном Николаевичем, моим бывшим соседом по Кузурову, а теперь соседом по огородному участку, мы подолгу сидим с ним, вспоминаем те годы. Разговор затягивается, цепляя одно за другое, вспоминаются люди, события, взаимоотношение людей в работе, в быту.

Сопоставляя все это, становится страшно: куда идет наше общество, так и хочется сказать – с ограниченной ответственностью?

Одно хорошо – технический прогресс – это удивительно интересно. Но когда воруют не только нефть, газ, лес, полезные ископаемые, но и рядом – дрова, инвентарь, провода и алюминиевые ложки и вилки, и вообще все, что можно сдать, продать и пропить – от этого становится жутко.

И тогда память нас уносит в маленький поселок Налимное – его и поселком назвать нельзя, это просто плотбище барачного типа, где подковой расположены слева – два барака, прямо – конный двор и банька, поближе к речке, справа – столовая вместе с пекарней и в ней же маленький магазинчик. Все это занимало площадь в 30 – 50 метров.

Мы приехали туда по первому снегу на двух санях. Все-таки у нас были вещи – сундук и несколько узлов. На первых санях по праву извозчика ехал дед Сергей Барышев и я на сундуке. Дед был на одной ноге, но проворно управлял лошадьми, поправлял сбрую, смачно ругался, но маты относились в адрес лошади и были необходимыми. На вторых санях ехали мать и отец, разговаривали о чем-то своем и далеко отстали. Дорога шла через мелколесье, мне надоело смотреть на как бы движущиеся рядом с санями сосенки. Первый мороз давал о себе знать, и я замерз.

– Ну-ка, паря, скажи: «Тпр-уу!».

У меня получилось «ту-у», – это первый признак, что я замерз.

Дед Сергей остановил лошадь, опираясь об оглоблю, ловко прыгая, подтянул сбрую, спросил:

- Писить хочешь?
- А где?
- Да вот за санями.

Пока я копался с одеждой, дед запрыгнул в сани, и лошадь тронулась без понукания. Я испугался, закричал и, кое-как застегнувшись, побежал за санями. Дед Сергей как будто меня не слышал. Бежать было тяжело, но лошадь уходила. Пришлось догонять, и я согрелся. Это был безобидный прием для разогрева, но я тогда обиделся на деда Сергея. А он, хитро улыбаясь, свалил все на лошадь, мол, она не хочет, такая-сякая, везти двоих. Стало тепло и уютно на мягком сене.

Дед рукавичкой отряхнул снег с моих валенок:

- Паря, а ты какие-нибудь сказки знаешь?
- Знаю, про Липатушку.
- А ты расскажи, я страсть люблю сказки.

Я начал рассказывать сказку, что мне рассказывала бабушка, старался так же жалобно изобразить сестричку Аленушку, которая звала: «Липатушка, приплынь, приплынь к бережку...». Я думал, что дед Сергей заплачет в этом месте, как я плакал, когда в первый раз услышал её.

Позднее, когда я читал русские народные сказки, я понял, что эта сказка про Иванушку, как он попал к Бабе-яге, и как та его пыталась посадить в печь на лопате, а тот, хитрый, растопырил ноги и не входил в печь. В бабушкином «расейском» фольклоре эта сказка была несколько в другом варианте, и неизвестно, сколько веков она передавалась из уст в уста, из поколение в поколение.

Дед Сергей внимательно слушал сказку, хотя и не подавал виду.

– Слышь-ка, паря, а мне дед рассказывал вот такую сказку, а может, и не сказку, кто его знает. Это было недалеко отсюда, в Мохово, вы, когда ехали сюда по реке, проезжали мимо пристани, село то находится подальше от реки, на высоком месте, хорошее место, красивое, раньше-то люди выбирали себе место для житья сами.

Мы тогда там жили, ссыльные казаки, так вот, дед мой, ещё молодой парнишка, возвращаясь с Кети с рыбалки с ребятами, отстал от друзей. Ну, чтобы их догнать, решил через лес – напрямиком. А лес на яру высокий, он к яру-то подходит и видит в нем дверь, он в эту дверь и зашел. А там – просторная комната, вроде как сени, а на стене висит седло золотое, а дальше ещё одна дверь. Он заходит во вторую дверь, а там сидит женщина, около гроба, в гробу покойник лежит, а в углу куча золота насыпана. Женщина спрашивает: «Ты как сюда попал?».

«Я шел, вижу – дверь, и зашел».

«Ну тогда попрощайся с моим покойным мужем, возьми золота, сколь надо, и иди домой, только седло не тронь, это седло мужа, он его с собой возьмет».

Ну, этот парень (дед мой перекрестился), значит, попрощался с покойным, насыпал полные карманы золотом и пошел в сени, где седло висит. Он думает: зачем покойному седло, да еще золотое, взял его и хотел уйти. Глядь, а двери-то на улицу нету. Он туда, сюда, повесил седло и вернулся к женщине, мол, дверь-то исчезла. А женщина ему и говорит: «Я же тебе сказала, чтоб не трогал седло, не послушал. Надо слушаться старших. Иди, пока не поздно». Он пошел, а дверь-то опять появилась. Он вышел на улицу, рад-радешенек, обернулся, а никакой двери опять нет. Он в карманы: а там пусто, ни одной крупинки золота нет...

Вот такой был случай, а может, это и есть сказка. Этот яр ребятишки еще долго, говорят, рыли, но никакой комнаты не нашли...

А вот еще случай был, это мне бабушка рассказывала...

... Под мирное поскрипывание саней я заснул.

3.

Первым делом мне мать строго-настрого запретила ходить в лес. Я начал осваивать территорию поселка. Бараки я обошел сразу. В нашем бараке была отгорожена примерно четверть от основной площади для конторы, в этой конторке мы и поселились, то есть на её территории мы только обедали, там был стол, две лавки и окно.

А мы жили за печью, там не было окна, но была втиснута кровать, где спали отец с матерью, напротив печи сундук, на котором спал я, маленький стол-тумба и над ним шкафчик с посудой, там же стояла иконка. В шкафчике были банка с топленным маслом, чай фруктовый, который можно было откусить и долго жевать, и сахар рыжий и несладкий, он еще пах брюквой. Сундук был с покатой крышкой, на него мама стелила две телогрейки рукавами в разные стороны, чтобы я не скатился. Спать было неудобно, я все время скатывался с середины.

Печь стояла плитой в наш закуток: когда она топилась, пламя плясало по стенам, было тепло и уютно. На очищенной плите можно было пластиками обжарить картошку с двух сторон – было очень вкусно. Тогда вообще все было очень вкусно! Но есть было просто нечего: в Елтырево, где мы жили раньше, было молоко, зато здесь мама варила сладкий кисель.

Однажды пришла почта, привезли письма и газеты. Мама что-то почитала, потом расстелила газету на столе, подала гребешок с мелкими зубьями и сказала:

– Ну-ка почеси голову, лазишь где попало.

Я почесал свой чубчик.

– Ты давай от шеи начинай, да как следует чеси.

Я чесал и внимательно смотрел на газету. По ней поползли белые и серые вши. Я об этом сказал матери.

– Уже нахватал каких-то чужих.

Предполагалось, что белые не мои, мои должны быть серые, по цвету волос.

– Бей их, чтобы не расплозились.

Я ногтем большого пальца стал давить и размазывать их по газете. Подошла мать, внимательно посмотрела на газету, села и задумалась. Она смотрела куда-то далеко-далеко, а из газеты на нас смотрел усатый дяденька в фуражке с кровавыми усами и щеками. Это было перед Новым годом – у «дяденьки с усами», оказывается, был очередной день рождения.

Мать аккуратно завернула моих и чужих в «дяденькину» газету, бросила в печь и подожгла. Потом нагрела воды и с мылом и дегтем на два раза вымыла мне голову.

На улицу в этот день меня не пустили.

По вечерам после работы в конторку приходили люди, обсуждали дела на работе, готовились к следующему дню, мне было скучно, я уходил в пристройку другого барака. Там была пилоправка. В ней стоял станок, похожий на парту, с винтами для крепления пилы двуручной, или полотна для лучка. Пилоправ, укрепив пилу в станке, по несколько раз чиркал напильником по зубу пилы, сначала с

одной, потом с другой стороны, затем переворачивал пилу другой стороной, и проходил так же. Второй пилоправ после этого проверял разводку зубьев. Зубья через один должны были быть отогнуты на одно расстояние, чтобы при пилении не зажимало пилу в дереве, и чтобы пила шла ровно, а не «косорезила». При разделке древесины за это могли бревно забраковать или занижить сорт древесины, это все выражалось в кубатуре и в конечном итоге – в заработанных деньгах.

Всю эту кухню я познал позднее, а тогда мне было все интересно, потому что нечем было заняться. Я ведь из детей был один в этом поселке, потому что работала, в основном, молодежь из ближайшего колхоза, и только вальщики и возчики были из леспромхоза. Из леспромхоза были и пилоправы. Один из них, Стародубцев Максим Павлович, в будущем наш сосед по Кузурову. Он умел шевелить ушами, чем очень удивлял меня. Как он это делал, я не понимал, – у меня никак не получалось.

Я в пилоправку бегал смотреть, как они точат и правят пилы, точат топоры. Там стоял наждак самодельный с рукояткой и шестеренчатой парой. Нижний конец наждачного колеса вращался в корыте с водой и смачивался. По лезвию топора бегала темная водичка, показывая место заточки. Ручку крутил, как правило, хозяин топора, но иногда доставалось и мне покрутить ручку. Топоры, ножи и прочий инструмент точили сами пилоправы.

Баракы, с входом с торцов, были с двумя окнами с одной стороны, у противоположной стены были изготовлены нары, на них спали. Матрацы и подушки набивались сеном, и, когда мы меняли сено в матрацах, они громадными мешками торчали на нарах, мать разрешала их примять, и я с удовольствием прыгал на этих мешках. Мать смеялась и говорила:

– Ты как на перине.

– А что такое перина?

– Ну, это такой же матрац, только набивается пухом от птицы, на Алтае у нас было две перины...

В углу каждого барака у входной двери стоял камбуз для обогрева – это большая чугунная печь, а над ней были расположены два чугунных прямоугольника вдоль печи, они соединялись друг с другом и печью такими же трубами. По ним проходил огонь от печи, и далее шел к трубе с задвижкой, поэтому теплоотдача у камбуза была большая. Мы с матерью затапливали камбузы перед приходом рабочих, и на них потом во всевозможных мисках и кружках разогревалось все съестное, что у кого было. Иногда топились мороженое молоко, кому высылали его из основного поселка. Это был кусок мороженого молока по форме миски, сверху у него была самая вкусная часть, горбиком, из сплошной сметаны. Можно было поскрести ложкой и съесть, но зато потом оттаивала и оставалась одна молочная водичка. Мужской и женский баракы отличались только чистотой, да в женском бараке всегда висели какие-то тряпки, но он все равно был уютнее, и не пахло махоркой.

Недалеко от камбуза стоял стол, на котором стояла десятилинейная лампа. Мама каждый день протирала стекло от копоти мокрой газетой, было приятно смотреть на чистое стекло. Вечером, да и утром зимой, лампы зажигались – это был основной источник света. Когда горели дрова в камбузе, через дырки в дверце играли блики на стене. Было уютно и загадочно.

У кого-то была балалайка, но на ней почти никто не играл, то есть не умел.

Но у моего отца была гармонь, привезенная и сохраненная с Алтая. Когда отцу (за год до ссылки) исполнилось пятнадцать лет, дядя Филя подарил ему однорядку – четырнадцать планок в один ряд, как на аккордеоне.

Гармонь была очень голосистая. Отец играл очень редко, было не до того, но приходили девчата, кто побоевее, и просили:

– Василий Романович, сыграй маленько, развесели душу, девки соскучились по дому. Тетя Клава, пошли с нами. «Тете Клав» было тогда двадцать восемь лет. Отцу было тридцать два года. Молодость брала свое.

Мать одобрительно кивала головой, отец брал гармонь, и мы шли в женский барак. Сначала, помню, пели про бродягу, который Байкал переходит, про золотые горы, и про темно-вишневую шаль, не помню песни про войну, очевидно, она настолько всем надоела, что её никто не хотел и вспоминать. Это потом началась мода вспоминать всё и ворошить. Кто-нибудь не выдерживал, просил плясовую, и залиvisto над дремучей тайгой летели частушки.

Запевай, подружка, песню, я не стану запевать,
У меня за ретивое что-то стало задевать.

Напротив выходила как бы соперница, а иногда это была и, вправду, соперница, и начинался некий поединок.

Я свою саперу-Веру посажу на небеса,
Ты сиди сапера-Вера, не выпучивай глаза!

Кто пропевал частушку, обязательно «бил дробы», но в подшитых валенках это плохо получалось. Соперница, наблюдая за ней, готовилась к следующей частушке.

Я на льдиночке стояла, да она подтаяла,
Не меня милый оставил – я его оставила.

Скоро ветер ли задует, скоро ли засеверит?
Скоро миленький приедет, и меня ослобонит.

Ягодиночка, не стой у сухого дерева,
Не ищи любви той, которая потеряна.

Ночка темная темна, я боюсь идти одна,
Дайте провожатого, с гармошкой неженатого!

Говорят, рябина горька, ну а я наелася,
Мало с дролей погуляла, много натерпелася.

Я пошла гулять по лесу, за мной милый словно лось.
Для какого антиресу нам расстаться довелось?

Слово «антиресу» звучало именно так, а не иначе.

Отчего не поплясать, отчего не топнуть,
Неужели от меня половицы лопнут?

Посиди-ка, милый, рядом, плечико о плечико,
Все изныло, изболело по тебе сердечико!

Если в этом месте исполнительница в шутку присаживалась к кому-нибудь парню, то это уже была не шутка, а намек на расположение.

Жизнь шла своим чередом, везде завязывались взаимоотношения. Мы об этом разговаривали не раз с Иваном Николаевичем, вспоминали частушки тех лет.

Позднее, лет через тридцать – пятьдесят, очень многие из тех молодых переехали в районный центр Белый Яр, и отец, проживая там же, часто встречал кого-нибудь из них.

Какие это были встречи! Я смотрел на них и завидовал – люди расцветали на глазах, вспоминали всех общих знакомых, кто, где живет и как, кто ушел из жизни и когда, при каких обстоятельствах.

Я в эти минуты гордился своим отцом, что, работая в тяжелых условиях, люди сохранили такие светлые воспоминания тех лет. А ведь отцу приходилось управлять этим коллективом и одновременно учить и воспитывать. Стало быть, у него это получалось.

4.

Я скучал по дедушке и бабушке, а больше по Генке, мы хоть с ним и ссорились и дрались, но я ходил за ним, как на веревочке. Ведь он был почти на два года старше! Здесь надо было все познавать самому. Отец на работе, мать тоже занята, она убирала в бараках, носила воду, помогала на кухне. А я обследовал территорию.

Далее, за бараками, шла конюшня, или конный двор. Это было самое примитивное сооружение, но тщательно продуманное. Оно было расположено в пойме реки, где меньше ветра, в окружении мелкого ельника. В землю были вкопаны столбы с пазами, в эти пазы входили тонкие бревна, или жерди, с торцов затесанные по ширине паза. Таким образом, набирались стены: одна длинная – вдоль берега реки, две поперек, и одна с проемом для ворот. Ворота выходили к баракам, через них выводили лошадей на водопой к проруби. Крыша держалась на этих же столбах, застелена тонкими жердями, а сверху наметано сено для сохранения тепла. Сено в стогах было подвезено с южной, то есть с ветреной стороны. Одна сторона конюшни была забрана жердями не до верха – для света, и в этот проем выбрасывался навоз от лошадей. Было несколько отдельных стойл для буйных лошадей, а скорее, для «чужих», то есть заезжих. Свои быстро привыкали друг к другу и не ссорились. Посередине стояло большое корыто для овса, вдоль стены были отгорожены ясли для сена.

Лошади «ночевали», спали, обычно стоя. Если было холодно, на них надевались попоны с завязочками из списанных байковых одеял. Завязочки привязывались к ногам лошади, и было забавно – лошадь с бантиками.

Утром и вечером лошадей выводили на водопой. Речка была рядом, к ней вела тропа, на реке выдолблена прорубь метра три длиной и шириной примерно тридцать сантиметров.

По краям проруби наращивался специально буртик из льда, чтобы лошадь не подскользнулась и не оступилась в воду. Лошади отпихивали слабых и нерешительных, те переступали, все было в движении. Конюх незлобно ругал лошадей, посвистывая, призывал их досыта напиться, в лесу пить было негде. Напоенная лошадь стояла, с морды её капала вода, потом она еще немного пила воду, и, развернувшись, шла к конюшне, где её ждала упряжь.

Однажды я со знакомым мне возчиком увязался в лес. Это мне хоть и дорого стоило, я от отца получил взбучку, но мне нужно было увидеть «работу».

5.

Возчики возили лес по одному на лошади, но на двух лошадях, то есть парами, потому что не всегда можно было завалить на сани одному бревно в снегу. Я смотрел, как они закатывают на сани комель бревна, закрепляют веревкой, а вершина тащилась по снегу. Кое-кто уже тогда пробовал вершину класть на маленькие санки, их так и называли «подсанки», или по-фински «панкареги». Тогда все технические новшества приходили из Финляндии – это я потом уже увидел у отца в учебниках по лесоразработкам.

У каждого возчика был стяжок из березы или черемухи длиной два – два с половиной метра, чуть толще черенка для лопаты. С толстого конца он был затесан «лопаткой», то есть клином. В верхнем конце было прожжено отверстие (прожигалось раскаленной проволокой), в него продевалась веревочная петля. Этим стяжком, как рычагом, приподнималось бревно, катилось, грузилось и разгружалось. Для возчика это был инструмент первой необходимости. Кое-кто его обжигал на костре, и он уже был замечен, и был как произведение искусства, индивидуален. Когда везлось бревно, чтобы стяжок не падал и не терялся, он веревочной петлей надевался на оголовку саней и тащился по снегу рядом с санями.

Везли древесину с «верхнего склада» на «нижний склад», к месту весеннего сплава, к реке. Там её накатывали в штабели. На относительно ровном берегу реки поближе к воде ложились поперечные бревна, самые тонкие, и на них накатывали ряд бревен. Первое бревно относительно реки укреплялось клиньями. Затем снова укладывались «поката», и так, послойно, накатывали рядов пять – шесть, пока под силу было поднимать бревна. Затем начинали катать новый штабель. Здесь же на нижнем складе происходила приемка древесины представителем сплава, то есть покупка древесины. Он мог её пересортировать, вернее, перевести в нижний сорт, делал пометки на торце бревна в вершине, и уже после этого производилась маркировка древесины.

Если вы внимательны, на каждом деловом бревне с тонкого конца была маркировка, об этом стоит сказать подробнее. «Ш» – шпальник, «П» – пиловочник, «С» – строевой, «КК» – карандашник, «Р» – крепь, вернее – рудничная стойка.

После буквы у пиловочника маркировался римской цифрой сорт (первый, второй или третий) и далее обозначался диаметр, причем опускалась первая цифра, (она определялась визуально, и ставилась только вторая, четная, тоже римской цифрой). На первый взгляд кажется сложно, но очень продуманная информация о древесине, как вроде бы паспорт, что был всегда при ней.

Маркировал бревна молодой неокрепший паренек, которому рановато было катать бревна. Это был Иван Банщиков, было ему тогда четырнадцать лет, у него были стамеска и молоток, и он перед накаткой в штабель производил эту операцию. Мне было интересно наблюдать, как он вырубал эти знаки на торце, когда – сидя на брев-

не, когда стоя, когда и лежа. Мы постепенно сблизились. По возрасту мы были ближе всего, он ведь был еще ребенок, хотя работал уже не первый год.

Когда он отдыхал, я брал стамеску и молоток и пробовал выбивать знаки, написанные мелом. С большим трудом, наконец, стало у меня что-то получаться. Иван кое-что подправил и сказал: «Пойдет».

Таким образом я замаркировал три бревна. Я их запомнил.

С тех пор, когда я бывал на нижнем складе, я старался посмотреть, как они там. К весне дерево потемнело, и выступила на срезе смола.

Весной, когда проходил лед, начинался «первичный сплав», то есть сплав со скаткой древесины в воду. Лес несло течением до устья реки. Если он застревал, его проталкивали, бывало, образовывались такие заторы, что приходилось применять взрывчатку: для этого были специально обучены люди, и в особом месте хранился аммонал. Запалы и запальные шнуры хранились отдельно.

Реки были разной длины, и имели разные берега, да и во время разлива могли выйти из берегов. Древесину разносило по кустам и поймам, её не всегда успевали вернуть в русло по воде, вода быстро скатывалась, древесина оставалась на второй год, но она была уже негодна, в крайнем случае, она была нестроявая, не первого сорта. По данным тех лет, до сплочного станка не доходило до сорока пяти процентов древесины, она просто гнила в лесу или тонула на дне реки. Сильно смолистые бревна намокали и становились тяжелее воды.

В 1976 году летом мы организовали поход, и проходили вчетвером по тем примерно местам через озеро Варга-то и, проезжая по реке Елтырево, в среднем ее течении попадали в такие заторы леса на дне реки, что еле протаскивали лодку. Мы раздевались, прыгали в воду и пытались пройти по липким бревнам. Ноги постоянно скользили и срывались, а дна не доставали, было глубоко. Ощущения очень неприятные.

А лес там готовили и сплавляли еще до войны, и лежать ему там и гнить еще, может быть, лет сто, не меньше.

В 80–90-е годы потеря леса при сплаве стала еще больше, и вывозка леса начала производиться хлыстами, то есть сразу после валки грузили деревья целиком и везли к месту разделки и погрузки.

Но в те 50-е годы не было никакой техники. Все делалось вручную, и лес вывозился на лошадях. Лошадь была такой же рабочей силой, и возчик за неё отвечал головой.

Конюшня была самым охраняемым помещением в поселении. Был для этого поставлен конюх, но основную ночную службу несли собаки, они там и спали вместе с лошадьми, и, если поднимался лай, конюх зажигал фонарь «летучая мышь», одевался и проверял, что там случилось. Он знал по голосу свою собаку, и поднимался только на её лай. У лошадей была тоже своя жизнь и свои взаимоотношения, кто-то укусил, лягнул, остальные заржали, их приходилось разнимать, даже разводить особо буйных по стойлам.

Вот здесь собака была незаменима, ведь это был глухой лес, и запах людей и лошадей привлекал хищников, которые в то время водились. Были и рыси, и росомахи, и лисы, и мог забрести медведь-шатун.

6.

Но о собаках хочется рассказать особо.

Собак было много, не менее шести штук, все они были чужие, и вроде бы ничьи, за исключением собаки конюха. В лес их не брали, вернее, гнали из леса,

если они увязывались за кем-нибудь, потому что это было опасно, особенно на валке леса, а потом, они отвлекали внимание.

Но собаки есть собаки, и притом они все были охотничьей породы, и в лес ходили сами, когда захотят. В основном, они крутились у жилья и котлопункта.

На обед готовился какой-нибудь суп или уха и чай, иногда кисель. Варилось все в больших котлах, подвешенных над костром. Собаки – тут же, скорее, они были как охранники, с ними было спокойнее. Подкармливали их все, у кого что было, варили очистки от картошки, добавляли рыбы туда, я это видел, и в котлопункте весь обслуживающий персонал, что оставался в поселке, брал на себя эти обязанности. Моя мать тоже варила им что-нибудь, и мне приходилось их кормить. А вот поиграть с ними была моя обязанность, просто я же был один такого возраста, мне было семь лет, и мне больше подходила их дружба. Мы с ними осваивали территорию, хотя собаки знали её давно, но они постепенно уводили меня все дальше и дальше в лес, по санному следу.

Я помню хорошо, как одна из них, звали её Венера, звала меня в лес. Она играючи хватала мою варежку и убегала далеко вперед, положив её на дорогу, я бежал за ней, она снова хватала варежку и отбегала дальше, таким образом мы уходили все дальше и дальше в лес. Когда понимала, что я поддаюсь, Венерка отдавала варежку, остальные собаки были всегда тут же. Но я знал, что если мне нужно домой, я поворачивал обратно, и собаки, немного побегав, шли тоже за мной.

Начало подтаивать, пригревало солнце, лес оживал. Бурундуки затевали перекличку, они свистели, резвились – начинался брачный сезон, и собаки сходили с ума. Собаки любили гонять бурундуков. Они облаивали их с таким азартом, с повизгиванием и подвыванием, мол, что же ты не принимаешь участие в охоте. Бурундук куда-нибудь убегал или прятался. Собаки успокаивались, но тут же находили другого бурундука, и все начиналось снова.

Однажды таким образом мы дошли до места, где шла валка леса, были уже слышны стуки топоров. Я хотел возвращаться домой, но встретились женщины, которые несли обед для лесорубов. Они несли на коромыслах по два ведра – ведро супа, ведро чая, в одном ведре нарезанный хлеб, и миски и ложки – в последнем. Это был заведенный порядок – обед был общим. Мы за ними, таким образом, зашли в деляну, с ними я не боялся, зная, что сейчас валка прекратится.

Все сразу бросили работу, часов ни у кого тогда не было, и обед был по времени доставки еды. В миски наливался суп, хлеб по счету, но тогда карточки уже были отменены, хлеба хватало всем. Хлеб пекли в котлопункте круглыми булками, ржаной, ноздреватый и очень вкусный. Меня пытались накормить. Я сказал, что я не заработал.

– А ты после обеда будешь таскать сучья и заработаешь!

– А мне можно?

– А почему нельзя, здесь все работают, кто пришел в лес.

Это меня успокоило, я поел и даже попил чай. Я в то время не заметил ухмылок и насмешек в свой адрес, и часа два таскал сучья в костер, пока вместе с сучком не забросил варежку в костер. Варежку спасли, но мне сказали: все, ты обед отработал, можешь идти домой.

Хочу отметить, что мне через пятнадцать лет, позднее, пришлось работать в лесной промышленности и быть на валке леса, но я не встречал, чтобы в лесу уби-

рали сучья и сжигали. В то время техника все мяла и крошила под собой, оставляя после валки леса «поле боя».

Вспоминая все это с Иваном Николаевичем Банщиковым, я поинтересовался, как начислялась зарплата, как производился учет древесины. Это была целая кухня с бухгалтерией и проверкой. Вальщик, он же обрубал сучки, разделявал ствол на бревна, был заинтересован в выходе кубометров с каждого дерева, потому что платили с кубометра, учитывая сортность древесины. Вальщику начислялась зарплата за сваленный лес в кубических метрах, но не вся древесина шла для сплава, то есть государству. Была древесина с гнильем, слишком корявая, сучковатая, она шла на дрова, но тоже учитывалась вальщику за его работу. На нижнем складе был человек, уполномоченный от сплава, он принимал древесину как покупатель и мог изменить сортность древесины, и был всегда прав.

7.

Моя задача была попасть туда, где валили лес. Дело в том, что отец мой по долгу службы был всегда в лесу, то на верхнем, то на нижнем складе, за исключением дней отчета, когда он заполнял наряды и оформлял бухгалтерские отчеты за месяц.

Он мне не разрешал ходить в лес. Это было и опасно, и, возможно, неприлично по отношению к другим рабочим, – не знаю. Он мне говорил: «Не положено, и все!». Но мне нужно было побывать на верхнем складе, там, где валили лес.

А лес, он был вокруг, везде, он, как, допустим, и снег, был средой нашего обитания, и в то время сильно и не очаровывал.

Только теперь я понял его великую оздоровительную силу не только для Сибири, но и для всей планеты.

Когда мы входим весной в цветущий лес, на основном фоне запаха мокрого снега нас очаровывают запахи едкой пихты и ели, смолистый запах кедра и сосны, горький запах осины, «банный» запах почек березы и индивидуально каждого кустика. Все эти запахи гоняются ветерком и, подогреты солнцем, поднимаются вверх и очищают воздух, насыщая кислородом и озоном.

Планета дышит.

Лежать и смотреть вверх можно бесконечно долго, пока от голубизны не заребит в глазах...

В лесу появляются цвета – цветут деревья, кустарники, даже снег наливается голубизной от яркого солнечного света. А сколько ультрафиолета отражается от каждой искорки снега! В это время очень пристаёт загар, жаль, что раздеться нельзя, ведь нет ни комаров, ни оводов, ни клещей...

Мы с собаками уходили все дальше и дальше и доходили до места разделки древесины, или раскряжевки.

И вот однажды приходит вальщик с деляны и приносит сломанное полотно от лучка – нет ли у кого в запасе.

В запасе ни у кого не оказалось. Вальщик был пожилой – Белозерских Матвей Игнатьевич, идти ему неохота в поселок за пилой, а день пропадал. Он посмотрел на меня:

– Гошка, а может, ты сбегашь за пилой?

Мне было лестно, что меня о чем-то попросили:

– Ладно.

Он завернул половинки пилы в тряпочку, и я побежал. Было недалеко, путь

был известен, и я вскоре вернулся с новым полотном, и этим я получил расположение у вальщика. Он натянул полотно. Лучок – это рамка из деревянных реек в виде буквы «Н», растянутая по ширине. Перемычка была основой конструкции. По нижней части крепилось полотно на винтах, а верхние концы реек натягивали полотно веревочной петлей. При закручивании рейкой, вставленной в середину веревочной петли, создавалось натяжение и жесткость лучка. Рейка заводилась за перемычку, и можно было работать. Лучок был тем хорош, что им мог пилить один человек. Я все это видел не раз, но мне нужно было посмотреть, как велят дерево.

И я заработал это право.

Матвей Игнатьевич, наказав строго-настрого слушаться его, обтоптал вокруг дерева снег, посмотрел наверх, определил, куда уронить дерево. Протоптал в противоположную сторону тропу, метров пять, для отхода от дерева. Все это он мне, конечно, объяснял, я ведь был будущий вальщик леса, никто иной. Он еще раз посмотрел, куда наклонено дерево, куда его клонит ветром, стал делать запил с той стороны, куда должно упасть дерево. Кстати, опытные вальщики могли уронить дерево точно в определенное место, если оно не сильно наклонено, по этому поводу даже потом устраивались соревнования, но тогда это было никому не нужно. Нужно было безопасно и удобно свалить дерево, чтобы его обработать и вывезти. А люди знали и без соревнования, кто из вальщиков лучший.

Запил делался примерно на одну четвертую часть дерева по диаметру, топором делался заруб – такое углубление на глубину запила. Надо сказать, что все это разрешалось делать не выше десяти сантиметров от уровня земли. После повала пень очищался от коры, чтобы в нем не заводились короеды и прочая живность, с которой боролись лесоводы. Поэтому каждый пень проверялся, и принималась деляна.

Вальщик обошел дерево и с другой стороны, примерно на четыре-пять сантиметров выше запила начал основной рез. Стоя на коленях, он пилил, наблюдая, чтобы рез шел параллельно земле. Допилив до половины дерева, он забил топором в рез клин, похожий на маленький топорик, с отверстием для веревочки и с зазубринами, чтобы клин не мог сам выпасть из реза.

Вальщик продолжал пилить. Дерево застонало, он еще пилил. Я смотрел на вершину дерева. Дерево затряслось, качнулось и медленно пошло.

– Берег-и-ись! Пошла-а! – громко пробежало по деляне. Это было обязательным условием подавать сигнал, даже если и нет никого рядом.

Он вынул освободившийся клин, убрал лучок, отскочил от дерева и в считанные секунды был уже около меня. А дерево, рассекая воздух кроной, ломая сучья, рухнуло в снег. Срезанный комель дерева подпрыгнул метра на два, покачался из стороны в сторону и затих...

Наступила мертвая тишина. С соседних деревьев медленно падали комья снега, будто они, прощаясь со своим соседом, махали ему белыми платочками...

Мне почему-то вспомнилось расставание при отходе пассажирского парохода. Пароход давал три гудка коротких, один длинный – прощальный. Голоса провожающих гасли в этом гуде, машины набирали обороты, колеса хлопали по воде, взбаламученная вода накатывалась на берег, а люди на борту парохода и берегу махали друг другу белыми платочками... Было грустно...

На пне выступили капельки, будто слезы, я попробовал на язык – они были горькие и пахли хвоей. Дядя Матвей топором с длинной ручкой обрубал сучья. Дерево оседало в снег, скрипело на оставшихся под ним сучьями, будто бы стонало...

Мне стало грустно и неинтересно, я побрел домой. Больше меня не тянуло к вальщикам на деляну.

8.

Я сильно скучал по брату Генке. Я только тогда понял, что мне его не хватает, просто я был один, конечно, не считая взрослых. Читать я еще не умел. Ни радио, ни, тем более, телевидения не было и в помине, но вот кто-то заговорил о кино.

В кино один раз до этого мать водила нас в Ёлтырево, и я смутно помню, что было много народу, все сидели смирно на скамейках и смотрели на белое полотно, укрепленное на сцене. Было очень светло от лампочки, как от солнца. На столе стояли какие-то ящики. Потом что-то застрекотало, стало темно и по полотну побежали буквы, а потом забегали люди. Мы, ребяташки, от восторга не могли усидеть, начали тоже бегать и беситься, на нас зашикали взрослые, и мы убежали за полотно. Там мы улеглись на пол и смотрели кино на просвет.

Кино было немое, буквы были в зеркальном изображении, кто умел читать – смеялись. Я читать не умел. Да и многие взрослые не умели читать. Киномеханик текст читал вслух для всех.

В Налимное, наконец, тоже привезли кино! До этого слухи ходили недели две, что привезут кино, а какое, то есть название фильма – не знали. И вот днем кто-то подъехал на лошади – привезли кино! Отовсюду сбежались собаки – обнюхивать незнакомые запахи. Кто был в поселке, тоже подошли, ну и, конечно, я. Мне было все интересно, нельзя было ничего упустить. Кино решили ставить в женском бараке.

Тетя Агаша и киномеханик подтащили стол к двери, в освободившемся месте расставили скамейки, на стену повесили полотно (простыней в обиходе тогда не было, тем более белых). Полотно морщило. Киномеханик, прибивая его по углам, натягивал и говорил, что будет лучше видно. Я ему подавал гвозди, старался помочь.

Наконец он сказал «пойдет», но морщинки были, и я боялся, что не будет видно «кина». Ждали людей с работы. Я никуда не отходил весь день, крутился около киномеханика. Одну скамейку поставили у стола с аппаратурой, киномеханик поставил на неё железную штуковину – «динамо» с двумя ручками и прикрутил к скамейке, как мясорубку. Это я сейчас говорю так, но я тогда не видел и мясорубку. Если бывало мясо, его рубили сечкой в корыте, и к большому празднику делали пельмени.

Вспомнилась одна важная деталь.

Видимо, в целях экономии приезжал киномеханик один, а ему одному во время показа картины было трудно справиться. Один человек должен был крутить динамо, а киномеханик должен был включать проектор, регулировать резкость изображения. Об этом я узнал, конечно, позднее, помогая брату показывать кино, когда он окончил школу киномехаников.

Для того чтобы кто-то крутил динамо, нашли простой способ – крутили динамо желающие из зрителей за бесплатный просмотр. Чтобы люди не забывали о

своих обязанностях, они клали свои шапки «в залог» на скамью, где стояло динамо, таким образом набиралось количество шапок, равное количеству частей – это примерно десять штук. Аппаратура стояла на столе, сверху и сзади висели коробки. Механик вставлял в верхнюю коробку рулон ленты, долго её конец где-то там пропускал, чем-то щелкал, затем заводил в заднюю коробку, закрывал обе коробки и, поднимая шапку, спрашивал: «Чья?». К скамье выходил хозяин шапки.

– Крути.

Хозяин шапки начинал крутить динамо, ярко-ярко загоралась лампа, киномеханик включал проектор, лампа гасла, и на полотне появлялось изображение. Бежали буквы, бежали люди, киномеханик читал и пояснял происходящее на экране.

Если кто-то уставал крутить динамо, сбавлял обороты, на экране тускло появлялось изображение, начинали пробегать какие-то полосы, все кричали «сапожник!».

Приходили на помощь свежие силы, на экране люди начинали бегать. Киномеханик говорил:

– Потихе, потихе, артистов загонишь!

Кончалась часть. Процесс повторялся в зависимости от количества частей.

Было весело и смешно всем, хотя на экране шел фильм о диверсии против советской власти.

Мне казалось, эффект от кино был один, всем было интересно, как бегут люди, машины, паровозы, а суть происходящего их интересовала меньше. Очень сильна была реакция на фамилии в титрах, над смешными люди смеялись, если попадались знакомые имена или фамилии, они вызывали бурю восторгов и шуток, привязывая это все к сидящим в зале или знакомым.

Кто-то после сеанса спросил: «Как это люди бегут, они ведь неживые?».

Киномеханик заправил ленту на перемотку и сказал:

– Крути, увидишь.

Проектор затрещал, на экране люди побежали в обратную сторону, машины пошли назад. Такого эффекта никто не ожидал. Решили, что вся сила в проекторе, он может людей заставить бегать.

Киномеханик уехал, оставив в головах много вопросов и дикое желание увидеть еще что-нибудь и познать новое.

Потянулись опять серые будни, которые приходилось как-то скрашивать. Пойду посмотрю, что там у проруби на реке, оттуда были слышны разговоры.

9.

Если тетя Агаша носит на коромысле воду в баню, я знал, что будет баня. Баня меня не сильно радовала в то время, просто я не ценил её лечебное действие, как взрослые. Отец меня один раз взял с собой, мне там стало очень жарко и дурно, а он меня еще пытался хлестать веником. Поэтому я ходил в то время с матерью, в первый заход. Поплескаться в бане было одно удовольствие, я нырял в шайку с головой. Мать ругалась, что я расплескиваю воду. Ей было жаль воды, а мне хотелось купаться.

Потом после нас заходили мужчины в самый жар, а после них – женщины, держивались подолгу, используя оставшуюся воду для стирки белья. Шайки были деревянные, самодельные и специально – корыто для белья.

Почему я все описываю это подробно? Да потому, что я все это внимательно рассматривал, мне было все интересно, и все врезалось в память.

Баня была проста до примитивности: сруб из бревен примерно три на три метра. Дверь, слева у двери в углу бочка с холодной водой, прямо – печь. Невысокая топка, над ней стоит большой котел ведер на пять, за ним решётка, на которой лежали камни. Под котлом через решетку и камни проходил огонь и выходил вверх к потолку. В потолке была труба из четырех сбитых досок. В трубу вставлялся кляп, намотанный на палке. Справа от печи стояла бочка для горячей воды, а вдоль стены – полок, перед полком широкая прочная скамейка. Полк был высоко, там дольше держался жар. На противоположной от печи стене на уровне полки – небольшое окно со стеклом, на подоконнике стояла лампа. Вдоль стены, где дверь, тоже была полка, закрепленная к стене, на ней сидели и мылись. Горячей воды от котла не хватало, её готовили следующим образом: когда печь протапливалась и закипала вода в котле, прогревалась каменка, печь была готова, но, если не было людей, она стояла в состоянии готовности, то есть ожидания, подбрасывались поленья по одному.

Как только приезжали рабочие, печь готовилась к приему: убирались горящие дрова прямо в снег, оставшиеся угли разбивались, чтобы уходил угарный газ, на каменку бросался ковш воды, вся пыль с дымом уходила в трубу с последним угаром. Два – три больших камня ухватом брались с чистой каменки и бросались в бочку, предназначенную для горячей воды. Вода в бочке закипала, это мне так казалось, но она бурлила и нагревалась «догоряча». Со стен и полка обметалась сажа, иногда её и не было, обметался хвойным веником и ополаскивался полк и полки – все, закрывай трубу, запаривай веники, баня готова!

Это была баня «по-черному». Самое удивительное, что в 1958 году, перед началом второго курса в техникуме, кстати сказать, лесотехническом, нас направили в Читинскую область, и там пришлось топить баню, предложенную нам одной сердобольной хозяйкой.

Я взялся за это дело и отметил удивительную идентичность сооружения и технологию протапливания бани, и я тогда подумал: а не типичная ли это баня для русского поселения тех далеких лет? Сейчас бани по-черному вышли из обихода, а в них есть своя прелесть, кто знает цену настоящего пара.

Баня топилась два раза в неделю, но когда проходил сплав, топили каждый день, люди вымокали в холодной воде – кто сорвался, кто оступился, кто просто вымок от снега и воды – баня была спасительным средством от простуд, и в ней сушилось и пропаривалось белье. Внутри вдоль бани была натянута проволока.

Помню, тетя Агаша, когда подносила холодную воду, ругалась на моющихся в бане:

– Не лейте воду, вода в реке кончилась!

Я не поленился, сходил на прорубь – нет, воды было столько же.

10.

Но с приходом весны снег таял, вода быстро поднималась, ломала лед, уносила его в большую реку. По малым рекам проходила рыбная кампания – рыба шла на нерест с верховья вниз на заливные луга, а на неё ставилась «атарма». Через речку перебрасывались два бревна немного выше уровня воды, в середине забивались два кола, к ним привязывалась атарма – мешок из сети примерно с метр в диаметре и метра три длиной, устье направлено против течения, за счет течения

мешок расправлялся, а остальное место поперек реки забиралось частоколом из ивняка, или других крупных прутьев. Надводный конец частокола опирался на бревна, которые служили и переправой на момент ловли.

Это была и не ловля рыбы, а её вычерпывание, но рыба нужна была для пропитания, поэтому шли на это дело с молчаливого согласия и рыбаков, и местной власти. Хотя и рыбаки пользовались успешно этим способом. Эту рыбу можно при холодной погоде долго хранить и засолить впрок. За одну ночь атарма набивалась иногда полностью, её осторожно отвязывали, завязывали устье и спускали к полному берегу реки. Там её просто выкатывали на берег и выбрасывали рыбу на снег, она мгновенно застывала – затаривай в мешки и вези домой. Люди обеспечивали себя едой, но не злоупотребляли, зная, что рыба в реке не бесконечна, все это перенималось от местных жителей, которые понимали природу реки и её обитателей и поддерживали круговорот в природе. Есть рыба – есть пропитание для себя и собак, причем на весь год. Есть лес – есть орех, есть орех – есть зверь, есть зверь – есть пушнина. Есть пушнина, есть деньги, есть деньги – есть боеприпасы, снасти, одежда, товар. Ягоду брали только для того, чтобы хватило на зиму: чернику и смородину сушили, бруснику – с сахаром в туесах, клюкву просто держали на морозе.

Зимой ставили петли на зайцев и куропаток из проволоки. Бывало, убивали глухаря или зайца, все это шло в общий котел – это было святое.

Вообще, разногласия возникали только по работе, кто плохо насадил топор, наточил пилу, не вовремя вывез лес из деляны и т. д.

11.

Солнце пригревало, снег таял, вода поднималась выше и выше, лед унесло по большой воде и объявили сплав. Лесозаготовки закончили на время сплава.

Я просился посмотреть, как все будет происходить, потому что все разговоры были о сплаве. Отец разрешил, если мы пойдем вместе с мамой.

Весна была в самом разгаре, от монотонной тяжелой работы всем нужна была разгрузка. Появилось веселое приподнятое настроение – все шутили друг над другом.

Но нас близко к штабелям не подпускали. Опасно. И действительно, самые отчаянные и горячие начали выбивать клинья из-под бревен, кто багром, а кто и топором, и бревна из штабелей покатились в воду – только успевай отскакивая – пришибет!

Бревна катились, громыхая друг за другом, падали в воду, отбивались другими от берега и выходили на речное течение. Течение уносило бревна за поворот вниз по реке. Мы долго ждали, когда скатят и штабель с «моими» бревнами.

– Мама, а куда они поплыли?

– Ну, по этой реке до Кети, а там их будут ловить и связывать в «пучки», как бы собирать в вязанку и перевязывать проволокой на станках.

– А потом?

– А потом по Кети поведут в плотах до Тогура. Там погрузят на баржи и повезут до Томска или Новосибирска, а там, наверное, за границу.

– А потом?

– А потом из них сделают мебель для богатых людей или построят дома...

– И из моих бревен тоже?

– Конечно, сынок, и из твоих тоже...

февраль 2007 г.

Иван Банщиков**МОИ ВОСПОМИНАНИЯ**

Меня всю жизнь преследует один и тот же пейзаж и звук шаркающих идущих ног, а я сижу лицом назад, в скоро сколоченных самодельных санках, и мать везет меня куда-то. Мне примерно лет пять – шесть...

Поселок Карман Парабельского района, куда были высланы мои родители, где корчевали вековую тайгу и питались незнамо чем. Были под наблюдением надзирателей, которые зорко следили за каждым днем и ночью и за самую незначительную повинность жестоко наказывали. Зимняя стужа, летние дожди, зной и комарье – все это было дополнением к наказанию. А более всего – холод. Ели даже кору, от которой сводило от боли желудки. Выживали, видимо, потому, что были молоды. Ведь родителям было всего-навсего: матери – 23, отцу – 21 год. Молодость.

И были родители высланы за то, что когда-то успели стать «кулаками». За что были сосланы в Сибирь из Забайкалья, где вряд ли было лучше, это была их родина и моя тоже, которую я не знаю совсем. Мои деды и бабушки трудились на земле, жили от земли и вот за их труд и достаток мои родители были жестоко наказаны. Мне довелось все-таки увидеть в живых моего деда со стороны матери, деда Данилу. Мать рассказывала, что всю жизнь ее отец пробегал в поисках золота, был старателем, золота так и не нашел, чтобы стать мало-мальски обеспеченным хозяином. Так и не нашел слитка, и не стал богатым.

В 1955 году проездом из Владивостока, где я служил в армии, я сделал остановку в Красноярске, здесь жила моя тетка Матрена со своей семьей. Вот здесь впервые я и встретился со своим дедом Данилой.

Итак, мать шла в неизвестность в неведомые края, шла к моему отцу, который был в бегах. За какую-то провинность отец и еще один какой-то бедолага были конвоированы, и должны быть сопровождены до Колпашева, где бы предстали перед правосудием. Сопровождал их один человек, который также был выслан и работал вместе с ними, но, вероятно, пользовался доверием властей. Он его и отпустил. Как и через кого мать получила весточку, где находится отец, я не знаю, да и очень много чего мне было не известно. Говорить на эту тему было не принято, вероятно, что это было не очень-то приятным воспоминанием. Было очень тяжело ворошить прошлое.

И далее я буду писать только отрывками, которые еще сохранились в памяти.

...Белояровка Колпашевского района. Высокий берег реки Кети, где стоял поселок, который состоял в большинстве из ссыльных. Это был центр Елтыревского леспромхоза, а участки его располагались по речке Елтырева, на правом берегу Кети. Как мне помнится, мы с матерью жили в поселке, а отец на участках, где готовили и возили лес.

Однажды отец мне привез игрушку – «оловянного солдатика», это была для меня очень дорогая игрушка, и как-то нечаянно я отломил этому солдатику голову. Я долго плакал. Я до сих пор помню эту игрушку.

Примерно году в 1937-м открывался новый лесозаготовительный участок – Кузурово. Часть рабочих была направлена на вновь организуемый участок. Строили новый поселок лесозаготовителей. Строили и частные домишки, а в основном

жили в бараках, где были сколочены нары, и посередине стоял огромный стол. В углу печь чугунная, трехэтажная, почему-то ее называли «камбуз». И такие бараки сохранились до 1951 года, но только в других участках, где мне пришлось жить. Одновременно с поселком строились и еще так называемые «плотбища». Так было построено плотбище в Куролино, в сорока пяти километрах от Кузурова. Еще далее – Боровое, Боровушка и Центральное. Было еще одно зимнее плотбище – Кокоринское.

Во всех этих местах мне пришлось пожить в ту далекую пору. Отец работал в лесу, мать уборщицей, а я болтался среди взрослых. Был такой случай: мы жили в Куролино. Кругом тайга вековая подступала прямо к барaku. Все были на работе, а тут возьми и прилети глухарь на дерево, стоящее напротив окна. Было чье-то ружье, мать подержала-подержала его, но выстрелить так и не смогла. А чье было ружье, я не знаю, только хорошо знаю, что ссыльным иметь ружье запрещалось. Но зато вокруг было море ягоды, и ее готовили на всю долгую зиму. Зимой жили на плотбищах, занимались заготовкой и вывозкой леса, весной по половодью его сплавляли вниз по реке Кузуровка до устья, а там летом «сплавляли» в плитки, составляли в плот и самосплавом по Кети сплавляли до Тогура. Лес с плотбища до устья сплавляли самосплавом – модем. Это примерно сто с лишним километров. Для этого строили легкий дом на прочном плоту, который плыл в самом хвосте плывущего леса, в который собирались сплавщики на ночь. На ночь плот прочно закрепляли к берегу – зачаливали. Одну весну и мне довелось плыть вместе с родителями в таком сооружении. В нем были тоже нары и печь, где мать готовила завтрак и ужин, где и сушили одежду. На обед приносили все, кто что мог. За плот были зачелены лодки, я часто подолгу сидел в них, и однажды нечаянно сорвался и оказался в воде. С испуга орал благим матом, боясь утонуть, но мать быстренько выдернула меня из воды, так я получил первое крещение кузуровской водой. Был это примерно год 1939-й.

В трех километрах от Кузурова был построен небольшой поселочек – Сплавной, где мы и жили лето после сплава. Вот туда на Сплавное была приведена корова, которую отец купил в соседнем селе – Мохово. Это старинное село. Занимались в нем сельским хозяйством. Часто кузуровцы бывали в нем, покупая кое-что из продуктов питания, и очень часто моховцы называли нас ссыльных «посельга», а кузуровцы их – «чалдоны». Для чалдонов мы были как бы враги, кулаки, которых поделом и сослали. И длилась эта ненависть до 50-х годов.

...Мы живем на Сплавном. Однажды уже глубокой осенью отец сказал:

– Сегодня вечером мы пойдем в деревню в кино. Для меня это было что-то невероятное, что-то сказочное. И так я впервые увидел немое кино – фильм «Петр I». Но вот как мы шли ночью обратно по лесу, это нельзя высказать. Дороги как таковой не было, а тропинка ночью – ничто. Где налетишь на дерево, где угодишь в болото. Но уж впечатлений от кино хватило надолго.

С этой осени я уже не бывал на плотбищах. Мы с матерью жили в деревне, как и многие другие, все мужское население, которое могло работать в лесу, жили по-прежнему на плотбище. Своей избы у нас не было, жили то у одних, то у других. И так продолжалось очень долго, у нас не было своего угла. Нищета, голод, да ещё и под пристальным наблюдением спецкомендатуры.

...1940 год – пополнение в семье. Родилась сестренка Саша.

...1941 год. Война. Я пошел в первый класс. Мои первые учителя Мария Ивановна и Петр Иванович Бычковы. Отца по брони на фронт не взяли, но дома с

семьей он тоже не жил. Жили они в 12 километрах от деревни – Тайнский бор называлось то место, где производилась заготовка леса. Там они жили и работали без выходных. Только в субботу ночью приходил отец, когда мы уже спали, и уходил в воскресенье, так как с восьми часов начинался рабочий день, и боже упаси было опоздать.

С этого года и началась моя трудовая деятельность. С приходом весны сажали картошку, затем ее окучивали, пололи. Наступала пора сенокоса, и я был там со взрослыми целый день, с раннего утра и допоздна – не было никаких скидок на возраст. Конечно, и роль моя была намного легче, чем у взрослых, я был коноводом. У меня была определенная спокойная лошадка, и на ней я подвозил копны сена к месту, где сено складывали в огромный стог.

Еще не успевали закончить сенокос, как подходила пора копать картошку. Все это делалось, как нам объясняли, для пользы государства, во имя фронта. Помимо этого, еще нужно было заготовить сено и для собственной коровы. Для нее готовили сено, где и как придется, и чтобы собрать небольшой стожок сена, все это стаскивалось вручную, с помощью носилок. Так же, где попало, готовились и дрова для зимы. Часто зимой дрова и сено вывозили на коровах.

Вот так и жили, ждали, когда окончится война, а до ее конца еще было очень далеко. Как могли выжить люди, остается только удивляться силе человека.

Жили холодно и голодно. Зимними ночами освещались лучинами или открытой дверцей печи. У некоторых в печи были сделаны углубления с небольшим дымоходом, и в нем горели березовые чурбачки, тем самым освещая часть жилища. За некоторым исключением, кое у кого были керосиновые лампы, таких называли счастливыми.

Но как только приходила весна, мы все оживали от стужи и холода. В лесу появлялась зелень, и мы почти всем поселком заготавливали, кто как может, колбу – основную пищу нашу. Ее и солили, и тушили, а чаще ели так, иными днями смотреть на нее не хотелось, а куда было деваться.

Приходила пора сажать картошку, но и семян часто оставалось мало, и с тех картофеля, что потолще, срезали очистки, которые были посадочным материалом, а остальное шло на еду.

Очень часто были неурожаи. Да и с чего им не быть? Поселок был новый, скота было немного, навоз был золотым, и то не у всех. А земля – голая глина. Что она могла дать, какой мог быть урожай? Поздние весенние заморозки да ранние осенние еще более способствовали неурожаю.

...Помню лето 1943 года. 7 августа. В это летнее утро был хороший заморозок, отчего замерзла картошка, не успев, как следует вырасти, вот с тем мы, да и все остальные и остались. Почему я запомнил этот день? Да потому что родился братишка – Николай.

Вот так вот и жили и ждали окончания войны. Жили в голоде и холоде, и почему-то ни у кого не было зависти к другим, наверное, потому что были все равны перед одной бедой – войной. Жили в стороне от главных дорог, в заброшенном и заснеженном поселке, в котором не было ни электричества, ни радио. Что творилось в мире, к нам доходило слишком поздно. Почты в поселке не было, газет и подавно. Изредка доходили кое-какие вести из посёлка Мохово, где были почтовое отделение и сельский совет, к которому и мы относились.

Иногда наши женщины ходили в Мохово купить кое-что. В основном покупали овес, затем его сушили, перемалывали на деревянных ручных жерновах, просеивали, и все это шло на стол. Даже мякина – шкурка овса, и та шла в пищу, из нее варили кисель. Даже у нас в семье были такие дни, это были праздники, когда было что-нибудь новое в питании. А основной пищей была картошка, ее изредка варили в «мундире», а чаще хорошо промывали и в корыте рубили со шкуркой, затем варили, заправляли молоком – и обед готов.

Жиров не было, хотя и была корова. Масло, которое собиралось и перетапливалось, нужно было сдать государству в счет сельхозналога. Налог был обязательным – можешь ты или нет собрать, ты должен это сдать. Сдавали по девять килограммов топленого сливочного масла и по 36 килограммов мяса. Если кому-то приходилось забивать какую-нибудь живность, то обязательно должны были сдать и шкуру.

Масло увозили, а скот в зачет налога гнали своим ходом до Мохова, где при сдаче получали соответствующие квитанции. Происходило это обычно осенью, так как летом пройти туда было невозможно из-за множества водных преград. Приходили осенние морозы, и путь был открыт.

В одной такой процедуре и мне пришлось участвовать. За один день дойти не удалось, хотя и было 25 километров. Заночевали среди чистого поля, и уже на следующий день дошли до приемного пункта, где был оставлен скот на убой. Ох, как я плакал, оставляя нашего теленочка, которому не было и года. Но что поделаешь, с властью не спорят, да и знали, что война требует.

... Время шло, отец по-прежнему дома не жил. Приходил, как обычно, ночью, брал что-нибудь с собой из продуктов, а особенно махорку, которую я готовил ему. Летом мы всегда сажали табак, ухаживали за ним, срывали цветы, чтобы рос в лист, затем срезали его, отделяли лист от стебля, листья нанизывали на шнур и весили на чердак – сушить. Стебли раскладывали. Затем зимой я их в корыте топором мельчил и через специальное сито просеивал. Эта была моя обязанность, которую я честно выполнял, хотя это было мне не очень приятно, и, вероятно, с тех пор я и почувствовал ненависть к табаку.

Был еще один неприятный случай, связанный с табаком. В те военные времена нам, пацанам, чем было заниматься долгими зимними вечерами? Мы рисовали как и чем могли, и делали самодельные игральные карты, которые теперь можно купить в каждом магазине. Вначале играли в разные безобидные игры, но дальше – больше и дошли до игры «в очко». Из нас, пацанов, был один старше нас всех лет на пять. Вот ему-то я и проиграл 11 рублей. Играть хорошо, но как рассчитываться, чем? Денег у меня никогда не было, и мне пришлось отдавать долг табаком. стакан табака был оценен в один рубль. Не за один раз, но я всё-таки рассчитался, и с тех пор я помню этот урок. Тогда я сказал самому себе, что с этих пор я не буду курить и играть ни в какие игры, даже самые безобидные. И мне удалось сдержать это слово – урок пошел впрок.

Вот так и крутилось колесо жизни, и крутило нас всех. Время шло, война шла к концу.

В школе у многих не было книг, писали на газетах и разных кусках бумаги. По какому-то предмету был всего один учебник на всю школу.

Я учился, наверное, как и все – кое-как, хорошистом не был, но и не был в последних. В четвертом классе мне пришлось учиться два года. А виной тому была

моя болезнь. Как мне помнится, была весна 1944 года, ко мне пристала малярия, довольно неприятная штука, и я не закончил четвертый класс. И уже было почти лето, когда болезнь оставила меня в покое.

Школу в Кузурове я закончил весной 1946 года. Лето, как обычно, прошло в работе, а осенью родители решили, чтобы я учился дальше в поселке. Школа была в нашей деревне только начальная, поэтому меня отправили в 5-й класс в Мохово. С какой-то женщиной, пешком, с булкой хлеба и малым количеством денег, я шел учиться. Проучился я только одну неделю. Съел хлеб, проел деньги, на том и закончилось мое обучение. Да и какое учение могло пойти в голову, если даже самого элементарного угла, где бы я мог спать ночами, не было. В семье, где я был пристроен для проживания, для меня не было места, вся моя постель состояла из того, что было на мне. При первой возможности я вернулся домой.

... Была осень 1946 года. 14 октября уже в официальном порядке я был принят на работу маркировщиком. В это время лесозаготовки велись уже на плотбище, в Нижней Налимной, что в шести километрах от поселка. Жил я и работал рядом с отцом. Мне, уже как рабочему человеку, дали хлебную карточку – 600 граммов в день.

На праздник 7 Ноября пошли в свой поселок. Накануне вечером 6 ноября была торжественная часть, посвященная Октябрьской революции, после торжественной части – концерт и буфет. Вот в это самое время мы с отцом были в клубе, и кто-то сообщил, что дома у нас новорожденный. Родилась Надя.

А потом ещё родились Илья, Валя и Люба. Жизнь мало-помалу восстанавливалась после войны. В итоге в нашей семье было семь детей, которые до сих пор все живы и общаются друг с другом.

ПРИЗНАНИЕ ЖЕНЩИНЕ

Дорогая моя Светланушка!

Написать это письмо меня заставили сказанные тобой нынешним летом в деревне слова: «Мне кажется, что я никому не нужна», и еще один вопрос, который ты задала своей маме еще в начале семидесятых годов. Дословно я его не помню, но смысл таков: «Папа любит меня или нет?»

Не знаю, что тебе ответила мама, но теперь хочу на твой вопрос ответить я.

Да, я любил тебя, любил и буду любить, пока живу. Люблю не меньше Владимира, люблю ваших детей – наших внуков. А что касается ваших избранников, так уж любить или не любить, это твое и Владимира дело. Я их должен уважать, если они того заслуживают.

Я люблю твою маму, и, надеюсь, пока жив, это будет продолжаться. Быть может, кто-то любит как-то иначе – бурно или спокойно, а я вот так, как умею. Я вырос среди людей, где слово «любовь» никогда не произносилось. Его, такого слова, как бы и не было, и, вероятно, это от жизни, которую пришлось пережить нашим родителям, а малость и мне. Вырос я среди несправедливости и лжи, насилия и матов, а потому и не умею, когда нужно, сказать хорошее слово, и потому, прошу, пойми меня правильно, что я хочу сказать сейчас.

У нас с твоей мамой сложилась, на мой взгляд, не очень хорошая жизнь, и всему причиной моя неуравновешенность, мой плохой характер, от которого я и сам страдаю не меньше, а порой даже и очень. Вот поэтому святое слово «любовь»,

у нас было где-то на задворках. Я люблю и любил, и, как кажется, взаимности не находил со стороны матери к себе. Вот так и жили большую часть своей жизни, каждый по-своему. Как мне кажется, в начале семидесятых годов мы были близки к разводу.

Мать работала в институте кладовщиком, была на хорошем счету, была окружена вниманием, находилась на виду у руководящих людей, прекрасно и честно исполняла свою работу, не имела никаких нареканий.

На фоне этого у неё сложилась своя жизнь, свои интересы.

А я, как и прежде, мотался на своем теплоходе по области, у меня была своя жизнь и свой круг общения и интересов. И очень часто, приходя домой, мы не находили общего разговора, каждый жил своими интересами, и я, видя все это, все дальше уходил от семьи.

Очень часто не приходил домой, да и зачастую просто не мог от обилия «возлияния» спиртного. Текла наша жизнь у каждого своя, у каждого свои интересы, а в итоге страдала семья, страдали мы оба. Так и катилась моя жизнь вниз по наклонной. Я все больше впадал в пьянку, мне не хотелось быть дома, и так изо дня в день, днем работа, вечером – стакан.

Из всего моего мотания по области я только одно могу с гордостью сказать, что я первый взял на буксир оголовок дюкера, который был самым первым в нашей области, и вёл его до другого берега.

Был он не очень длинным, как мне помнится, –1800 метров. Во всем остальном похвалиться нечем, обыкновенная работа – отвези, привези, да работа с водолазами.

И я как-то решил уйти с реки, нашел работу на берегу, стал работать столяром у художников, но и тут не обошлось без пьянки, кому-то нужно срочно сделать подрамник, или что ещё, расчет – бутылка, и опять пошло-поехало. Хотя работа была интересной, меня все равно тянуло на воду, да и в городе мне было очень тесно, тяга к просторам все же одержала верх.

Я снова оказался на воде, на сей раз возил грузы на север области, очень часто грузом было спиртное. В основном разные вина. Вино сопровождали азербайджанцы, которые брали с собой в дорогу бутылочную тару и вино во флягах, которое нигде не учитывалось. По пути следования делалась остановка, где производилось смешивание вина с водой и получалось большее количество вина, которое сдавалось торгующим организациям, и немалое количество продавалось прямо с баржи. Нам же, везущим, не запрещалось пить сколько угодно, и в конце рейса сопровождающие кидали нам немного денег за молчание.

И снова – пьянка. От чего ушел, к тому и пришел. Я в это время уже был болен, но, как обычно, все относил к похмелью, и с каждым днем было труднее и труднее оторваться от стакана.

Я не видел выхода из тупика, в котором оказался по собственному безволию. Мучительно долго искал выхода, как прервать эту цепь сумасшедших дней, где нет просвета от головных болей.

Жизнь становилась ненужной, грязной и бестолковой. Все чаще стала навязываться крамольная мысль – уйти из жизни. И в одно утро она, эта мысль, созрела. Было пять часов утра, темно, осень. Капитан спал (я работал механиком). Я обул сапоги – побольше, которые помогли бы уйти под воду, надел еще что-то. Потихоньку вышел из кубрика, прошел на корму и сел на буксирную арку – так, что справа осталась палуба, а слева – вода. Стоило сделать одно небольшое движение влево и...

...Но я почему-то не смог этого сделать, полезли мысли: а как же «мои» будут без меня, как будут искать тело, и особенно, на какие-такие деньги нужно будет хоронить, ведь мы жили кое-как, от получки до аванса, и наоборот. И так мысли, перегоня одна другую, лезли и лезли, громоздя одно на другое. В этот момент о себе я и не думал, мне было все равно, но, вероятно, в подсознании был страх или что-то подобное, и у меня не хватило мужества совершить это задуманное грязное дело.

А, быть может, так угодно было Богу, не допустить этого, но так или иначе я отложил эту неприятную процедуру.

А было это на пристани Шегарка. Был конец сентября, а первого октября у меня случился приступ, я потерял сознание прямо у трапа. Когда очнулся, надо мной были врачи скорой помощи, после каких-то процедур они же на своей машине отвезли меня до дому. Я несколько дней пролежал дома, и вскоре сын Владимир устроил меня в кардиологический центр, где он в то время работал столяром.

Лечили меня 11 дней, но настоящий диагноз так и не был установлен. Врачи сходились на одном – больное сердце, хотя снятые кардиограммы этого не подтверждали.

С тем я и был выписан. Время шло, впереди была весна, я снова стал собираться в плавание, и в одно мгновение мне пришла мысль: а не уйти ли вообще с воды? А куда? Делать я могу многое, но в наше время нужны документы, подтверждающие, что ты можешь что-то делать.

У меня же таковых не было. С помощью твоей мамы я был принят столяром в институт по 2-му разряду с испытательным сроком. Вскоре у меня был уже пятый разряд. Дело шло довольно-таки неплохо, становилось много знакомых и друзей. Стали поступать всевозможные заказы на столярные изделия, но и, казалось бы, должны быть и деньги, а нет; кто спасибо скажет, а больше спиртом рассчитывались, и завертелась опять хмельная карусель.

Есть пословица: «сколько волка ни корми, он в лес смотрит». Вот так и у меня было, мне было тесно в институте, все время тянуло на улицу, на простор.

Однажды заместитель директора института поехал в Коларово, на полигон, и я попросился с ним поехать. Уж очень мне понравилось на полигоне – кругом лес, зеленые кустарники и невдалеке село с церковью, которые были очень хорошо видны с высокого материкового яра. Село находится ниже, на пойменном берегу реки Томи.

Вот на этот полигон я был приглашен работать сторожем один за четверых, плюс полставки столяра. Было неплохо, но хорошее всегда скоро кончается, так случилось и на этот раз. Начальству показалось, что уж очень большие деньги я получаю, и стало мало-помалу урезать, и урезали до того, что остались ставки только сторожей. И на эти малые ставки работал не только я. Я жил на месте, но мне привозили продукты мать и Владимир, и кормили не только меня, но и собак, а их было две: Фокс и Болтик. Через некоторое время пришла еще одна, приبلудная. Назвал я её Шайба, это была хорошая и умная собака.

Центром полигона была баня. Кто в ней только не был, начиная от работников нашего института и кончая работниками министерства из Москвы. Баня была построена по высшему классу, с бассейном и сауной, комнатой отдыха. И, честно говоря, была использована на все сто процентов.

Не было ни одного выходного дня, чтобы кого-то не было в бане. Чаше по выходным (это были суббота и воскресенье) приезжали сотрудники лабораторий института на целый день.

Кроме бани, еще была и действовала зимой лыжная трасса с подъемником, для лыжников. Вот здесь катались и отдыхали наши сотрудники, и не только они.

Очень часто и по будничным дням были сборы неизвестных мне людей, которые были нужны институту, или, быть может, наоборот.

Ведь в те времена институт находился в ведомстве Вооруженных сил. Около него, как мне кажется, паслось много отдаленных от института людей.

Как бы то ни было, время шло. Я работал по-прежнему там же. Время подходило к тому, что твоей матери нужно было скоро идти на пенсию, и перед пенсией ей нужно было как-то поднять уровень зарплаты, чтобы хоть немного повысилась пенсия. После ухода на заслуженный отдых её хотели перевести ко мне на полигон, но обещание не было выполнено, и я заявил, что тоже не буду работать в одиночку. Мой глас также никто не захотел услышать, и в декабре 1997 года я бросил «почетное звание» сторожа, но из института не уволился, отгулял положенный отпуск, и был переведен в слесари 4-го разряда. Через месяц дали 5-й разряд.

Проработал пять месяцев. Работа была в основном на «затычках», или разгрузка-погрузка в машины. Я, привыкший жить и работать на воздухе и воле, был обречен находиться в стенах, в шуме, в загазованных помещениях. Меня стали донимать головные боли, но кому я мог доказать, что я болен. Мне говорили: «подавай больничный лист, лечись и отдыхай». Приду к докторам, градусник под мышку, ответ «здоров», температуры нет. А её у меня всю жизнь не было, никогда не повышалась, и получалось – я симулянт, лодырь.

Помучившись немного, я покинул институт. Но это оказалось еще хуже, чем работать больному. Я познал свою ненужность, мне белый свет стал в тягость, я был лишним.

Еще при работе в институте, в январе, матери была предложена кооперативная квартира, мать стояла на льготной очереди. Но меня и это не радовало, прежде, чем переехать на новое место жительства, я как мог, сделал ремонт, и 23 февраля 1988 года мы переехали на улицу Мичурина.

Но я еще долго оставался жить на Московском тракте. От безделья и одиночества я опять впал в пьянку. Втайне я надеялся, что однажды я не проснусь, и все будет закончено. Но я почему-то просыпался, и все начиналось сначала. Ко мне приходила мать каждый день в обед, ругала меня, просила, плакала. Но у меня все повторялось, как и прежде.

И вот однажды мать пришла ко мне на Московский тракт с тем, чтобы остаться на ночь и посмотреть, что же будет со мной дальше. И именно в эту ночь было самое страшное со мной. Я уже не мог выходить на улицу и в эту ночь пошел «на ведро» по нужде, упал и, как мать говорит, ползком добрался с ее помощью до своего дивана.

И вот в это самое время мне показалось, что я слышу голос: «Пить ты больше не будешь». Я не знаю, что это было, и откуда был голос, я в то время не мог сообразить, но я понял только одно – кто-то за мной как бы следит.

Все последующие годы я следую этому голосу, а он был мне ещё не однажды.

После этой ночи я согласился и переехал на ул. Мичурина. Десять дней я лежал, не выходя на улицу, и все эти десять дней мать, уходя на работу, закрывала меня, оставляя мне по 50 граммов спиртного. Вот так я снова возвращался к жизни на этом свете.

Жить стал, но я ощущал свою ненужность, не мог прокормить себя, не получал пенсию, еще было рано, и я чувствовал себя нахлебником. Через знакомых я попал

в первое отделение психоневрологической больницы. Меня сразу же положили на месяц и стали копать во мне, искать причину моего недомогания. Благо врачи были человечные, и они докопались. Поставили диагноз – закупорка сосудов головного мозга. На словах сказали: «тяжелые работы забудь, находишься как можно больше на улице, и очень многое, чего нельзя».

– А пить спиртное?

– Не только пить, даже смотреть, как пьют, нельзя!

Дорогая моя доченька! Ты скажешь: «Зачем мне это все знать?»

Отвечу: «Чтобы ты поняла, каково было твоей маме. За всю прожитую нашу совместную жизнь она ни разу не назвала меня плохим словом, никогда не кричала, а тихо и мирно внушала мне, что это очень плохое занятие – пьянка. Как у неё хватало терпения видеть такие сцены, а они были очень часты. Как низко мы ценим семейную доброту».

Вот такие мысли все чаще стали возникать в моей голове, и уж лучше поздно, но все-таки признать свою неправоту.

И я это признал, и за все прошлое и плохое я у твоей матери прошу:

– Прости...

Жить в городе я никогда не хотел, а после своей ненужности, после болезни, я всерьёз задумал уехать в деревню, оставить мать в покое и кормить себя, как Бог на душу положит. Но, куда поехать?

Как-то раз мы с Владимиром и его семьей ездили в Федоровку, к Майковым, вот тогда и созрел план купить там какую-нибудь избушку. Была даже проделана одна попытка, но купля-продажа не состоялась – не было хозяйки.

Так мы и уехали ни с чем. И как-то однажды зимой матери позвонили из Федоровки, что продается усадьба. Через некоторое время мы с Владимиром поехали. Хозяев не было, они уже жили, кто – в городе, а кто-то – в селе Воронино. Их мы не знали.

Помог Майков, он приехал из Федоровки, они с Владимиром нашли хозяев и договорились, и уже 14 марта мы с Владимиром поехали туда.

С Московского тракта забрали холодильник и еще кое-какие шмотки, инструмент, и 29 марта я уже окончательно переехал в деревню. Втайне я надеялся, что так и останусь в деревне, займусь сельским хозяйством и буду тем самым кормить себя. Весной мне помогли посадить картошку, а все остальное я уже сам.

Но этим же летом ко мне в деревню приехали вы с Петей, Ольга с Алешей и мать. Так с тех пор и начались её поездки туда-сюда и обратно. И вновь у меня не получилось жить одному. Твоя мама не захотела и тут оставить меня одного. Как ей доставалось трудно, но она ни разу не упрекнула меня, а молча продолжала ездить, не хотела оставаться одна в городской квартире – так говорила она. И все эти годы она моталась между городом и деревней. И так продолжалось 9 лет. Сколько же трудов ей это стоило, это знает одна она.

Перед её мужеством и усилием в преодолении всех препятствий я встаю на колени, и прошу у неё:

– Прости меня – дурака.

И еще я говорю:

– Господи, спасибо, что ты дал нам таких детей!

Вы уже давно стали взрослыми, сами родители, но до сих пор ни от тебя, ни от Владимира мы не слышали бранного слова, вы никогда не упрекнули нас ни в чем.

И в этом опять заслуга вашей матери, ведь она всегда была рядом с вами, занималась вами. Дай Господь ей здоровья...

Виктор Лойша**НЕОЖИДАННЫЕ СЮЖЕТЫ***...И ЗИПУН ГРАФА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА*

Мир до крайности тесен, и даже не надо быть голландцем или японцем, чтобы убедиться в этой скучной истине.

Однажды (это было в 1968 году) на Чаун-Чукотке, на Анадырском плато эффузивов, судьба свела меня с Серёгой Судариковым, юным питерским плейбоем, студентом Ленинградского университета, а до того – довольно большим человеком: он был отличником боевой и политической подготовки, за что заработал редкое в срочной службе звание старшины. От родимого первого погранотряда был избран делегатом комсомольского съезда. Вернулся из Москвы весь красивый и триумфальный, но вскоре был неожиданно разжалован – за то, что его подчинённый прямо из наряда рванул с автоматом в руках как раз за ту границу, что они вместе охраняли.

С Серёгой мы проработали бок о бок целый полевой сезон, с мая по сентябрь. Познакомились да познакомились, мало ли кто встречается тебе на пути...

Прошло лет немало, когда занесло меня в Киев, где в гостинице “Славутич”, оказавшись случайно поселённым в двухместном номере с неким молодым, но уже лысым человеком по имени Коля Петраков, ради знакомства выжрали мы с ним вместе литр горилки, после чего я вдруг что-то понял:

– Слушай, – сказал я, – в твоей речи звучат знакомые интонации.

Как у Сударикова...

– О! – взревел Петраков. – О!

Кроме этого звука, мой новый друг ничего не мог произнести, но не от пьянства, а от удивления: оказалось, что с Серёгой они выросли в одном ленинградском дворе, ходили в один детский сад, сидели за одной партой в школе. Больше того! Они и служили вместе в пограничных войсках, и как раз Коля был тем самым перебежчиком, из-за которого Судариков потерял лычки на погонах.

Коля мне и поведал подробности давней той авантюры.

Граница была финляндская, и он великолепно знал, что наши соседи не дают политического убежища советским беглецам, но возвращают их в неласковые руки Родины. Он рассчитывал всё же добраться до Швеции. Не вышло: финские коллеги оказались бдительны. Коля попал под трибунал, получил восемь лет, отсидел их от звонка до звонка, после чего устроился экспедитором в какой-то плодово-ягодный трест. А дисциплинарная кара, понесённая его другом, была, по словам Петракова, вполне заслуженной: побег состоялся ранним утром, а до того они с Серёгой пьянствовали всю ночь, обсуждая при этом самиздатовскую повесть Михаила Булгакова, обретенную старшиной где-то в кулуарах комсомольского форума.

– Это «Собачье сердце» и дало мне последний толчок, – признался Коля. Признался не только мне, но и военному трибуналу.

Так что старшина Судариков по тем временам ещё легко отделался.

Но я рассказываю эту историю не только потому, что она передаёт какие-то нюансы эпохи. Разве ж не удивительна сама по себе такая моя встреча?

Или вот ещё не менее невероятный случай.

В городе Хьюстоне, штат Техас, меня чуть с ног не сшибла разбухшая до бульдозерного состояния Сонька Коротких, моя любовь в восьмом (или в седьмом?) классе школы номер один. Мы когда-то учились параллельно, я в «а», она в «б», и девушка прославилась на всю школу после того, как, протестуя против невесты чего, швырнула в классную доску (вы ещё помните, что это такое?) стеклянную чернильницу-непроливайку (а вот этого уже вы почти наверняка не помните), обмарав фиолетовыми кляксами завуча Зою Романовну, за что ей, Соньке, поставили тройку по поведению. И то хорошо: а то грозились вовсе исключить из любезного учебного заведения.

Так вот, Хьюстон...

Я её и не узнал бы никогда, если б Сонька всею агрессивной собственной массой не вышибла у меня из рук пакет с пивом, радостно хрястнувший об асфальт стеклом и жидкостью.

– О, sorry, mister, – горестно запричитало это неуклюжее существо.

– Да хули там сорри... – вяло отмахнулся я по-русски.

– Витька, это ты? – выдохнула она.

– Кажется, да...

Надо же! Сорок лет спустя люди ещё в состоянии опознать друг друга... Разумеется, мы тут же помчались на Сонькином «опеле» к ней домой, где её безмерно ошеломлённый американский муж-профессор распахнул все богатства любовно укомплектованного бара.

– Oh, Russia! – восхищался он, глядя как мы с давней подругой трескаем разнообразный алкоголь ненормированными порциями. – Oh, Siberia!

Стаканы звенели...

Но что это я – всё о себе да о себе? Поговорим и о других.

Певица Елена Камбурова, которую я люблю нежно и трепетно, как лоскуток собственной юности, в свою очередь любит мой город Томск. Она здесь часто бывает с гастролями, говоря о том, что сама наша атмосфера ей кажется родной. При этом Лена даже не подозревает, что одним из первых томских профессоров-юристов был Вячеслав Георгиевич Камбуров, её двоюродный прадед, не только знаток философии права, но и тонкий музыкант и даже профессиональный виолончелист. Помер, бедолага, от чахотки всего-то тридцатилетним...

Великий Исаак Бабель, никогда не бывавший в Сибири, был женат последним браком на томичке Антонине Пирожковой. Её племянник Олег – учитель многих моих друзей, создатель и организатор городского пионерского штаба, заслуживает в нашем городе и улицы своего имени, и мемориальной доски.

А Чехов, Антон Павлович, обругавший Томск со всею ему присущей скабрёзностью, – разве перед тем не посетил наши скромные публичные дома? И не посеял свои сперматозоиды на чахлах наших нивах?

Тесно в этом мире, тесно.

Какое отношение имел к нашему городу граф Толстой, Лев Николаевич?

Почти никакого, если не считать старческих его набросков о сомнительном Фёдоре Кузьмиче.

Однако ж...

Жарким и страшным летом 1941-го сюда был эвакуирован весь огромный архив Толстого. (А также архивы Пушкина, Есенина, Горького).

Потом почти неожиданно приехало в Томск материальное содержимое музея Ясная Поляна: одежда, в которой ходил наш классик, стулья, на которых сидел, сундуки разные, прочий быт...

Распоряжался эвакуацией Владимир Александрович Жданов, хранитель архива. Он оставил об этой эпопее воспоминания, очень сжато, но ёмко передающие драматизм событий.

Не стану пересказывать эти мемуары (желающих отсылаю к журналу «Москва», № 12 за 1966 год). Изумительный документ эпохи.

Скажу только вот что. Архивный груз приравнялся к военному, потому специальный вагон шёл по переполненным путям сравнительно хорошей скоростью. Вместе со Ждановым ехал в Томск довольно известный в ту пору старичок Иван Ладыжников, в прошлом книгоиздатель и личный друг Горького.

Имели они мандаты от Академии наук и Наркомпроса, а также полученную в последний момент существенную бумагу ЦК ВКП(б).

Эвакуация началась буквально через три недели после начала войны – немаловажная деталь, свидетельствующая о том, что Кремль неплохо понимал всю серьёзность военной угрозы.

В ночь отъезда самолёты люфтваффе подвергли Москву первой бомбардировке. На следующую ночь бомбы падали уже на территории толстовской усадьбы в Хамовниках.

Судьба Ясной Поляны известна: поместье стало полем ожесточённых боёв. По заповедным площадям лупила и германская, и советская артиллерия, после здесь квартировали солдаты вермахта. Когда военные действия на тульской земле кончились, графская усадьба являла скорее графские развалины.

Так что Томск буквально спас всё содержимое всемирно известного мемориального музея.

Национальное наше достояние катилось по Транссибу в сумятице заводских эшелонов, военных училищ, номерных институтов, валютных фондов, госучреждений... Где-то в этом невообразимом потоке профессор Илья Збарский вёз в Тюмень главную государственную реликвию – труп Ленина. Им же, Збарским, мумифицированный за семнадцать лет до того.

В нашем городе Жданов и Ладыжников встретились с обогнавшей их тётей по фамилии Розмирович, Еленой Фёдоровной, запечатлённой в истории большевизма как вдова красного палача Николая Крыленко. На тот момент была эта роза директоршей горьковского архива. Одна из фурий революции, в юности – отчаянно красивая стерва (Ленин, злословя по обыкновению, называл её за глаза «глупая солдатская жена»), заслуживает особого обстоятельного рассказа. Что ж, посвящу ей отдельный очерк. Здесь же скажу только вот что. Ученица школы Лонжюмо и крепостная арестантка, а в начале советской власти – главный следователь Верховного трибунала республики, погубительница многих человеческих душ, к сорок первому году она была уже отрешена от предыдущих ответственных постов, совсем распластана никудышной жизнью, и скорее требовала ухода за собою, нежели могла заниматься делом.

Пушкин, Толстой, Есенин и Горький разместились в двух комнатах Научной библиотеки ТГУ.

В сундуках и чемоданах.

(Надо полагать, при жизни этих четверых немало развеселило бы такое соседство. А что? Довольно неплохой сюжет для небольшой фантастической повести).

Комнаты после войны объединили в одно помещение. Те, кто давно знает нашу Научку, помнят его как зал абонемента. Сейчас, после капитального ремонта, сюда переместили немецкий кабинет.

Несколько раз в Томск специально приезжал Лев Модзалевский из Пушкинского дома, один из лучших в мире специалистов по архивному делу: проверял, как хранятся документы, консультировал ответственных за них людей.

Жданова поселили в доме доцента Ростислава Бережкова, биолога. Дом этот сохранился на улице Герцена, хотя, как и большинство объектов деревянной архитектуры, пребывает в состоянии крайней запущенности.

Доцента Бережкова я лично, разумеется, даже не видел. Сын же его, Борис Ростиславович, был замечательным репортёром, одним из первых моих наставников в журналистском деле, ну, а внука Александра теперешний Томск знает как газетного чиновника, вечного замредактора разных газет.

Город наш в то время был запредельно убог. Грязь по колено, в лучшем же случае – булыжные или торцовые мостовые. По улицам были проложены рельсы; но по ним ходили не трамваи, а паровозы, подтаскивающие к эвакуированным оборонным заводам всё, что им нужно для жизни.

До жизни же людей никому не было никакого дела.

Следует напомнить, что до августа 44-го «Сибирские Афины» имели номинал райцентра Новосибирской области. Предел унижения для гордых томичей, ещё не забывших столичный губернский статус, носимый городом на протяжении ста двадцати лет.

Голодуха стояла всеобщая. Базарные цены вызывали ошеломление. Главное здание ТГУ было отдано оптико-механическому заводу № 355. Ректор университета Яков Горлачёв ходил с наганом на поясе.

Об огромном физическом напряжении тыловиков, обеспечивающих бездонные потребности гигантских фронтов, вспоминают все, кто жил в то время. Сибирь, надрываясь, вытаскивала на себе всю Россию.

Эпоха несла самые несуразные приметы: запах машинного масла смешивался со вкусом мороженой картошки и дымом филичёвого табака (так называлась мелко рубленая целлюлоза, пропитанная никотиновой смолой), со скрипом инвалидных протезов и мертвящим зимним холодом.

О тех морозах рассказывают все, кто пережил томские военные зимы: «за пятьдесят!» Ещё одна легенда. Ради точности я заглянул в архивы гидрометеослужбы; да, холода стояли изрядные, однако до минус 50 далеко не дотягивали. Всё просто, друзья мои: системно недоедающий человек чувствует холод особенно обострённо; энергетический баланс организма надо блюсти...

Здание Научной библиотеки уплотнилось до невозможности. Сюда перевели из главного университетского корпуса все музеи – минералогический, палеонтологический, зоологический, этнографо-антропологический (разумеется, об экспозиции не могло быть и речи – лишь бы сохранить бесценный материал); великолепный крыловский гербарий; перетащили и сложили до лучших времён физическое и химическое оборудование... Здесь же нашли пристанище книжные собрания многочисленных кафедр, а также целиком библиотека педагогического института.

И всё же Науке повезло – даже по сравнению с годами Первой мировой войны. Тогда в её стенах размещались казармы 39-го Сибирского запасного стрелкового полка; под высокими сводами книжного храма витал солдатский мат вперемешку с революционными идеями. Во Вторую мировую библиотека, несмотря на ужасающую тесноту, продолжала действовать в соответствии с прямым своим назначением, и многие интеллигенты из числа эвакуированных спустя десятилетия с нежностью вспоминали духовные богатства, которыми с ними делилась нетопленая Сибирь.

Большинству же томского населения было не до духовности. Хлеб, кров, тепло – вот в чём прежде всего нуждается человек. Выжить самим, выкормить детей, дожидаться с фронта близких, увидеть конец этой бесконечной огромной войны...

Вот на этаким-то фоне попытайтесь представить, какие чувства мог испытывать томский обыватель, вдруг видящий, как на заднем двореике Научки по растянутым бельевым верёвкам сушатся и проветриваются под мягким летним солнышком фраки, вицмундиры, бальные платья, собольи шубы и нагольные тулупы, итальянские шляпы и всеевропейские треуголки...

Сюрреализм да и только! Хотя мало кто из тогдашних томичей вообще слышал этот термин.

В конце апреля 1945-го, когда наследие Льва Толстого отправлялось в обратный путь, Жданова принял председатель горисполкома Годовицын – и выдал на дорогу наряд: хлеб, несколько бутылок вина.

– Чем богаты, тем и рады...

С чего я начал это повествование? С не самой оригинальной мысли о тесноте нашего мира, о почти мистических совпадениях, бывающих в жизни практически каждого человека. Так вот, познакомился я однажды с пожилой женщиной, которую звали Галина Ахметовна Пономарёва. (Её паспортное имя Гульгизан, зато фамилия настоящая, родовая; есть целый клан томских татар Пономаревых. В девятнадцатом веке, когда Российская империя приводила к единому знаменателю всех инородцев, прародитель клана исполнял в мечети обязанности муэдзина; ближайший русский аналог этой профессии – пономарь; так и записали). В годы войны юная татарочка заведовала в Томске телеграфом и междугородним телефоном. Связь была налажена так, что даже представители военных заводов по несколько суток ждали своей очереди переговорить со своими наркоматами, но для хранителей толстовского наследия Гульгизан всегда находила малюсенькую лазейку. «Как же иначе? Ведь это же – Лев Толстой!».

Архивариус Владимир Жданов вспоминает томскую телеграфистку самыми добрыми словами, сама же Ахметовна бережно хранит тёплые ждановские записки на фирменных бланках с именем Льва Толстого.

Академия наук СССР
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Государственный музей Л.Н. Толстого

29 апреля 1945 г.

Уважаемая Галина Ахметовна!

Уезжаю из Томска. Такая суматоха в последние дни, что не удалось увидеть Вас.

Очень благодарю Вас за внимательное отношение, которое я неизменно встречал с Вашей стороны.

*С приветом В. Жданов.
Адрес указан: Москва,
ул. Кропоткина, 11.
Телефоны: Г6-26-90, Г6-17-20, Г6-32-16.*

Что тут скажешь? Трогательный документ эпохи.

Юная начальница телеграфа просто помогала интеллигентным изгоям. Чем могла.

...И ещё одно совпадение, совсем уже невозможное для рационального ума. Александр Сергеевич Пушкин к нашему городу не был причастен во все никак. Даже с нашим земляком Гавриилом Батеньковым, кажется, не был знаком. (Ну да, когда блистательный Батеньков появился в Санкт-Петербурге, Пушкин как раз отбывал свои ссылки: Новороссия, Бессарабия, затем Михайловское...). Однако же одна из самых загадочных героинь великого поэта – старуха-графиня из «Пиковой дамы» – имеет фамилию Томская.

Вчитаетесь в повесть – убедитесь.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КАЗАКА ЛЮТОВА

Исаак Бабель не просто писатель. Это – явление. Одно из самых ярких в русской литературе XX века. Ошеломляющий мир его прозы достоин не только читательского восхищения, но и глубокого и многостороннего исследования, которое, к сожалению, всё ещё впереди.

Зияет белыми пятнами и биография писателя. В ней много неясного, случайно, а то намеренно скрытого. Многое не расшифровано. Загадка гибели Исаака Эммануиловича долгие годы пряталась в недрах тайной полиции; даже сама дата смерти держалась в секрете, даже сам факт её! Пока ещё толком не объяснены причины ареста и расстрельного приговора; всё это до сих пор из области догадок и косвенных доказательств.

Логику индустриального, конвейерного людоедства почти невозможно исчислить. За что были уничтожены миллионы людей? Нет ответа, и никогда не будет. Однако конкретные судьбы порою дают толчок размышлениям и довольно грустным обобщениям. Есть предположение: Бабеля убрали из-за личного знакомства с наркомом Николаем Ежовым, навеки впечатавшим своё имя в отечественную историю рядом с цифровым обозначением «1937». Писатель был вхож в дом кровавого карлика на правах старого друга его жены Евгении...

Аннулировали Ежова, – заодно подчистили весь круг его знакомых.

Если это так, то можно сказать, что как минимум одна женщина сыграла поистине роковую роль в судьбе Бабеля.

Вообще-то, бабник он был изрядный. Пишу эти слова с некоторым внутренним содроганием, и не только потому, что не люблю всякого рода клубничку. («Самые скучные вещи на свете – чужие сны и чужой блуд», – говаривала Анна Ахматова; вполне согласен.) Неловко каламбурить на тему фамилии, тем более что такого рода прецедент уже был: лихой кавалерист Семён Будённый откликнулся на книгу «Конармия» рецензией под заголовком «О бабизме Бабеля»; стыдopodobно.

Меж тем речь шла о книге, показавшей гражданскую войну во всём её трагическом величии. И никто никогда не написал – да и не смог бы написать – о Первой конной ничего лучше и чище. Под именем низового политработника Лютова он участвовал в её польской кампании 1920 года, и видел и знал жизнь будёновцев лучше, чем кто-либо другой.

Но я сейчас – о другом. Что было, то было. Жизнь, как цветущий луг, по которому ходят женщины и кони, – изумительный образ, великолепно характеризующий мироощущение самого Бабеля, его неистощимое жизнелюбие.

Красавцем его нельзя было назвать – даже при самом большом желании польстить. Тем не менее, женщины его любили, и очень. Невысок ростом? – это ещё мягко сказано. Неаккуратно сложен? – пожалуй, в точку: великоват животик, ноги коротковаты... Неправильные черты лица? – да, безусловно...

Однако, как вспоминают современники, обаянием обладал безмерным: очень доброй души человек, отменный рассказчик, благодарный слушатель, ненавязчивый юморист, выдумщик на все руки. Плюс неуёмная жажда познания, обращавшая на себя внимание и притягивающая к себе всех, кто с ним общался.

...В Сибири, насколько известно, Бабель не бывал никогда. Одесский уроженец, исколесивший в разное время и по разным поводам всю Европу, знавший и любивший срединную Россию, он восточнее Волги не забирался. Днепр, Буг, Шпрее, Сена – это пожалуйста, а вот великие реки Обского бассейна ему были неведомы.

Тем не менее, одна сибирская линия бабелевской биографии выглядит очень рельефно и имеет самое непосредственное отношение к нашему городу.

Эта линия имеет совершенно конкретное имя и зовётся Антонина Пирожкова. Она была последней любовью и женою писателя, матерью его последней дочери, Лиды.

Антонина Николаевна – коренная томишка. Она родилась в 1909 году. Окончила строительный факультет Сибирского института инженеров транспорта (в том здании, где сейчас располагается ТУСУР), работала на Кузнецкстрое. (Помните: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвести, когда такие люди в стране советской есть»).

Красоты была – выдающейся! Тоненькая, гибкая, с точёным лицом и умными глазами. Сослуживцы прозвали её Принцессой Турандот – по героине нашумевшего тогда одноимённого спектакля в постановке Евгения Вахтангова. Тут, видимо, имелись в виду и стати сибирской красавицы, и неугомонный строптивый нрав.

Пирожкова прожила с Бабелем семь лет, а пережила его на шестьдесят.

Оставила мемуары, опубликованные в годы перестройки.

При первом знакомстве, за обедом у общих друзей, Бабель «всё упрашивал выпить с ним водки.

– Если женщина – инженер, да ещё строитель, – пытался он меня уверить, – она должна уметь пить водку.

Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя».

Антонине Николаевне довелось близко общаться со многими замечательными людьми довоенной эпохи. Леонид Утёсов, Николай Эрдман, Ромен Роллан и Андре Мальро, Илья Эренбург, Соломон Михоэлс, Сергей Эйзенштейн, Лион Фейхтвангер, – все они по-разному входили в круг общения Бабеля. Одни эпизодически, другие долго и преданно. И все они любили этого странного человека, умевшего создавать волшебные миры из не очень приглядной реальности.

Подружилась и с Галиной Лерхе, тогдашней примой-балериной Украинского балета. Судьба этой женщины достойна отдельного рассказа; здесь же необходимо сказать о том, что Галина Александровна прожила свои последние годы и похоронена в Томске, куда приехала к дочери Марии, по мужу Смирновой, известной томичам как многолетний завлит Томского драматического театра.

«Танцы Галины Лерхе, характерные и выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они «в стиле Айседоры Дункан», которую он знал».

Муж балерины, Вениамин Фурер, несмотря на молодость, был видным партийным работником: сначала в шахтёрской Горловке, а затем и в Москве, вторым секретарём горкома ВКП(б), правой рукой всесильного Лазаря Кагановича. Ослепительный блондин, советское воплощение Зигфрида, он тоже принадлежал к числу бабелевских друзей. Застрелился поздней осенью 1936-го, предвидя неизбежный арест, а Галина пошла мыкать горе по тюрьмам и лагерям...

(Она умерла и похоронена в Томске, куда её на старости лет перевезла из Ростова-на-Дону единственная дочь. Маша тогда работала в комсомольской газете «Молодой ленинец», получила квартиру в доме по Новому переулку. Галина Александровна осмотрела это двухкомнатное великолепие и сообщила: «Всё хорошо, только я здесь уже была». – «О чём вы, мама?» – «Да-да, была, только не в этом доме, а строго напротив». Строго напротив находилась, да и сейчас находится тюрьма, в которой балерина некогда томилась в ожидании очередного этапа.

В шестидесятые годы, когда она была реабилитирована и даже имела домашний телефон, вдруг раздался странный звонок. «Галя? С вами говорит бывший Каганович...». Почти нет сомнений, что Лазарь Моисеевич тоже приложил руку к гибели писателя).

Бабель был арестован значительно позднее, в мае тридцать девятого, погиб же 26 января 1940-го. Беспощадная эпоха расправлялась со своими талантами в каком-то припадочном ритме.

Антонина Пирожкова продолжала работать по специальности. Растила дочь, посылала нескончаемые запросы о судьбе мужа. И трудилась в системе «Метропроекта», конструируя сначала станции Московского метрополитена, а затем – в годы войны – железнодорожные туннели в Абхазии. Хлебнула полной мерой всех благ тыловой жизни, которая, впрочем, в какое-то время оказалась фактически прифронтовой.

В Томске живут родственники Антонины Николаевны. Её племянник Олег Пирожков был замечательным педагогом, отдавшим жизнь подрастающим поколениям. В 70-е годы основал городской пионерский штаб, воспитавший множество молодых талантов, которыми гордится наш город, и которые, давно повзрослев, во многом определяют деловую и культурную атмосферу Томска.

ВИЛЬ ЛИПАТОВ КАК ПРОДУКТ ЭПОХИ

Вообще-то продукт – нехорошее слово. Означает – конечный результат. Если задуматься, то распространённый фразеологизм «продукты питания» должен подразумевать не пищу, еду, жратву, провизию, снедь, хлеб наш насущный etc, etc, но, простите за выражение, говно.

Учила же нас когда-то какая-то партия: судите по конечному результату.

Вы можете воспивать нектар, закусывая его амброзией, равно как и довольствоваться в виде благодарованного счастья пайкою несвежего чёрного хлеба; итог один. Метаболизм, заложенный в основу химического комбината по имени человеческий организм, выдаёт всегда одно и то же, неаппетитное, неэстетичное и негигиеничное.

К чему эти меланхолические рассуждения на неприличную тему? А к тому, что о людях судят всё-таки не по их гадостям, которых, видит бог, в каждом из нас предостаточно, но по лучшим и высшим достижениям. И провожая в последний путь даже откровенного засранца, говорят прощальные речи с перечислением достоинств.

Такова жизнь: любой злодей имеет и положительные черты.

Об этом часто забывают, пиша о том или ином конкретном человеке. Предпочитают двоичную систему: плюс – минус, чёрное – белое...

Промежуточные оттенки – палитра художественных произведений, удел хороших писателей.

Виль Липатов и был хорошим писателем. Во всяком случае, ранние его вещи – рассказы, повести «Глухая мята» и «Деревенский детектив» – в своё время звучали чисто и свежо и сообщали всесоюзному читателю нечто такое, чего он не знал. И не только по принципу географической экзотики...

Приоритеты сменились, и сегодняшние молодые книжечки могут даже не знать имени Липатова. Смею надеяться, что на каком-то витке истории лучшие его книги всё же вернутся к нам. Они того заслуживают. А томичи и могут, и должны гордиться памятью своего земляка. Пока же в нашем городе нет даже улицы его имени.

Я познакомился с Липатовым в конце зимы 1969 года. Если не ошибаюсь, это был последний приезд писателя в Томск: к тому времени Виль Владимирович прочно осел в столице, обрёл не только литературное имя, но и довольно прочный общественный статус, став членом редколлегии толстого журнала «Знамя», а также одним из секретарей Союза писателей РСФСР. Не знаю, чувствовал ли он себя корифеем, но то, что выглядел им, совершенно точно. Выступая перед публикой, говорил с некоторой артистической ленцой; на вопросы отвечал толково, но несколько снисходительно. Небрежно отзывался о многих коллегах по писательскому цеху; помню, например, характеристику Василия Аксёнова:

– Талантливый белоручка. Жизни не нюхал...

Подразумевалось: в то время как мы-то – пахали. Или, хотя бы, нюхали.

Я тогда работал в газете «Молодой ленинец», и мне поручили пригласить знаменитость на встречу с редакционным коллективом. Я перешёл улицу и оказался в гостинице «Сибирь», где остановился герой.

В просторном номере было неубранно и, в общем, неряшливо. Липатов возлежал на диване, а в кресле напротив сутулился неприметного вида мужичок. На столике высились несколько бутылок шампанского.

– Знакомьтесь, – сказал метр, – Володя Перемитин, мой земляк. Из Тогура. В одном классе учились. Тоже из ссыльной семьи. Только он – из кулаков, а я – из ленинцев.

И захохотал.

Володя даже не улыбнулся.

Я объяснил цель своего визита.

– Когда встреча? – спросил Липатов.

– В любое удобное для вас время.

– Тогда подлечусь немного и пойдём. Подождите, дело недолгое...

Он взял открытую бутылку, морщась, налил стакан, выждал, пока осядет пена, долил ещё и залпом выпил. Тут же вскочил и бросился к раковине. Его вырвало.

– Извините, молодой человек... Всё по сценарию. Первая – колом.

Ничего, вторая уляжется.

Теперь он наполнил уже три стакана и один пододвинул мне.

– Ну, за здоровьишко...

В этот раз игристый напиток прошёл нормально и, судя по всему, достиг цели. А после следующей порции глаза Липатова заметно повеселели. Володя же оставался невозмутим.

Нервно зазвонил телефон.

– Межгород... Ирка, жена. И знаете, что она будет говорить? «Виленька, я тебя прошу только об одном: ты можешь пить, но, пожалуйста, не опохмеляйся...».

И снял трубку.

И стал другим человеком.

Даром такого мгновенного преображения обладают только артисты. Секунду назад рядом с нами был дружески циничный свой парень, сорокадвухлетний разгильдяй, несколько бравирующий этим своим разгильдяйством, не стесняющийся, а даже как бы гордящийся утренней нечистоты организма после долгой ночной попойки (это состояние он с большим знанием дела описал в одном из поздних плохих романов). Теперь же мы увидели безукоризненно любящего мужа, отца семейства, хозяина дома, повелителя женщин и покровителя детей.

Словом, идеального мужика, каковым он должен быть в видении добропорядочной жены.

– Конечно, конечно, само собой разумеется, – говорил он. – Да, солнышко, вчера посидели немножко с Борькой Бережковым. А сейчас – какая, к шутам, похмелка? Ты меня уже на пороге поймала. Тороплюсь на встречу с молодыми дарованиями... Посланец уже копытом бьёт...

Тут он подмигнул мне, а Володе показал рукой: наливай, мол. Ещё минут несколько говорил о чём-то семейном, успев в процессе беседы аккуратно принять стакан. А глаза смеялись.

Чего-чего, а пить он любил. Знал в этом и толк, и пагубу. Маленькая его повесть «Серая мышь», рисующая один-единственный день компании сельских алкашей, достойна войти в антологии абстинентной литературы. Куда там Джек Лондон с его нудным «Джоном Ячменное Зерно»! Написать такое, как «Серая мышь», мог только человек, на собственной шкуре познавший горькую русскую радость.

В юные годы жил он в Томске по переулку Пионерскому. Есть такой транспортный зигзаг, по которому трамвай от площади Батенькова выныривает к мосту через Ушайку. Так вот, на самой этой остановке был некий подвальчик, в котором давали на разлив (или на розлив, это уж как вам больше понравится) дешёвую водку или ещё более доступную бормотуху.

Существенный момент, друзья мои! Топография местности имеет роль и играет значение.

В дому не было никакого отопления, кроме печного, печи же топились почему-то не дровами, но углём. Сидит угрюмый Липатов за кухонным столом, пишет что-то, макая ручку в чернильницу. Зябко.

– Виленька, – просит молодая жена, – ты не сбегал бы за угольком?

– Конечно, – отвечает герой, неохотно набрасывает ватник, берёт ведро и бредёт в сараюшку.

И тут же преображается.

Стремительно нагребя ведро угля, он мчится, – но не домой, как вы могли бы подумать, а за двести метров, в тот самый заветный подвальчик, где, как обычно, стоит очередь граждан, истомлённых жаждою.

– Мужики, пропустите, – вызывает Липатов, – сами видите...

Народ у нас к таким делам чуток и отзывчив: угольное ведро в руке – лучшая иллюстрация человеческого положения. Очередь расступается, и буфетчица Клава выдаёт клиенту стакан водки.

Обратный забег – и обратное преображение. Липатов вяло входит в дом, засыпает уголь в печку, садится за стол, берёт перо... Пару часов спустя ситуация повторяется: в доме холодает, поход в сараюшку... Жена начинает подозрительно обонять:

– Кажется, кто-то выпил?

(Пустяковая деталь: ту жену звали не Ирка. Ирина Вадимовна – вторая официальная спутница жизни, дочь писателя Кожевникова, тоже томского происхождения «из ленинцев», в те годы – главного редактора журнала «Знамя». Мир тесен, дамы и господа, мир тесен...)

Разумеется, пил Липатов не только украдкой и скачками. Бывало, гулял широко и публично.

Было их трое, неразлучных друзей-собутыльников, журналистов газеты «Красное знамя». Борис Бережков, Борис Ярин и Виль Липатов. Поколение 1925-27 годов рождения, потенциальные смертники Второй мировой войны, чудом не попавшие в её жернова.

Липатова не призвали как спецпоселенца именно «из ленинцев» – кулаков-то как раз брали на фронт; Бережков же прослужил в Иркутске, охраняя армейский склад, расположенный в бывшем кафедральном соборе.

(Деталь, не относящаяся к теме, но важная как для меня, так и для покойного Бориса Ростиславовича: на фоне именно этого сооружения был изображён легионер с винтовкой на почтовой марке № 1 Чехословацкой республики; 1918 год. Как известно, мы чехам отомстили ровно через пятьдесят лет.)

Ещё к этой троице примыкал Володя Коган, так что получалась натуральная банда четырёх. Вот их-то всех, весёлых, талантливых, умных, одним приказом выгнал из «Красного знамени» редактор Владимир Кузьмичёв. Не за ум выгнал, не за таланты, а за неумеренное, как раз, веселье. Иными словами, за пьянку.

Сам большой интеллект (первый в Советском Союзе социолог печати), сам испытывавший унижения и гонения (и в тюрьмах при Сталине сживал, и в лагерях, и в Томске не по собственной воле оказался), Владимир Александрович Кузьмичёв, говорят, как от себя отрывал эту четвёрку, от собственного тела, с болью и кровью. Но, видать, нашкодили ребята несколько больше положенного...

Как же сложились судьбы изгнанников? Ярин бросил пить, зато начал ширяться (наркомания в те времена была делом редким), потом каким-то чудом вылечился и работал на телевидении. Бережков ушёл в многотиражку «Лес – стройкам!» (о боже, какая только херня не становилась названиями газет...), чтобы лет через сколько-то вернуться в то же «Знамя», где прослыл королём репортажа. Коган, вдохновившись, видимо, биографией гонителя, подался в его науку, в конкретную социологию, в конечном итоге стал доктором философских наук, профессором и завкафедрой Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта в чине генерал-директора тяги, и по торжественным дням обязан был надевать мундир с одной большой звездой на каждом погоне. (Элемент сюрреализма? Возможно... Но чему можно удивляться в социалистической действительности, где порою самое невозможное становилось неизбежным?)

К чему пришёл Виль Липатов, мы знаем. Но прежде чем куда-то прийти, нужно что-то пройти. И путь этот, как правило, редко бывает прост. Липатов после своего выгона, опять как в ссылку, уехал в неприятный районный городишко Асино. Служил в газете «Причулымская правда», пил и дебоширил заметно меньше, чем в Томске. Снискал тут славу мастера-очеркиста. Рассказывают, писал портреты современников довольно просто: дозвонившись по телефону до какого-то отдалённого лесопункта, выпрашивал характеристики местного передовика, а потом часа за два охудожествлял его образ до полной неузнаваемости. Оттого журналиста Липатова уважали и побаивались. Созданные им персонажи иногда приезжали познакомиться, угостить стерлядкой и попить водочки, чтобы потом навсегда гордиться общением с таким мастером. Словом, обрёл статус, достойный сравнения с местечковым парикмахером или ретушёром фотоателье.

К тому времени стали, наконец-то, публиковаться в московских журналах его рассказы, вышла первая книжка. Работал, надо сказать, он как проклятый, писал так же истово, как и пил. Одно другому не мешало; догадываюсь, что ему, как и Эрнсту Теодору Амадею Гофману, алкоголь был необходим ради возбуждения творческих способностей. Сравнение с Гофманом почти случайно, поскольку изобразительные средства двух писателей были слишком разными, равно как и объекты внимания. Однако было бы огромной ошибкой считать Липатова сугубым реалистом, тем более – социалистическим реалистом: акварельность его письма, а также смещённая перспектива композиций свидетельствуют об обратном.

В каком-то нынешнем справочнике прочитал применительно к нему такое определение: бытописание современной действительности. Само по себе бытописание отнюдь не уменьшительный, тем более не уничижительный признак; бытописатели XIX столетия донесли до нас великолепные срезы народной жизни, вовсе не замеченной тогдашними этнографами. Другое дело, что понятие это почти никак не применимо к Липатову: быт для него – не более чем кокетливые занавесочки, прикрывающие окно созданной им реальности. Отдёрни занавески – и тут же о них забудешь.

А вот в соцреалисты он всё же угодил. Но позже, на последнем этапе работы.

Освоившись в Москве, заматерев и забронзовев, уважать себя заставив, Виль Владимирович взялся за монументальные полотна. «Сказание о директоре Прончатове», «Игорь Саввович», а особенно сага «И это всё о нём...» – вещи искусственные и претенциозные. Он писал – *как надо*, что само по себе неприлично. Мало того! Томичам было особенно неприятно узнавать в отрицательных персонажах романов конкретных людей, названных к тому же их подлинными именами. Олимпиец Липатов небрежно мстил всем, кто когда-то как-то его обидел...

Странно, поскольку по сути своей человек-то он был широкий.

Что ж, столичные нравы корректируют любую личность.

Я пару раз бывал у него в Москве, пользуясь случайным расположением, возникшим при первой встрече. Он искренне радовался мимолётному, в общем-то, знакомому, был неподдельно радушен, приязнь не инсценировал; думаю, ему импонировали и дух землячества, и глупая моя молодость, чем-то напоминавшая ему собственную юность.

Сейчас я уже пережил Липатова.

Он помер в пятьдесят два, надорвав себя.

Если вам кажется, что я как-то принижаю образ покойного, то зря кажется. Рассказываю то, что видел.

**Тимофей Трифонович
АЛЕКСЕЕВ**

Родился в 1955 году в д. Алейка Зырянского района Томской области. Работал водителем, охотником-промысловиком, парашютистом-пожарником. Поэт и прозаик. Автор поэтических книг «Прикосновение», «Порочная» и других, романов «Во имя отца и сына», «Дети заката», «Чужой крест». Член Союза писателей России. Живёт в с. Зырянское Томской области.

**Светлана Васильевна
ВЬЮГИНА**

Родилась в подмосковном Красногорске, окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет журналистики), член Союза писателей России, автор книг для детей «Конопастик» «Солнечные краски», «Облака-забияки», «Черемуховое крылечко», «Сибирский Валенок». Живет и работает в Москве...

**Никита Владимирович
ЗОНОВ**

Родился в 1968 году. Учился в Томском государственном университете. Публикации в журналах России, в томском альманахе «Каменный мост» (2008). На его стихи написаны десятки песен.

Живёт и работает в Томске.

**Геннадий Михайлович
ИВАНОВ**

Родился в 1939 году в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. Юность в столице Хакасии – городе Абакане. Выпускник Томского политехнического института (ныне университет). После вуза занимался разработкой изделий для военно-промышленного комплекса, прошел путь от рядового инженера до члена группы главного конструктора. Рассказы и юморески публиковались в областной газете «Красное знамя», всероссийской социальной газете «Ветеран». Живёт в Томске.

**Николай Алексеевич
ИГНАТЕНКО**

Родился в г. Прокопьевске Кемеровской области в 1946 году. Окончил Томский государственный университет. Долгое время работал доцентом на механико-математическом факультете ТГУ. Занимался предпринимательской деятельностью. Автор шести книг стихов. Член Союза писателей России. Живёт в Томске.

**Тамара Александровна
КАЛЁНОВА**

Прозаик. Автор книг «Не хочу в рюкзак», «Нет тишины», «Светлая протока», «Первый год у моря», романа «Университетская роща» и многих других. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат Всероссийской литературной премии имени В. Шишкова. Живёт в Томске.

**Ольга Михайловна
КОРТУСОВА**

Родилась в Томске. Окончила факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. Печаталась в литературных альманахах. Автор поэтических книг: «Приглашение»(1999), «Шкатулка Клеопатры» (2003), «Колыбельная для эпохи» (2008), «Книга для птиц и людей» (2008).

**Виктор Андреевич
ЛОЙША**

Год рождения 1947-й, рабочий посёлок Тальменка Алтайского края.

Выпускник геолого-географического факультета ТГУ. Работал на Колыме, Чукотке. Написал три десятка документально-публицистических книг, в том числе «СМИтьё моё» (2006), «Прощание в июне» и «Как прекрасен этот мир? Посмотри...» (2008), «Шершавая книга» (2009), «Наш строгий взгляд пронзает каждый атом» (2010).

Автор поэтических сборников «Век мой кончается»(2000), «Антропоген»(2004).

**Владимир Викторович
МАКАРЕНКОВ**

Родился в 1960 году.

Автор нескольких поэтических сборников. Председатель Смоленского регионального отделения Союза российских писателей, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области.

Лауреат премии администрации области имени М.В. Исаковского за книгу «Ворота во мгле».

**Александр Иванович
ПАНОВ**

Родился в 1956 году. Окончил Томский государственный педагогический университет. Работал учителем. Сейчас трудится в сфере повышения квалификации работников образования Томской области. Автор многих книг стихов. Член Союза писателей России.

**Лев Фёдорович
ПИЧУРИН**

Родился в 1927 году в Ленинграде. Окончил физмат Томского педагогического института. Профессор, общественный деятель, публицист. Автор многих литературоведческих и краеведческих книг. Исследователь творчества Галины Николаевой. Почётный член Томской писательской организации. Живёт в Томске.

**Валерий Михайлович
СЕРДЮК**

Родился в 1945 году в Томске. Окончил филологический факультет Томского государственного университета. Член Союза российских писателей.

Публикации в новосибирских и московских альманахах, томских изданиях «Начало века» и «Каменный

мост». Автор поэтических сборников «Город детства» (Москва, 1983), «В обе стороны жизни» (Томск, 2009) и книжки стихов для детей «Лесной аэродром» (Томск, 1991).

**Юрий Анатольевич
ТАТАРЕНКО**

Родился в 1973 году. Окончил Новосибирское театральное училище. Автор нескольких поэтических книг. Много пишет для газет и журналов на театральные, литературные и общекультурные темы.

**Валерий Евгеньевич
ТИХОНОВ**

Родился 4 августа 1961 года в г. Белореченске Луганской области. Вырос в селе Тугозвонovo Шипуновского района Алтайского края. Автор четырёх поэтических и пяти публицистических книг. Соавтор многих коллективных сборников и антологий. Лауреат краевых литературных премий. Участник ряда всероссийских и всесибирских литературных чтений, съездов, конференций, совещаний. Главный редактор литературно-художественного и краеведческого журнала «Барнаул». Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

**Георгий Васильевич
ТОРОЩИН**

Родился в 1941 году в Томской области. В 1961-м окончил лесотехнический техникум и три года отработал в лесной промышленности. Потом около 30 лет трудился на производственном объединении «Контур».

Стихи печатались в коллективных сборниках. С воспоминаниями выступает впервые. Живет в Томске.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал
Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

В. Крюков

Вёрстка журнала

Л. Кулманакова

Корректор

В. Дмитриева

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12-14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.

Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

© Составление и оформление: «Начало века», 2011 г.

Формат 70×108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 2000 экз. Заказ № 670.

Отпечатано в ГУ Типография при УВД по ТО, г. Томск, ул. Татарская, 11